

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи

Антоновский Александр Юрьевич

**КОММУНИКАЦИЯ КАК ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: ОТ ТЕОРИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ МЕДИА К СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ**

Специальность: 09.00.01 – онтология и теория познания

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук

Научный консультант: член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор И.Т.
Касавин

2015–МОСКВА

Оглавление

Введение. Эпистемология коммуникации - исторический экскурс	3
Глава первая: символические медиа коммуникации знания.....	26
Параграф первый: понятия формы и медиа как основания теории коммуникативных и психических систем	26
Параграф второй: коммуникативные медиа распространения знания – язык и письменность.....	42
Параграф третий: <i>знание/незнание</i> как ось коммуникативной дифференциации.....	60
Параграф четвертый: телекоммуникативные медиа современных обществ.....	67
Глава вторая: истина и знание как медиа коммуникативного успеха.....	81
Параграф первый: истина как медиум коммуникативного наблюдения и его генезис из ценностных установок	81
Параграф второй: о социальности истины.....	90
Параграф третий: о социальности знания и возможности его определения	102
Параграф четвертый: научное знание в индивидуальной и в системно-коммуникативной перспективах.....	129
Параграф пятый: о понимании в расходящихся перспективах научного наблюдения	139
Параграф шестой: о теоретической форме социального знания	165
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	192
Библиография	193

Введение

Актуальность темы исследования

Интерес к рассмотрению коммуникации с теоретико-познавательной точки зрения связан, прежде всего, с чрезмерной *многозначностью*, а также с дисциплинарной *непроясненностью* самого понятия коммуникации. Кажется, нет такой гуманитарной

дисциплины, которая не изучала бы коммуникацию. История, экономика, лингвистика, социология, литературоведение, социальная психология и социальная философия, этика и эстетика, философия языка и логика, – все эти дисциплины предлагают собственные реконструкции и формализации человеческого общения. Актуальность заявленной темы вытекает из потребности обрисовать общие рамки понятийной концептуализации этого феномена, что, очевидно, представляет общефилософскую и теоретико-познавательную задачу. Такое универсальное понятие могло бы далее специфицироваться отдельными дисциплинами, выделяющими в нем свой собственный, уникальный аспект или предмет. Осуществленная в работе *эпистемологическая* интерпретация коммуникативных процессов отвечает очевидными возможностями как их *редукционисткой*, так и *универсалисткой* интерпретации. С одной стороны, мы имеем дело с узко-социологическими понятиями коммуникации¹, а с другой стороны – с чрезвычайно широкими обобщениями². Предложенное в работе понимание коммуникации как особого рода *когнитивного процесса* предоставляет возможность выхода за пределы Сциллы редукционизма и Харибды универсализма.

Особый интерес к исследованию именно современных типов коммуникации вытекает из того значения, которое приобретает *неудавшаяся коммуникация*. Последнее явление можно рассматривать как некоторую глобальную проблему современного общества, словно сотканного из коммуникативных границ: расовых, гендерных, возрастных, культурных, политических, религиозных, языковых и многих других. Трудности их преодоления, проистекающие отсюда непонимания, приводящие к отклонениям предлагаемых запросов на общение, не в последнюю очередь рассматриваются как причины социальных конфликтов, препятствий на пути трансляции и диффузии знания, фиаско программ по интеграции и социализации культурных меньшинств. Актуальность приобретает экспликация условий коммуникативного успеха и определения понятия успешной коммуникации. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Является ли сам факт коммуникации демонстрацией ее успешности?³ Или же коммуникация всегда носит подчиненный и, скорее, инструментальный характер, ориентированный на достижение некоторых внешних по отношению к самой коммуникации целей и задач, и не может рассматриваться как «собственное достижение», как нечто ценное само по себе. В этой связи важно прояснить не только понятие

¹ См. пример сужения сферы коммуникативного до бихевиористской модели общения, выступающей в лучшем случае в виде политологической эвристики и методологии: *Lasswell H. Propaganda, communication and public order. Princeton. 1946.*

² В этом случае понятие коммуникации может охватывать широчайшую сферу взаимодействий, включающих невербальные человеческие контакты, обмен данными восприятия у животных, трансляцию машинных данных, телепатию, и даже коммуникацию между грибами и растениями, клетками и митохондриями, генами и фенотипами.

³ Как это имеет место, например, в отношении мирных переговоров, сам факт которых – безотносительно достигнутых результатов уже оказывается некоторым успехом, прерывающим военные действия.

коммуникативного *успеха/фiasco*, но и дополнительных по отношению к коммуникативному общению (если не противоположного, и при этом коммуникативно-необходимых) феноменов паузы, молчания, прерывания коммуникации. Последние, парадоксальным образом, и в свою очередь оказываются важнейшим вкладом в коммуникацию.

Однако ключевые актуальность и интерес представляют разработка и экспликация собственно *теоретико-познавательного содержания* коммуникации, как и реконструкция вписанности коммуникативной проблемы в историю развития философских, но, прежде всего, эпистемологических идей и концептов. И все же долгое время не представлялось очевидным, что коммуникация, прежде всего, является эпистемологическим понятием и проблемой. Так в классических философских учениях (при всем том, что именно Аристотель дал именно «коммуникативное» определение человека как «говорящего животного») речь шла о сферах бытия, по-видимому, не включавших коммуникационную сферу⁴. В этой связи именно философская концептуализация коммуникации позволяет в некотором смысле «спасти» и саму философию. Философия в ее исследованиях коммуникации словно возвращает *актуальность классическим философским проблемам* – (коммуникативному) пространству, (коммуникативному) времени, (социальной) каузальности, (коллективным) субъекту и объекту, наполняя их содержательными характеристиками и проверяя свои построения на опыте функционирования реального общества и общения.

К перечисленным выше вызовам, требующей эпистемологического анализа коммуникации, относятся и ряд совершенно новых обстоятельств, связанных с развитием информационных и социальных сетей, а также ЭВМ, что сделало возможным «нетрадиционные» вне-человеческие, вне-социальные и даже вне-смысловые типы трансляции коммуникаций. Речь идет о символических аспектах животной коммуникации, об осуществляющихся в наше время коммуникации между вычислительными машинами, о загадочном онтологическом и эпистемическом статусе программ и алгоритмов, которые кодируют и декодируют осмысленные реакции на входящие сигналы, но очевидно не «переживаются» машинами (как некими аналогами сознания) в виде осмысленных переживаний.

Такого рода «общение», кроме того, очевидно не ориентировано на различение *известного и неизвестного*, на явным образом (т.е. материально) презентированного *знакового сообщения* и недоступного («скрытого» в черепной коробке) индивидуального

⁴ Так, классическое деление на три сферы сущего: теоретическую (математика, физика, метафизика), практическую (этика, политика), и поэтическую (поэзия, экономика), очевидно, не включает в себя особую область – область общения. См.: *Аристотель*. Метафизика. Книга VI, глава первая; *Топика*, книга VI, глава шестая.

смысла сообщения, - различия, которое всегда мотивировало, провоцировало и поддерживало человеческое общение. В этой связи актуальность приобретает вопрос о том, сделает ли машинная коммуникация возможным общение совсем иного рода, где закрытость чужого сознания перестанет быть главным вызовом и триггером коммуникативного акта, требующего новых и новых коннекций и образования коммуникативных систем?

В этом смысле, актуальность экспликации эпистемологического содержания понятия коммуникации оказывается сопряженным с несколькими аспектами человеческого познания. Во-первых, речь идет об определении адекватности *понимания* высказывания Другого, реконструкция которого затруднена (а может, и вовсе невозможна) в условиях недоступности чужого сознания. Во-вторых, проблема коммуникации связана с принципиально двойной целью любой коммуникации, ориентированной, с одной стороны, на интеграцию и достижение взаимопонимания и согласия, а с другой – на информационное описание предмета сообщения. В-третьих, коммуникация основана на важнейшем эпистемологическом различии *знание/незнание*, т.е. известности некоторой информации одному участнику коммуникации и ее неизвестности другому, что собственно только и провоцирует образование коммуникативных систем и самых разнообразных форм социальности. В-четвертых, коммуникация, раздваиваясь на общение когнитивное и общение нормативное, тем не менее, в целом остается изоморфной процессу познания, поскольку всегда предстает *рациональным выбором* (и в этом смысле - *познанием*) между субъектным и объектным истолкованием того или иного сообщения, *рациональным выбором* между интерпретацией высказывания как нацеленного на поддержание сплоченности (сообщении об известном, удостоверении общности) и интерпретацией высказывания как нацеленного на сообщение о новом и неизвестном.

Степень научной разработанности проблемы

В работе рассмотрены возможности создания теории коммуникации, базирующейся на междисциплинарном фундаменте. Традиционные подходы к анализу коммуникации опираются, главным образом, на социально-философские, социологические и историко-этнологические основания. Нас же интересуют возможности формулирования синтетической и междисциплинарно-фундированной концепции коммуникации как единого предмета исследований целого ряда дисциплин и подходов: биологии и

нейрофизиологического обоснования теории коммуникаций, общей теории систем, теории живых и социальных систем, логико-математической формализации коммуникативных процессов, кибернетики или теории управления; общей теории наблюдения, сформулированной в рамках физической теории и учитывающей эффекты, вносимые наблюдателем в наблюдаемые явления. Данное исследование направлено на использование результатов, разработанных в рамках данных исследований.

Рассматривая разработанность и историю этого понятия, мы вынуждены различать две отдельные истории: историю термина, менявшего свои смыслы (история семантики), и историю самого понятия, не зафиксированного однозначно в виде термина, но выказывающего некоторую историческую содержательную инвариантность. Последнее предполагает наличие современного смысла слова в прошлых концептуализациях данного феномена и его воспроизводство. При этом рассмотрение такой эволюции смыслов, закрепленных синтаксически, в виде слова, вполне может предполагать работу с разными понятиями, объединенными лишь внешним образом. Если же будем рассматривать инвариантную семантику, воспроизводимый смысл, вербализуемый разными словами, то нам не удастся показать эволюцию. Мы попробуем совместить обе перспективы, и будем рассматривать меняющиеся смыслы слова «коммуникации» как отражающие трансформацию смыслов процесса фактической коммуникации.

Понятие коммуникации (от латинского *communicatio*), глубоко укоренено в европейской культуре, языках и истории, и изначально указывало на широчайший комплекс референций – *сообщение, удостоверение, связь, обмен, сношения, обхождение, сообщество*. Происходит же оно, предположительно, от латинского *communicare* (делить друг с другом, делать общим) и в 15 веке утверждается в английском языке. Корни же его гораздо глубже. Индоевропейский корень *mun* выражает значения чего-то общего, указывает на общность смысла слова или поведения. Латинское *munus* имеет значения публичных воздаяний за заслуги (указывает на дары, дань, на ритуалы почитания мертвых). В германских языках от этого корня образуются соответствующие современные формы *meaning* (англ.), *Meinung, gemein* (нем.).

В латинском языке *communicatio* первоначально не являлось обозначением символического процесса, трансляцией символов или смыслов от одного к другому, как и не обозначало диалога, а, скорее, служило обозначением симуляции такого диалога, выступало риторическим приемом, состоящим в обращении к гипотетическим соображениям фактически *не присутствующих* оппонентов или публики. При этом наличествовал и другой *не-диалогический* смысл: *communication* обозначало религиозное

таинство причастия, но не являлось каким-то посланием, а удостоверяло принадлежность к религиозной общине, не подразумевавшую коммуникативного ответа.

В философский оборот в относительно явном виде это понятие (но не сам термин) входит благодаря Платону. В диалоге «Софист»⁵ под одноименной темой собственно и понимается некий вид рассуждений или «искусство убеждения», «искусство прекословия» и «искусство словопрения», свободное от предметности, но сосредоточенные на самих этих рассуждениях. И вытекающая отсюда убедительность рассуждений ставится под вопрос уже в силу самой этой убедительности, а скепсис и сомнение полагаются неотъемлемыми чертами любых развернутых рассуждений. Именно с этого диалога и берет свое начало так называемая «староевропейская традиция», избегающая подозрительных «софизмов», требующая обращения к «самим вещам» и как будто бы предполагающая некоторый доступ к последним в их независимости от их коммуникативного обсуждения.⁶ В этой традиции онтология получает очевидный приоритет перед эпистемологией, а слова и язык низводятся до всегда сомнительных и недостоверных средств реконструирования вещных характеристик⁷.

Современные (уже ставшие практически повседневными) смыслы понятия коммуникации – трансферта или физической передачи (света, электричества, тепла, сигналов и т.д.), а также взаимного обмена сообщениями возникает лишь в 19 веке. Однако в современный *философский* оборот термин «коммуникация» входит несколько позднее благодаря Лео Лёвенталю в его (позднее использованным Ю. Хабермасом) различении между «аутентичным» и «инструментальным» типами коммуникации, где «подлинная коммуникация влечет образование единства, обобществления внутреннего опыта»⁸.

Такое философское понимание коммуникации как способа некоего «примирения» между Его и Другим поначалу резко контрастирует с возникающей в 40-х годах «коммуникативной теорией» (математической теорией передачи сигналов и информации), где коммуникация предстает в виде функционирования цепи из (деантропологизированных) звеньев: источника информации, трансмиттера-кодировщика сообщения, канала-медиума, ресивера (декодировщика сигнала), места назначения (дестинации)⁹. В таком «кибернетическом» понимании коммуникации, очевидно,

⁵ Платон. Софист. 225 С. Особое место в данных диалоге среди иных искусств рассуждения отводится «искусству различать», как некоей метаспособности, лежащей в основе всех иных типов рассуждений.

⁶ Сам термин, как и концепцию преодоления – такой предметно-ориентированной - «староевропейской традиции» предложил Н. Луман. См.: *Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Suhrkamp. Bd. 1-5. 1994.*

⁷ Более подробно об этом: *Baecker D. Kommunikation. Reklam. 2005;* его же: *Form und Formen der Kommunikation. Suhrkamp. 2005.*

⁸ *Loewenthal L. Humanität und Kommunikation (1969) / Literatur und Massenkultur. Suhrkamp. 1980. S. 358.*

⁹ *Shannon, Claude E. Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Illinois. 1949.*

размывается свойственная человеческому общению жесткая дистинкция *отправитель/получатель* с принципиально различными (у получателя и отправителя) *видами доступа* к информации, которую несет в себе сообщение. Позднее, в результате развития кибернетического понятия, обозначаются попытки применить его и к самому человеческому общению. Так, в кибернетической интерпретации коммуникации¹⁰ интерес от коммуницирующих полюсов (отправителя и получателя) постепенно смещается к *области медиа коммуникации, т.е. к самим каналам* распространения информации¹¹.

Впрочем, эти два центральных подхода (интеграционно-коммуникативный и инструментально- или медиа-коммуникативный) не отменяют друг друга, а скорее, описывают две акцентуации одного и того же процесса. Смещение в область *медиа коммуникации* общения, интерес к поиску алгоритмов автоматически достигаемого коммуникативного и деятельностного успеха может рассматриваться как негативная (но актуальная) характеристика в том числе и человеческой, а не исключительно машинной коммуникации. Такого рода критика инструментального разума, подразумевающего использование денег и административной власти в качестве коммуникативных медиа успеха была, как известно, осуществлена Й. Хабермасом¹²)

Нас, конечно, больше интересует понятие коммуникации в ее эпистемологическом смысле. Речь идет о коммуникации, ориентированной

1. на различие *знания/незнания* (знания некоторого Его, неизвестное Другому, которое и мотивирует его сообщить об этом) и

2. на различие *сообщение/информация* (открытого и доступного коммуникативного сообщения и замкнутого и недоступного для Его сознания Другого, в котором «локализованы» смыслы, мотивы или «заложенная» информация сообщения). Именно данное различие словно провоцирует все новые и новые попытки удостовериться в недоступных смыслах и значениях, предложенных в ходе коммуникации сообщений, в отношении которых надо – на основе понимания или непонимания – сделать (не обязательно конгруэнтный пониманию) выбор об их акцептации или отклонении. Такую коммуникацию следует отличать от коммуникации в обычном смысле, ориентированной

¹⁰ См. важные работы в этой области: *Foerster H.* (Ed.) *Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication/Future Systems*, 1995; *Hayles, N. K.* *Boundary Disputes: Homeostasis, Reflexivity, and the Foundations of Cybernetics // Configurations*, 1994, № 3; *Lasker, G. E.* (Ed.) *Applied Systems and Cybernetics*. Vol. II. New York. 1981; *Günter G.* *Cognition and Volition: a Contribution to a Cybernetic Theory of Subjectivity // Günter G.* *Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik*. Bd. 2. Hamburg, 1979; *Ashby, W. R.* *An Introduction to Cybernetics*. London, 1956; *Ashby W. R.* *Requisite Variety and its Implications for the Control of Complex System // Cybernetica*, 1958, № 1.

¹¹ Впрочем, такое смещение интереса от коммуницирующих полюсов к коммуникационной среде или полю произошло несколько ранее в психологии. См. известный доклад Фрица Хайдера «Вещь и Медиум», 1927. *Heider F.* *Ding und Medium*. Berlin. 2005.

¹² *Habermas J.* *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt/M. 1981.

на достижение согласия и взаимопонимания, интеграции сообщества и социализации индивидов.

Эпистемологическое понимание коммуникации начинает разрабатываться сравнительно недавно. Ее исследование отчасти становилось реакцией на ряд теоретических и технических вызовов, в особенности на возникающие в 19 веке понятия «солипсизма» и «телепатии»¹³, задающие крайние теоретические точки возможностей общения. Но, может быть, и большую роль сыграло изменение структуры и характера самого человеческого общения в 19 веке, когда *медиа-опосредованное или, иначе, инструментализованное* общение (печать, телеграф, телефон) начало в каком-то смысле «вытеснять» интерактивную face-to-face-коммуникацию. Эти изменения в практике общения не оставались незамеченными и в литературной рефлексии. Имея ввиду вышеозначенные эпистемические дистинкции, Уильям Джеймс говорит о «великом расколе», как необходимой предпосылки процесса коммуникации¹⁴.

Господство «староевропейской традиции», в котором *предметное* измерение коммуникации явным образом доминировало над измерением *социальным*, сохранялось до языкового поворота в философии. Лишь в 20 веке язык получает центральную роль главного познавательного инструмента, что превращает коммуникацию в одну из ведущих философских и эпистемологических проблем. Так, в философии Людвиг Витгенштейна *предметное* измерение коммуникации оказывается «ограничено» языком¹⁵, и уже не может вырваться за *пределы сообщенного* в рамках человеческой коммуникации. То, что не может быть сообщено, проинтерпретировано другими и понято как смысл сказанного, в известном смысле и не может получить статуса предмета (обсуждения).

Одновременно и в рамках *лингвистической* интерпретации коммуникации¹⁶ нащупывались решения ключевой коммуникативной проблемы: невозможность и

¹³ Myers F. H. W. Human Personality and its Survival of Death. London. 1903.

¹⁴ «Один великий раскол целостного универсума на две половины осуществляется каждым из нас; и для каждого из нас главный интерес привязан к одной из этих половин; но проводим эту разделительную разделения в разных местах. ... и мы называем эти половины одинаковыми именами «me» и «not me». James W. Principles of Psychology. Chicago. 1952. P. 187. Именно этот «раскол», как и мотив поисков средств по его преодолению, во многом, как мы увидим ниже, определяют всякую концептуализацию коммуникации.

¹⁵ В «Трактате» мир интерпретируется как «все, что выпадает» («Die Welt ist alles, was der Fall ist») таким или иным образом, как подброшенная вверх монета «выпадает» орлом или решкой, - что ограничивает ее бытие двумя возможными мирами. Так, и мир в его предметном измерении оказывается ограниченным двумя логическими (= языковыми) возможностями – быть таким или дру--гим, но фактически он в каждом случае *уже* этих возможностей. В этом смысле языковые формы получают собственное и самостоятельное значение в сравнении с миром. Ту же мысль, но с лингвистической точки зрения выражает и Ф. де Соссюр.

¹⁶ Для наших целей особенно важной стала работа Елены Еспозито (*Esposito E. Two-sided Forms in Language. Stanford 1999.*) Автор, применив «философию формы» Спенсера-Брауна, ввела важные лингвистические различия: *индикации/дистинкции* (как инструмента наблюдения), сопоставив ее с коммуникативным различием *самореференции/инореференции*. См. об этом также см.: Ваеcker D. (ed.). The problem of form. Stanford, 1999. Другие работы в области лингвистической интерпретации коммуникации: Остин Дж. Как производить действия при помощи слов /У Остин Дж. Избранное. М., 1999]. Куайн У. Слово и объект. М., 2001. *Martinet A. Elements of general linguistics. Chicago. 1982.* Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2006. *Куслий П.С. Аспекты внутреннего мира и семантика естественного языка // Эпистемология и философия науки. 2014, № 4.*

одновременно необходимости «открыть» сознание Другого для обеспечения адекватных вербальных реакций на скрытые и поэтому всегда гипотетические смыслы посылаемых сообщений. Лингвисты Чарльз Огден и Айвор Ричардс, развивая идея Г.Фреге, Б. Рассела, Л. Витгенштейна, попытались фактически (а не путем составления манифестов в стиле логического позитивизм) решить означенную проблему путем закрепления за словами предельно однозначных смыслов и жесткого разделения символического и эмоционального значений слов. Последнее позволило бы, с их точки зрения, придавать коммуникации однозначность и обеспечить достоверность интерпретаций отсылаемых сообщений. Благодаря их методу в коммуникации не пришлось бы выбирать между предметом сообщения («идет дождь») и тем, какая установка (намерение, надежда, опасение, удивление перед тем, что «идет дождь» и т.д.) мотивировала это высказывание и следовательно должна выступать его «непредметным» смыслом)¹⁷. Ради такой пурификации общения был предложен универсальный базовый английский словарь, составленный из 850 слов. Средством достижения предметной однозначности становилось универсальное *согласие* в универсально разделяемых смыслах, что однозначно провозглашало приоритет *социального измерения* перед предметным. Все остальные употребления смыслов рассматривались как неаутентичные типы коммуникации.

Та же опасность «неаутентичности» коммуникации, но в ином аспекте, рассматривается Хайдеггером. При этом коммуникативное сообщение, согласно мыслителю, в принципе не может претендовать на вышеозначенное преодоление раскола между *Я* и *Другим*¹⁸, поскольку «событие речи» манифестирует *уже* состоявшуюся, но еще «не присвоенную» связь с Другими. Здесь особую важность приобретает понимание «сообщения» (поскольку «сообщение» открывает мир еще на уровне синтаксиса, т.е. до всякой интерпретации и анализа, т.н. «присвоения») как изначальное проявление согласия. Семантика, как обмен смыслами сообщений, и прагматика, как координация действий, не имеют большого значения в его понимании общения.

Подобно Хайдеггеру и Джон Дьюи сосредотачивает внимание на возможностях современной коммуникацией преодолевать интерактивные границы общения face-to-face. Компенсировать возникающий таким образом разрыв должно образование, призванное универсализировать и сделать общими «опыт» (а позднее – «культуру») и тем самым – восстановить утрачиваемую в ходе коммуникативной инструментализации

¹⁷ Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of Meaning. New York. 1923.

¹⁸ «Сообщение никогда не есть что-то вроде переноса переживаний, например мнений и желаний, из глубин одного субъекта в глубины другого. Соприсутствие по сути уже очевидно в сонстроенности и в сопонимании. Событие в речи «выражено» разделяется, т.е. оно уже есть, неразделенное только как не схваченное и присвоенное». Хайдеггер М. Бытие и время. М. 1997. С. 57.

«непосредственную общность опыта» Его и Другого.¹⁹ Но, как и Хайдеггеру, это единение других видится ему не на семантическом уровне смыслов, локализованных в психике и мышлении индивидов, а в самом – объективно данном – языке, смыслы слов которого нужно понимать, не как «частную собственность», а как «методы действий» и «способы использования вещей»²⁰

Близкий идеям прагматизма Дж. Г. Мид, в свою очередь, попытался решить проблемы «замкнутости» сознания Другого как главного препятствия трансляции смысла. В его концепции эту роль посредника берет на себя «вещь». Вещи выступают, таким образом, *живыми* партнерами людей, и только поэтому с ними можно контактировать *как с людьми*. Условия общения и контакта с предметами интерпретируются как более глубинные и предпосланные собственно контакту и коммуникации людей друг с другом, причем еще до образования у него способности дифференцировать внешний мир на живое и неживое, социальное и психическое. «Примеривание на себя» роли вещи выступало у Мида условием обособления человека как предметного и живого существа, отличного от всех остальных живых существ и вещей. Ведь именно вещь выступала самым общим носителем суммы ролей – устойчивых и предвосхищаемых типов поведения. Благодаря вещи человек научился определять себя через другое, и лишь впоследствии и именно благодаря этому возникает возможность контактов с некоторым другим индивидом, «обобщенным Другим», общностью или коллективом.²¹

В рамках этой ветви интерпретации коммуникации следует рассматривать так называемую «философию диалога», традиционно связываемую с именами М. Бубера (выстраивающего «онтологию диалога» на теологическом фундаменте)²², Э.Левинаса (рассматривающего «диалог» с Другим как некую «трансцендентальную форму», удостоверяющую мысленную идентичность Я²³). Философский диалогизм получает разработанную форму в идеи полифоничности М. Бахтина, конкретно проявляющихся в в таких свойствах диалога как симфония, множественная полярность, двухголосность слова и в этой форме синтеза Я и Другого образуют некое *Со-бытие*, полагаемое им в основание структуры бытия²⁴. Особенно интересны в этой связи предложенные Бахтиным

¹⁹ «Неистовый поиск того, что могло бы заполнить пустоту, образованную ослаблением уз, удерживающих людей вместе в непосредственной общности опыта». *Дьюи Дж.* Общество и его проблемы. Москва. 2002. С. 156.

²⁰ «Солилоквий – продукт и отражение общения с другими; ... коммуникация – это не эффект солилоквия». *Dewey J.* Experience and Nature. Chicago. 1925. P. 135.

²¹ *Mead G. H.* The Objective Reality of Perspectives / Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy. New York. 1926. P. 75-85. *Мид Дж. Г.* Разум, Я и общество (Главы из книги) /7 Социальные и гуманитарные науки (отечественная и зарубежная литература). РЖ, «Социология». 1997. № 4; *Мид Дж. Г.* Социальное сознание и сознание смысла. Перевод с англ. *Р.Э. Бараш*//Эпистемология и философия науки. М. 2013, № 1., С. 219 -227

²² *Бубер М.* Я и Ты.

²³ *Левинас, Э.* Путь к Другому. СПб. 2007.

²⁴ *Бахтин М.М.* Слово в романе / Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975; *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.1979.

возможности историко-эмпирической интерпретации его общей схемы применительно к историческим типам культуры, где *Я* и *Другой* предстают в различных конstellациях. Свои версии философии диалога развивают Ф. Розенцвейг²⁵, Ф. Эбнер²⁶, О. Розеншток-Хюсси²⁷, В.С. Библер²⁸.

В *социологической концептуализации* коммуникации проблема замкнутости сознания и невозможности реконструкции смысла посылаемого сообщения становится конститутивной проблемой самой социальной теории. Так, в «философии жизни» Георга Зиммеля коммуникация предстает как циркулярное взаимодействие, как переход действия (Tun) в переживания (Leiden), как каузальные воздействия тех или иных *социальных форм* (например, формы брака) на соответствующие *переживания* (в данном случае, на чувства любви и привязанности). Проблема замкнутости сознания и исключительно индивидуального доступа к смыслам сказанного раскрывается через устойчивые и воспроизводимые корреляции чувств и коммуникаций (переживания прекрасного – социальная форма искусства – переживания прекрасного; переживание сакрального – социальная форма религии – переживание сакрального)²⁹.

В перспективе *феноменологической социологии* проблема коммуникации предстает несколько шире, выходя за пределы проблемы асимметричности доступа у коммуницирующих к смыслу сказанного. Проблема коммуникации усматривается, во-первых, в асимметричности *временных перспектив* пытающихся понять друг друга коммуникантов. Высказывающийся исходит из некоторой, локализованной в некотором будущем цели своего слича (in-order-to-communication). Напротив, интерпретатор коммуникативного акта исходит из некоторого «отложенного в прошлом» знания Другого, используемых им символов (because-of-communication). При этом временная рассинхронизация в понимании (однозначного по своей форме сообщения) дополняется указанием на принципиальную невозможность удостовериться в субъективном (индивидуальном, и даже идеосинкразийном) или же, напротив, объективном (универсальном, общепризнанном) использовании знаков³⁰. Ведь понимающий Ego все-таки всегда со-учитывает следующее обстоятельство: то, что в высказывании *Другого* представляется как *определенное прошлым, коллективным, объективным (воспитанием, образованием, социальной принадлежностью)*, с точки зрения самого *Другого*

²⁵ Идея Розенцвейга в том, что диалог должен выстраиваться на основе некоего «нового мышления» (основанного не на абстракциях), а определяемого конкретной речью в конкретный момент времени: *Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften*. Stuttgart, 1984;

²⁶ Концепцию так называемой «пневматологии души» см.: Ebner F. *Das Wort und die geistige Realitat, Gesammelte Werke*, Bd 1. Wien, 1952

²⁷ *Розеншток-Хюсси О.* Речь и действительность. М. 1994

²⁸ *Культура. Диалог культур (опыт определения)* // Вопросы философии, 1989, № 6.

²⁹ *Simmel G.* Grundfragen der Soziologie. Berlin. 1970.

³⁰ *Schuetz A.* The Phenomenology of the Social World. Northwestern University Press. 1967.

определяется его свободным индивидуально-поставленным замыслом. Кроме того, коммуникативная проблема возникает в процессе понимания еще и в силу того, что за знаком кроется не только значение, но и намерение, желание мотивировать или эмоция. Тем не менее, коммуникативное понимание возможно и без введения фикции «эмпатии». Оно обеспечивается пространственно-временной и личностно-коллективной (т.е. учетом возможности субъективности и объективности в интерпретации знаков) *регионализацией сфер жизненного мира*, относительно *единообразно* дифференцирующихся у всех участников коммуникации.

В рефлексии *социологического функционализма*³¹ утрачивает свое значение обсуждаема выше ключевая проблема коммуникации – *асимметричность* доступа к смыслам высказываний у Ego и Другого. Коммуникация (впрочем, как и сам коммуницирующий человек-действитель) теперь рассматривается как *условие* некоторого *деантропологизированного* события – действия. Однако такое наложение коммуникативных ограничений на цели и средства действия и их рационально сопряжение оказывается, с точки зрения функционализма, невозможным *только* на основе коммуникации, т.е. некоего взаимовыгодного договора (Гоббс и др. формы утилитаризма). Ведь и соблюдение договора требует для себя каких-то условий. И заключение договора о соблюдении договоров здесь очевидно не поможет, и значит – требуются какие-то недоговорные основания договоренностей, т.е. *некоммуницируемые условия коммуникации*. Таковыми основаниями должны были выступить некоторые структурные предпосылки коммуникации, прежде всего, ценностная или моральная основа общения, стандарты, нормы, идеалы. В этом случае функция коммуницирующего человека как одного из условий действия низводится до функций восприятия и удовлетворения – способности зафиксировать завершенность действия и почувствовать удовлетворенность от целереализации. Рациональность коммуникации и действия отныне определялось, не разумом человека (актора), а функционально, т.е. тем, насколько действие отвечало базовым условиям или предпосылкам – адаптации, воспроизводству паттернов культуры, интеграции, удовлетворению от целедостижения.

Не лишенный компилятивности и при этом оппонирующий функционализму подход Ю. Хабермаса³² превращает понятие коммуникации в универсальную характеристику

³¹ *Parsons T. The Social System. Routledge. 1951. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.*

Coulman J. Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322.

Parsons T. Structure of social action: a study in social theory... New York. 1937. P. 732.

Parsons T. The Social System. Glencoe. 1951. P. 24-104.

Parsons T., Smelser N.L. Economy and Society. London. 1956.

Parsons T., Shils E.A. Toward a General Theory of Action. Harvard University Press. 1951. p. 76-88.

Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp. 1996.

Луман Н. Общество общества. М.Логос. 2011. С. 358.

³² *Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: пер. с нем. СПб.: Наука, 2000.*

социальной реальности, представленную в понятиях *коммуникативной рациональности*³³, *коммуникативного действия*, *коммуникативной системы* (общества) и *понятии жизненного мира*. Коммуникативное действие, направленное на достижение понимания, противопоставляется инструментальному или целерациональному действию, ориентированному телеологически. Однако и языковое понимание в данном подходе тоже требует рационализации, причем даже в большей степени, чем этого требовало отношение цели и средства. Рационально коммуницирующие индивиды не должны использовать перлокутивные эффекты выражений (т.е. требования подчиниться воле говорящего), что, впрочем, не означает отказа от обоснования и критики. Понятие рациональной коммуникации приближает ее к стандартному пониманию знания (суммы истинных и обоснованных убеждений), лишь добавляя к нему признак *понятности*. Ведь коммуникативная рациональность покоится на четырех (аналогичных понятию знания) основаниях: понятность, объективная истинность, нормативная правильность и субъективная истинность (= убежденность). Идеальная рациональная коммуникация Хабермаса воспроизводит идеальную ситуацию научного обсуждения (с равными шансами на участие и на право инициировать обсуждения, на признание интерпретаций и аргументаций, на свободу от административного произвола и отказом от симуляции речевых интенций). Собственно, такого рода рациональный «коммуникативный разум» и должен определять «рациональное коммуникативное» действие, высвобождающееся таким образом от воздействий медиа, «управляющих» - внешними по отношению к этому разуму – инструментально-ориентированных систем «хозяйства» и «администрирования».

Конструктивистское обращение к коммуникации³⁴ имеет глубокие корни и восходит к идеям стоиков с их различием *techne-arete/sofia*. Последнее предполагало различие пропозиционального, информативного или рефлексивного знания (*знания-что*) и нерефлексивного деятельностно-выраженного знания-умения (*знания-как*). Что делало возможным сохранение рациональности (в рамках знания-умения) как своего рода убежища в условиях сомнений, парадоксов и противоречий, характерных для знания рефлексивного. Также и в целом для конструктивистского понимания коммуникации характерна переориентация интереса к тому, *как* осуществляется и как генерируется (конструируется) коммуникация, с вопроса о том, *что* является ее темой или предметом.

³³Понятие коммуникативной рациональности в России разрабатывается авторами: Антоновский А. Ю. Коммуникативная рациональность – внешняя и внутренняя//Эпистемология и Философия науки. 2008. Т. XVII. № 3; Смирнова Н.М. Коммуникативная рациональность и жизненный мир человека//Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVII. № 3

³⁴ См. конструктивистские интерпретации коммуникации: Luhmann N. Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität // Soziologische Aufklärung. Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven. Westdeutscher Verlag, 1991.

Отсюда же проистекает т.н. «онтогенетическая» интерпретация становления когнитивных и коммуникативных способностей. С точки зрения Ж. Пиаже, именно в самой коммуникации осуществляется конструктивный «фундаментальный процесс познания» путем «децентрации субъективных иллюзий», благодаря чему «субъект получает возможность занимать позиции других людей или самих объектов»³⁵.

Пиажеанец и лингвист Эрнст фон Глазерсфельд³⁶ и физик, психолог и математик из илинойского университета Хайнц фон Ферстер³⁷, биологи Франциско Варела и Умберто Матурана³⁸ расширяют понятие коммуникации, выводя его за пределы узкой зависимости между языком и сознанием. В итоге формулируются широкое – т.н. конструктивистское – понимание познания, фактически сведенное к процессу *наблюдения*. Правда, при этом и наблюдение понимается более широко, чем обычно: оно может осуществляться не только в рамках коммуникации и когнитивных процессов (индивидуального человеческого восприятия и мышления), но и проявляться в «поведении» самого разного вида: биологических систем (клетки, организмы и их органы), мозга, сознания, культуры, общества, машин и т.д. Там, где осуществляются различия между предметом тех или иных операций и самим агентом операций, там и имеет место – пусть самое примитивное и зачаточное – познание и примитивная самость («minimal self» - Д. Деннет). Самость оказывается следствием (само)наблюдения как процесса *обозначения* вследствие тех или иных *различий*. Очевидно, что в этом смысле и коммуникация всегда представляет собой наблюдение, поскольку одна тема обсуждения выбирается как ведущая, а все остальное отклоняется или потенциализируется. И сама коммуникация предстает в виде некоторого наблюдателя³⁹, осуществляющего различие между предметом обсуждения и самим обсуждением⁴⁰.

Отдельно следует сказать о работах в области эпистемологии коммуникации в России, где эпистемология коммуникации, как правило, разрабатывается как ее социально-эпистемологическая интерпретация (работы И.Т. Касавина, Л.А.Марковой, Мамчур Е.А.)⁴¹, как эпистемология языка (Касавин И.Т., Вострикова Е.В., Куслий П.С., Мамчур

³⁵ Пиаже Ж. О механизмах ассимиляции и аккомодации // Психологическая наука и образование. 1998 № 1. С. 22-26.

³⁶ Glasersfeld E. v. Radical constructivism. A Way of Knowing and learning. Routledge. 1996.

³⁷ Foerster H. v. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. Springer. 2002.

³⁸ Varela F., Maturana H. Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition. Stanford. 1999.

³⁹ Подробнее о коммуникационных системах как наблюдателях см.: Луман Н. Общество как социальная система. М. Логос. 2004.

⁴⁰ В России конструктивистскому подходу традиционно уделяют внимание многие философы: Касавин И. Т. Конструктивизм: заявленные программы и нерешенные проблемы//Эпистемология и философия науки. 2008. № 1; Филатов В. П., Касавин И. Т., Антоновский А. Ю., Рузавин Г. И. Обсуждаем статьи о конструктивизме//Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 20. № 2. С. 142-156

⁴¹ Social Epistemology, Interdisciplinarity and Context. A Discussion by Илья Касавин, Том Рокмор и Евгений Блинов//Эпистемология и философия науки. 2013. № 3. С. 57-76., Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы//Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. №1. С. 5-15; Филатов В.П. Социальная эпистемология и национальный образ науки//Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. С. 59-62. Мамчур, Е.А. Ещё раз о предмете социальной эпистемологии/Е.А. Мамчур//Эпистемология & философия науки. 2010.Т. XXIV. № 2.С. 44-53.

Е.А.)⁴². Проблема коммуникация рассматривается в рамках дискуссии между конструктивизмом и реализмом (работы Лекторского В.А.)⁴³. Эпистемический анализ коммуникации осуществляется в исследованиях в области STS (труды Касавина И.Т., Столяровой О.Е.)⁴⁴, синергетики (работы Аршинова В.И., Киященко Л.П., Герасимовой И.А., Буданова В.Г.)⁴⁵, в рассмотрении и разработке понятия социальных технологий (работы Лекторского В.А.⁴⁶, Касавина И.Т., Юдина Б.Г.⁴⁷), этико-коммуникативных исследований (Горохов В.Г., Аршинова В.И.)⁴⁸. В этом же контексте требуют упоминания и труды по определению *смысла* и *значения* как ключевых коммуникативных категорий и оснований логической структуры коммуникации (работы Никифорова А.Л., Васюкова В.Л., Куслия П.С., Востриковой Е.В.⁴⁹).

Итак, подводя итоги нашего краткого исторического обзора разработки понятия коммуникации, можно сделать вывод об исключительной сложности и мультидисциплинарном характере этого явления, данного нам в процессе его непрерывного эволюционирования и предстающего в виде сложнейшего комплекса перетекающих друг в друга типов активности, главные из которых мы можем перечислить. Речь, прежде всего, идет о:

- выражении (религиозной и др.) причастности; риторическом смысле коммуникации;
- поиске и фиксации взаимно-недоступных смыслов и значений;
- феноменологическом опыте взаимопонимания через удостоверение общей пространственно-временной регионализации жизненного мира участников коммуникации;
- кибернетике, инструментально и медиа-опосредованных потоках и каналах информации;
- психологических поисках оснований коммуникативно-ролевого поведения;
- функционально-социологического понимании коммуникации как ретранслятора культуры и традиции;

⁴² Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. Замысел книги//Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 19, №1. С. 53-56; Мамчур Е.А. Социальная эпистемология или социология языка// Эпистемология и философия науки. 2009, № 1. С. 61-64.

⁴³ Лекторский В.А. Конструктивизм vs. Реализм // Эпистемология и философия науки. 2015, № 1.

⁴⁴ Касавин И.Т. STS: опережающая натурализация или догоняющая модернизация?//Эпистемология и философия науки. 2014. № 1. С. 5-17; Столярова О. А. Исторический контекст науки: материальная культура и онтологии//Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXX. № 4. С. 32-50

⁴⁵ Буданов В.Г., Герасимова И.А. Квантовая теория и проблема сознания (перспектива междисциплинарного сотрудничества)//Эпистемология и философия науки. 2005. № 4. С. 204-222

⁴⁶ Лекторский В. А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека//Эпистемология и философия науки. 2011. №3. С. 35-48. Лекторский В.А. О проблеме знания//Эпистемология и философия науки. 2009. №3. Т. XXI. 74-76 с.

⁴⁷ Юдин Б.Г. Социальные технологии, их производство и потребление//Эпистемология и философия науки. 2012. Вып. XXXI. № 1. С. 55-64.

⁴⁸ Аршинов В.И. Нанозтика -конвергенция этических проблем современных технологий или пролегомены к постчеловеческому будущему?//В.И. Аршинов, В.Б. Горохов, В.В. Чеклецов//Эпистемология и философия науки. 2009. № 2

⁴⁹ Никифоров А.Л., Антоновский А.Ю., Вострикова Е.В., Куслий П.С. Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ / Отв. ред.: А.Ю.Антоновский, А.Л.Никифоров. - М., 2013; Васюков В.Л. Смысл и коммуникация // Эпистемология и философия науки. 2008. № 4. С. 53-56.

- коммуникации как полифоничном диалоге людей и культур;
- коммуникации как особом типе наблюдения (типе наблюдателя), несводимом к психическим наблюдательным возможностям индивидуального сознания.

Объект исследования

Объектом исследования является теория коммуникаций, но не во всем ее широчайшем формате, а в ее социально-эпистемологическом аспекте. При этом особое внимание уделяется когнитивным условиям коммуникации – символическим средствам медиа. К их числу мы относим как универсальные средства *распространения коммуникации* (язык, письменность, печать и телекоммуникацию), так и символические средства достижения *коммуникативного успеха* в специфических областях коммуникации (истину, знание, власть, веру, деньги и т.д.). При этом коммуникация как объект научного исследования существенно отличается от «стандартных» предметов научного теоретизирования – движущихся тел в физике, эквивалентно развивающихся организмов в биологии, трансформаций атомно-молекулярных связей в химии с точки зрения ее «измерительных процедур» в пространстве и времени. Для ограничения объектных рамок исследования мы дополнительно к социальному пространству и социальному времени вводим специальное *коллективно-личностное измерение* коммуникации, позволяющее учесть ее специфические значения, которые мы называем «социальными каузациями». В рамках этого измерения действиям, высказываниям, коммуникациям и социально значимым событиями приписываются самые разные типы «авторства» как их специфические причины.

Предмет исследования

Предметом исследования является социально-коммуникативное содержание важнейших эпистемических процессов и соответствующих понятий: истины, знания, понимания. Эти понятия рассматриваются как обобщающие и мотивирующие символические средства, позволяющие обособиться особому типу коммуникации, ориентированному на эти символы. Речь, прежде всего, идет о научной коммуникации,

которая рассматривается как двояко-детерминированная: т.е., с одной стороны, определяется собственными предметами научного интереса, прежде всего, актуальными научными проблемами (предметное измерение), но, с другой стороны, мотивирована структурными свойствами самой коммуникации, т.е. требованиями, предъявляемыми к научным сообщениям, к процессам извлечения информации из таковых сообщений, к их пониманию и объяснению).

Цели исследования

Экспликация социально-коммуникативного содержания классических понятий теории познания.

Выявление закономерностей, связывающих структуру научной коммуникации, научное знание с функционально-дифференцированной структурой общества и коммуникации.

Рассмотрение и определение коммуникации как фундаментального когнитивного процесса.

Задачи исследования

1. Разработка методологических оснований теории коммуникации в ее эпистемологической интерпретации
2. Реконструировать направление развития и эволюции коммуникативной структуры, эксплицировать базовую типологию видов и средств коммуникации.
3. Осуществить сравнительное исследование структуры коммуникации и структуры познавательной активности.
4. Разработать понятие коммуникативных контекстов или измерений коммуникации, в которых всякий коммуникативный акт может получать и определять свое значение или смысл.
5. Провести анализ научного знания на предмет наличия в нем свойств, характеризующий «естественные», «родовые» свойства человеческого общения (понимание, объяснение коммуникативных сообщений)
6. Проанализировать научные и общекommunikативные свойства понимания и объяснения

7. Рассмотреть проблему соотношения уровней социально-коммуникативного познания и его специфичности в сопоставлении с решением аналогичной проблемы в развитых (физических) теориях.

Методы

В исследовании применены следующие методы и теоретические подходы:

- методы и подходы общей теории коммуникативных систем, социальных систем и психических систем⁵⁰;
- методы сравнительного описания социальных феноменов (коммуникативных систем и коммуникативных медиа)
- методы и подходы общей теории социальных систем, применяемых в анализе систем интеракций, систем организаций и функциональных систем⁵¹;
- логико-дедуктивные методы формализации процессов наблюдения и коммуникации;⁵²
- методология и подходы кибернетики второго порядка, применяемая для анализа процессов коммуникативного понимания⁵³
- методы и подходы конструктивистской психологии и лингвистики⁵⁴
- методы и подходы неodarвинистской эволюционной теории (синтетической теории эволюции), применяемые к анализу общества⁵⁵

Научная новизна, теоретическая значимость диссертации.

⁵⁰ *Morin E.* La Methode. 1977. *Moigne J.-L.* La theorie du systeme genera!: theorie de la modelisation. Paris, 1977; *E. von Weizsacker.* Offene Systeme: Beitrage zur Zeilstruktur von Information, Entropie und Evolution / Stuttgart, 1974; *Roth G.* Biological Systems Theory and the Problem of Reductionism // *Self-organizing Systems: An Interdisciplinary Approach.* Berlin 1990

⁵¹ *Kuhn A.* The Logic of Social Systems: A Unified, Deductive, System-Based Approach to Sozial Science. San Francisco, 1974; *E. A. von der Stein.* Der Systembegriff in seiner geschichtlichen Entwicklung // *System und Klassifikation in Wissenschaft.* 1968; *Eugene J.* Aspects de la theorie generale des systemes: Une recherche des universaux. Paris. 1981; Луман Н. Социальные системы. СПб. 2007.

⁵² *Spencer-Brown G.* Laws of Form. New York. 1979.

⁵³ *Foerster H. v.* Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. New York 2010.

⁵⁴ *Бейтсон Г.* Экология разума. М.: Смысл, 2000. (E. von Glasersfeld. Construction of Knowledge. Princeton. 1987.)

⁵⁵ *Докинз Р.* Эгоистичный ген. М. 1993.

1. Новизна исследования состоит в преодолении методологической и дисциплинарной обособленности теории коммуникации. Современные теоретические концептуализации коммуникативной теории, как правило, основываются на внутридисциплинарных разработках, достижениях социально-гуманитарных дисциплин (социологии, экономики, социальной психологии, лингвистики, историко-этнологических исследований) и зачастую не учитывают принцип единства научного знания и универсальности критериев научного познания. Реализация этого принципа потребовала радикального расширения понимания коммуникации, вывода этого понятия за пределы сферы языка и речевых актов. В связи с этим в исследовании формулируется широкое – эпистемологическое, конструктивистское – понимание коммуникации, допускающее интерпретацию последней как формы познания (наблюдения).

2. Выявление теоретико-познавательного содержания коммуникации связывается в работе со следующими аспектами познания, делающими возможным новое и расширенное понятие коммуникации со следующими теоретико-познавательными характеристиками:

Во-первых, речь идет о ключевой проблеме адекватного *понимания* высказывания Другого, реконструкция которого затруднена в условиях недоступности чужого сознания.

Во-вторых, проблема коммуникации связывается с принципиально двойкой целью любой коммуникации, ориентированной, с одной стороны, на интеграцию и взаимопонимание, а с другой – на информационное описание предмета высказывания.

В-третьих, коммуникация рассматривается в исследовании как основанная на важнейшем эпистемологическом различении *знания/незнания*, т.е. известности некоторой информации одному участнику коммуникации и ее неизвестности другому, что только и провоцирует образование коммуникативных систем и самых разнообразных форм социальности.

В четвертых, коммуникация истолковывается как раздваивающаяся на общение когнитивное и общение нормативное и одновременно как структурно-изоморфная процессу познания, поскольку всегда предстает *рациональным выбором* (и в этом смысле - *познанием*) между субъектным и объектным истолкованием того или иного сообщения, *рациональным выбором* между интерпретацией высказывания как нацеленного на поддержание сплоченности (сообщение известного) и интерпретацией высказывания как нацеленного на сообщение о новом и неизвестном.

3. Теоретическая новизна исследования, не в последнюю очередь, связана с обоснованием тезиса, что познавательные процессы, процессы наблюдения могут осуществляться не только в рамках классической человеческой коммуникации и

когнитивных процессов (индивидуального человеческого восприятия и мышления), но и способны находить выражение в «поведениях» самого разного вида: биологических систем (клетки, организмы и их органы), мозга, сознания, культуры, общества, машин и т.д. - то есть везде там, где проводятся различия между предметом тех или иных операций и самими агентами операций; там, где имеет место – пусть самое примитивное и зачаточное – познание и примитивные самоидентификации.

Апробация результатов исследования.

Диссертация обсуждена и одобрена на заседании сектора социальной эпистемологии Института философии РАН 15 июня 2015 г.

Основные идеи исследования получили реализацию в монографиях автора: Антоновский А.Ю. Социоэпистемология. К пространственно-временным и коллективно-личностным измерениям общества. М. Канон. 2011; Антоновский А.Ю. Никлас Луман. Эпистемологическое введение в теорию коммуникативных систем. М. ИФ РАН 2007; Антоновский А.Ю. Социальная философия знания. М. ИФ РАН. 2015. Были представлены более чем на 10 Российских и международных конференциях, а также апробированы в виде курсов лекций, читаемых автором на философском факультете МГУ и философско-социологическом факультете РАНХиГС. Результаты работы над диссертацией представлены более чем в 30 публикаций в высокорейтинговых журналах ВАК, в частности в «Вопросы философии», «Философские науки», «Эпистемология и философия науки», «Вестник Московского университета», «Мониторинг общественного мнения» и других.

Положения, выносимые на защиту

1. Понятия коммуникативных *медиа* и *формы* должны рассматриваться как методологические инструменты анализа познания и коммуникации и служить основаниями системно-коммуникативной теории в целом. В расширенном виде они позволяют сформулировать также начала теории психических систем (первый параграф первой главы), и в более узком виде – применяются для анализа научной коммуникации. Оба феномена (описываемыми этими понятиями) в своей эволюции образуют

диалектические переходы (второй и четвертый параграфы первой главы): новые *формообразования* в рамках ранее утвердившихся медиа решают одни интеграционные проблемы, но одновременно генерируют новые конфликты и вызовы, требующих новых *формообразований*⁵⁶. Анализ формообразования коммуникативных медиа используется как теоретический ресурс социальной теории, поскольку позволяет классифицировать общества по медиа-коммуникативным признакам: как предтрадиционные, или общества *общего незнания*, традиционные или основанные на устной речи и интерактивном удостоверении *общего знания*, общества модерна или основанные на информационной природе коммуникации (телекоммуникативных медиа письменности, печати и электронных средств), в которых за функции познания отвечает специально обособленная для этой функции коммуникативная система науки.

2. Вышеозначенная методология позволяет (1) реконструировать магистральный путь развития коммуникации: в направлении от *интеграционно-ориентированной* коммуникации к коммуникации *информационной*; (2) эксплицировать условия понимания коммуникации и как следствие этого понимания – определить эволюционирующие условия акцептации или отклонения коммуникации; (3) эта эволюция состоит в особом пути объективации общения: если в традиционных обществах акцептация коммуникации зависит от тех контекстных значений, которые некоторый запрос на контакт получает в *пространственно-временным* и *коллективно-личностном* измерениях (т.е. зависят от непроговариваемых, но очевидных контекстов, от того, кто, где и когда осуществляет сообщение), то в современном обществе означенный контекст существенно редуцирован к предметному измерению коммуникации: к тому, о чем собственно сообщается в данной коммуникации. Однако новейшие формы и медиа коммуникации (социальные сети) разрушают и предметное единство коммуникации.

3. Коммуникация является формой познания, поскольку представляет собой *наблюдательную* (= избирательную, дискриминационную, когнитивную) активность. Всякое обсуждение предстает в виде актов выбора (= познания) темы, времени, места, участников коммуникации. Однако этот структурный изоморфизм коммуникации и познания претерпевает трансформации. Первоначально коммуникация выступает формой

⁵⁶ Проиллюстрируем это положение на примере диалектики форм и медиа коммуникации. Последовательно-дигитальная форма *языка*, накладываемая на аналого-пространственный медиум человеческого восприятия, делает возможными новые формы социального контроля (распространяя его на будущие социальные состояния), но одновременно генерирует и новые конфликты в связи с принципиальной бинарностью базовой языковой формы подтверждения/отрицания, и следовательно – отклонения любого предложенного для коммуникации смысла. Письменность как новая форма коммуникации, накладываемая на медиум языка, обеспечивает новую интеграцию путем записи и трансляции через обширные пространства обязательных поведенческих норм, но генерировала новые формы не-социального поведения (например, индивидуально осуществляющегося письма и чтения).

познания, поскольку представляет собой наблюдение в его самом широком смысле, а именно – одновременным процессом *обозначения/различения* (обсуждением одной темы и отклонением всех остальных предметов обсуждения). Позднее коммуникация приобретает изоморфность познанию в более узком смысле: принимает формы, совпадающие в своих основных этапах со стандартным определением (по)знания: элементы коммуникации (сообщение, информация, понимание) воспроизводят структурные элементы знания (полагание, обоснование, истинность). В последнем случае коммуникация переориентируется в своих ключевых мотивах: ориентир «*солидарного/не солидарного*» поведения меняется на ориентир «*известное мне/неизвестное другому*».

4. Коммуникация понимается нами в дименсиональном (= измерительном) контексте, т.е. определяется в пространственно-временном, предметном, коллективно-личностном измерениях, образующих гиперпространство коммуникации. Эти измерения или горизонты коммуникации меняют свое относительное значение в процессе эволюции коммуникации.⁵⁷

5. Адекватный анализ научного знания (научных объяснений, специфичности научных законов в их отличии от акцидентальных генерализаций, как и в вопросе о критериях и оценках лучших или предпочтительных теорий и лучших понятий) осуществляется через его сопоставление с «естественной» коммуникацией, через экспликацию существа естественного понимания и его предпосылок. Мы вынуждены отказаться от наивной установки, согласно которой лишь сам предмет научного интереса должен гарантировать истинность высказываний по его поводу и навязывает правильное понимание. Утверждается, что предметное измерение также и *научной* (как и всякой другой) коммуникации должно быть дополнено социальным и временным измерениями. Для этого разрабатывается *универсальное понятие понимания*, характерное как для науки, так и для других форм социальности. Таковое понимание определяется нами как процесс сравнения *фактического* и *латентного* на предмет их соответствия (или несоответствия): понимание имеет место в тех случаях, если речь идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и скрытых за ними мотивов сообщающего, (2) о различении

⁵⁷ Пояснение к положению. Первоначально первостепенное значение имеет автономное время (динамика) самой коммуникации (в ее устных формах). Позднее (в ее письменных формах) коммуникация приспосабливается к автономной динамике предмета коммуникации. Путем *адаптации к действительным событиям и процессам* интегративно-ориентированные формы общения (предсказания, ритуалы, табу, символы, пруденции) утрачивают свою автономность и с развитием письменности и перепечатки постепенно превращаются в *описания* действительных событий и процессов. Таким образом, коммуникация приобретает *информативность*: в предметы обсуждения входит *внешняя* для коммуникации реальность (информация), в то время как само коммуникативное сообщение (интеграционный полюс, имеющий собственное значение, независимое от внешнего мира) утрачивает коммуникативное значение и интерес для участников. Тем самым коммуникация выходит за пределы (ограниченных в пространстве и времени) интеракций или фактических встреч, превращается в телекоммуникацию – трансляцию символов без движения тел коммуникантов. Как следствие, коллективно-личностное измерение утрачивает свое значение, а временное и предметное оказываются доминирующими.

данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между *самореференцией* (тем, что в коммуникации относится к самому обсуждению) и *инореференцией* (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации).

6. Понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечивается через апелляцию к свойствам объектов, которые словно принуждают к взаимному согласию по их поводу (предметное измерение научной коммуникации). С другой стороны, наука остается коммуникативной системой и всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций исследователей, как реализация их честолюбивых замыслов и стремления к научному успеху, – т. е. самореференциально (иметь своим предметом саму коммуникацию, а не ее внешний мир). Отсюда следует, что выбор теорий и их интерпретаций во многом зависит от различия ориентационных наблюдательных перспектив участников научной коммуникации. Ученые не могут прийти к взаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измерениях, признают «естественными» разные порядки хода вещей, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – эта обычная трудность, вызванная приверженностью различным полюсам базовых коммуникативных дистинкций (различением *я/другое, людей/вещей* и т.д.).

7. Системно-коммуникативистский подход делает возможным установления связей и различий между уровнями эмпирического наблюдения и теоретическими переменными в социальной теории. Этот перепад уровней выказывает существенные отличия от организации научного знания в развитых (физических) дисциплинах, требующих *редукции* регулярностей феноменального уровня к скрытым на микро-уровне (теоретическим) зависимостям между переменными. В социальной теории редукция к ненаблюдаемой (теоретико-гипотетической) реальности предстает дополняется реконструкцией *эмерджентных* эффектов коммуникации на макроуровне.⁵⁸

⁵⁸ Пояснение к положению. На некотором микро-уровне (уровне переживания Другого) постулируется ненаблюдаемая, но лишь теоретически-полагаемая реальность – скрытое от наблюдателей человеческое сознание, которому вменяется набор гипотетических установок и мотиваций. Комбинации переменной *переживание/действие* с другой теоретической переменной *Эго/Другого* позволяет сконструировать все возможные (наблюдаемые) коммуникации современного общества: научные, хозяйственные, религиозные, политические типы коммуницирования. Связь теории и подтверждающих теорию наблюдений оказывается в этом случае наиболее экономичной (малое число переменных делает возможным широкий наблюдательный обзор). При этом комбинации теоретических переменных применяются к анализу эмерджентной реальности (гиперсистемы науки, политики, права, хозяйства), которые не могут наблюдаться непосредственно в их целостности, но всегда манифестированы в конкретных – экономических, политических и т.д. – действиях и коммуникациях.

Глава первая: символические медиа коммуникации знания

Параграф первый: понятия формы и медиа как основания теории коммуникативных и психических систем

Понятие формы – одно из древнейших философских и научных понятий, применяемых в большом числе научных дисциплин, математике, физике, биологии, социологии, лингвистике и когнитивных науках (в особенности в философии сознания, теориях искусственного интеллекта, философских теориях науки и конечно, в самой науке). Попробуем дать – пусть фрагментарный и неполный – обзор применений этого понятия в лингвистике и философии сознания и показать связь понятия формы и процесса коммуникативного понимания, которое это понятие делает возможным. Последнее предполагает прояснение роли формы для понятия коммуникации.

1. Теория медиа восприятия Фрица Хайдера

Теория медиа распространения коммуникации в отчетливом виде формулируется в теории медиа-наблюдения, сформулированной австро-американским психологом Фрицем Хайдером⁵⁹. Его идея состояла в следующем: с точки зрения нейрофизиологии, мы видим и слышим предмет внутри себя в ушной мембране и на сетчатке. Но из перспективы индивидуального сознания он переживается как находящийся в отдалении. Но как это возможно, ведь сознание не испускает манипулятивный луч, не задействует сонар, как бы «возвращающий» в сознание внешние характеристики предмета, как это делают летучие мыши и дельфины? Объяснение этому процессу Хайдер усматривал в той когнитивной функции, которую выполняют *инструменты или медиа наблюдения* как относительно независимые посредники между восприятием и его предметом.

При этом ключевое значение имело то обстоятельство, что сам этот посредник как раз и *ускользает от восприятия*, хотя именно он и отвечает за корреляцию между наблюдением и характеристиками предмета. Следовало прояснить значение каналов трансляции наблюдения (а именно, медиума воздуха – для звуковых образов,

⁵⁹Heider F. Ding und Medium (1927).Berlin. 2005.

принимающий *форму* звуковых волн; и медиума света, принимающего *форму* электромагнитных волн). Эти медиа, очевидно, включались в некую каузальную цепь: освещающее (солнце), освещенное (предмет), отраженный свет, воздействие на сетчатку, передача электрохимического импульса по главному нерву, активация нейронных паттернов в мозге и, наконец, – феноменально переживаемый образ в сознании. Однако возникают вопросы: почему в этой цепи равноправных причин и следствий, мы видим только предмет как некоторое *выделенное* звено? Ведь наблюдение, очевидно, детерминировано двояко: и свойствами медиума, и свойствами воздействующего на медиум предмета?

Эти соображения заставляют вносить некоторые коррективы в концепции истинности. Медиа восприятия (свет и воздух) выступают переносчиками энергии, импульса, который они словно получают от предмета наблюдения. Сам предмет при этом оказывается в некотором смысле второстепенным. Более того, то, что он «отпечатывает» в медиа наблюдения, оказывается дефинитивно-ложным, поскольку передаваемые им характеристики (характеристики колебаний, интенсивность и частоты волн), ни количественно, ни качественно никак не соответствуют феноменально наблюдаемому предмету. Они словно выступают в функции «означающего» (если использовать терминологию Соссюра), находящегося в каузальной зависимости с «означаемым» предметом, при этом несколько не похожим на последний. Возникает вопиющая несоразмерность: наблюдателя-человека в большей степени интересуют соразмерные ему макропредметы – движения автомобилей, падающие камни. Но в процессе фактического восприятия (конечно, за исключением деструктивных воздействий) они-то нас непосредственно «не касаются». Напротив, несоразмерные нам микрообъекты (электромагнитные и звуковые волны) *фактически* воздействуя на нас, сами ускользают от наблюдения.

Такое понимание наблюдения трансформировало представление о классической корреспондентской теории истины. Восприятие как форма наблюдения посредством означенных медиа оказывается единством одновременного отрицания и утверждения, поскольку наблюдение концентрируется на предмете, к которому у наблюдателя нет *фактического* доступа, и не замечает фактическую данность медиа, фактически воздействующего на органы восприятия. В этом смысле наблюдение ошибается уже тогда, когда сосредотачивается на чем-то центральном, «интересном» для наблюдателя. Наблюдение создает асимметрию, поскольку переоценивает фактически ненаблюдаемое «означаемое» и недооценивает фактически касающиеся нас медиа восприятия. В момент наблюдения от наблюдателя как раз и ускользает то, от чего было отличено наблюдаемое

(и прежде всего, конечно, от него ускользают сами медиа наблюдения как «слепое пятно» всякого наблюдения).

Эти соображения впоследствии были применены к теории *коммуникативных медиа*. Символические медиа коммуникации в соответствующих социальных системах (власть, истина, деньги, любовь) в их функции инструмента, облегчающего, канализирующего и разгружающего общение и гарантирующего его успех, точно также оказываются «слепым пятном» коммуникативного обсуждения в соответствующих системах (на уровне простого наблюдения). Однако они все-таки способны оказаться предметом обсуждения на уровне наблюдения второго порядка (в теории познания, в политической рефлексии, в теологии, в любовных романах, в критике произведения искусства и т.д.). Однако эти «катализаторы»⁶⁰ и одновременно условия специфических типов коммуникации, в свою очередь, требуют объяснения и экспликации их собственных условий и предпосылок.

Речь идет об особой функции *распространения коммуникации*, и в первую очередь – об устной речи, письменности, печати, кино и телевидении, электронных медиа и социальных сетях. Благодаря этим медиа в коммуникации обсуждается (= наблюдается) некоторый предмет (а все остальное, и прежде всего, сами медиа) выводится из коммуникативного обсуждения, подобно тому, как медиа восприятия (воздух и свет) сами ускользают от их восприятия. Ключевую роль в этом списке, однако, следует отвести техникам письменности и книгопечатанию. Именно эти медиа позволили на время решить социально-интегративные проблемы, возникшие как ответ на (дез)организующие функции языка. Такая социальная дезорганизация была связана прежде всего с возможностями языкового отрицания и, как следствие, – с запрограммированным в языке конфликтным потенциалом отклонений всякой вербально предложенной коммуникации (подробнее см. ниже).

Именно вследствие развития медиа распространения коммуникации возникают и вышеозначенные медиа коммуникативного порядка, во всей полноте реализовавшихся лишь в современном дифференцированном обществе. Ведь «продвинутые» медиа распространения приводят к фактическому распадению (в пространстве и времени) коммуникации на свои составляющие. Так, акт коммуникативного сообщения (материальный субстрат и существо коммуникации, в фактичности которого невозможно сомневаться) утрачивает пространственно-временную связь с реакциями на это сообщения: с актами извлечения информации, понимания и акцептации (или отклонения)

⁶⁰ Катализаторы в том смысле, что облегчая и разгружая коммуникацию, сами они не расходуются. Применение власти не растрчивает ее, а платежи не уменьшают количество денег в экономике.

предложенных сообщений. Понимание коммуникации, стремительно распространяющейся благодаря возможностям печатной или электронной теле-транспортировки, получает независимость от первоначальных интенций и смыслов, заложенных в сообщение его автором.

Это означает, что в современных условиях адресат коммуникации уже не имеет ресурсов для адекватной реконструкции предложенной Другим коммуникации. И прежде всего, он не способен протестировать ее на предмет самореферентности и инореферентности: т.е. оценить ее на тот предмет, идет ли речь в предложенном сообщении об *информативном* описании ситуации или объекта интереса или же речь идет попытке Другого так или иначе мотивировать своего партнера (вступить в контакт, обеспечить совместное времяпрепровождение, согласие, спровоцировать определенное действие или вызывать его благорасположение). Итак, форма в смысле Ф. Хайдера представляет собой определенную конфигурацию медиума, делающего медиум доступным для восприятия, но не сам по себе, а исключительно в его конкретных манифестациях (формах).

2. *Законы формы Дж. Спенсера-Брауна*

Дальнейшее уточнение понятие *формы*, в интересующем нас контексте, получает в разработках английского логика Дж. Спенсера-Брауна⁶¹. Его представление о форме повлияло на социальную теорию, прежде всего на теорию коммуникации. В этом логическом исчислении задействован всего лишь один знак – «mark», являющийся и оператором или логической функцией, и переменной, но главное – символизирует некий элементарный когнитивный акт.

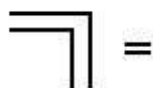


Но несмотря на свою простоту и элементарность, этот знак все-таки уже содержит некоторую латентную информацию. Этот символ представляет простой (и все-таки составной) акт наблюдения. Наблюдение при этом следует понимать как одновременно осуществляющийся процесс *обозначения и (через) различения*. Поскольку он состоит из двух частей, он указывает на то, что ко всякому воспринимаемому предмету должен добавляться тот или иной модус его презентации, наблюдения, операции с объектом.

⁶¹Spenser-Brown G. Laws of Form. Ohio. 1974.

Отсюда вытекают некоторые онтологические следствия. Мир, данный в знаках, должен пониматься как состоящий не из вещей (затем объединяемых в категории), а из наблюдений вещей, т.е. из тех или иных операций с вещами. Поэтому во всяком предмете наблюдения надо изначально учитывать *два обстоятельства* – сам предмет и его наблюдение. Поэтому во всякий предмет наблюдения изначально включено *социальное измерение*, требующее ставить вопрос: как осуществляется наблюдение (т.е. кто же является наблюдателем (сознание, коммуникация, социальная система)?

Ключевое значение в этом исчислении был назван «законом пересечения» границы формы. Символически выглядел как включение различения в другое различение или как переход от одного различения к другому, причем этот имел своим результатом появление некоего пустого пространства, неопределенности.



Это закон утверждает, что у *процесса, понятого как различение различий, нет коррелятов во внешнем мире*. Результатом применения *марка к самому себе* является некое пустое пространство. Существуют лишь различения и никаких других сущностей или идентичностей, которые бы не были следствиями различений (= конструирующей активности наблюдателя). Всякий наблюдатель наблюдает через применение различений: *означающее* отличая от *означаемого*, *слово* отличая от его *смысла*, предмет обсуждения – от самого процесса обсуждения, *предложение* – от «предложенного к обсуждению» *события*. Действительно возникает вопрос о том, что представляет собой сама *операция отличения*, и может ли эта операция представляться отдельно – независимо от двух, получаемых в результате отличения сторон; как нечто, что выражает их единство, а не различность.

Например, мы не можем задать классический вопрос, о том «что есть человек», не поставив вопрос о том, кто ставит этот вопрос. Священник может утверждать, что человек есть существо, обремененное грехом. Но в ответ ученый медик может утверждать, что священник наблюдает человека исходя из нереплексивно используемого различения: *божественное/человеческое, безгрешное/греховное*. Семантика этого понятия, т.е. определение человека как греховного существа, детерминирована спецификой социальной структуры, церкви, социальной системой религии, с ее особым типом наблюдения,

которое само по себе является для нее слепым пятном, которое собственно и не позволяет увидеть священнику *единство* его различения, которое выступает неким инструментом для конструирования идентичностей (людей, ангелов и т.д.) Впрочем, и сам ученый медик, определяя человека в качестве существа, обремененного болезнью, не способен зафиксировать то обстоятельство, что семантика его понятия человека определена конститутивным для системы медицины различием: болезни и здоровья.

Итак, мы можем переходить от одного различения к другому, но всегда остаемся в рамках различений и не можем прорваться к самому, независимому от этих различений внешнему миру, остающемуся неопределенным, пустым пространством, требующим внесения в него всего новых и новых различений (= форм).

Примерами дальнейших различений могут служить дистинкции *слово/смысл*, *действие/переживание*, *истинное/ложное*, *законное/незаконное*, которые выступают такого рода инструментами конструирования идентичностей.

Идея Спенсера-Брауна собственно и состояла в выявлении законов такого рода конструирования. Означенный *закон пересечения границы различения*, предполагал лишь фиктивный допускающего выход за пределы различенного, но делал возможным тематизацию границы, конституирующую форму. С чем мы сталкивается наблюдатель (скажем, социолог или теоретик познания), если концентрируется (= отличает и обозначает) саму операцию такого различения? Скажем, социолог науки, пытаюсь описать деятельность ученого, его когнитивные инструменты, сосредотачиваясь на том, что для самого ученого (скажем, химика) представляет собой нереплексивно используемые средства исследования. Например, он может фиксировать ту роль, которую играет ложное знание в качестве средства повышения вероятности и одновременно ограничителя истинного знания (К. Поппер); задаваться вопросом о том, каковы его когнитивные цели и установки; каковы принципы рациональности (рационального объяснения и понимания); какова динамика изменения применяемых им теорий, их отношений с законами, эмпирическими подтверждениями и т.д. Напротив, практикующий ученый решает конкретные исследовательские задачи и редко рефлексивует над методолого-теоретическими предпосылками своих исследований. Конечно, социолог науки, выступая наблюдателем второго порядка, способен увидеть больше, поскольку способен различить между тем, что является истинным знанием и тем, что на этот статус претендовать не должно, может поставить вопрос о различии истины и знания и т.д. Для ученого-практика это различение бессмысленно, поскольку всякое знание полагается им как истинное. Платой за этот большой наблюдательный обзор (способность увидеть и различить то, что есть, и то, что является знанием), служит неспособность социолога науки понимать

реальность как нечто естественно-данное, свободное от вносимых в нее различий, от избирательного характера научного исследования. Он интерпретирует мир вещей как следствие вносимых наукой различий, как мир, непосредственный доступ к которому в этом смысле невозможен. Мир, в который не внесены различия, может пониматься как неотформатированное пустое пространство, хаос, неупорядоченность, отсутствие возможностей восприятия и обсуждения.

3. *Лингвистическая интерпретация законов формы Дж. Спенсера-Брауна*

Более конкретно этот закон можно проиллюстрировать с помощью двух пар понятий: *индикация и дистинкция* (= *обозначение и отличие*) и *самореференция и инореференция*.

Очевидно, что для наблюдения объекта нам приходится его как-то фиксировать (индексировать), но сделать это возможно только отличив его от всех остальных. Но отличить его можно, только как-то выделив среди прочих. При этом такое наблюдение (= индикацию-дистинкцию) можно понимать очень широко: как восприятие в сознании, как обсуждение в коммуникации, как выбор полового партнера, как принятие или переваривание пищи. Во всех этих процессах осуществляется индикация через дистинкцию.

Нас же интересует применение этих понятий к лингвистическим формам, очевидно предполагающих процессы обозначения через отличия. Но эта пара понятий всегда имеет два модуса их реализации – само- и инореференциальный. Говоря о чем-то, мы фокусируем внимание либо на некотором означаемом (скажем, на референте в виде яблока), *отличая* его, скажем, от груши. Индикация и дистинкция здесь осуществлены *инореференциально*, применяются к внешнему для самого слова референту. Но мы можем осуществить индикацию и дистинкцию также и *самореференциально*, т.е. применительно к слову «яблоко», отличив его от слова «груша» или от некорректных форм лингвистических форм, например, от «яблако».

Итак, мы проводим *инореференциальные* дистинкции между значениями, и как следствие вводим в коммуникацию «объективные» индикации: обсуждаем реальные яблоки и груши, и иногда – различия между ними. Но мы способны также выходить за пределы реального мира и обращаться к самой коммуникации – ввести самореференциальные различия: например, дистинкции между самими лингвистическими формами, между словами, предложениями («яблоком» и «яблаком», или «я», «б», «л», «о», «к», «о» и т.д.).

Как следствия такого рода дистинкций в наше распоряжения попадают соответствующие индикации: слова, предложения, звуки, слоги, буквы. До сих пор мы проводили интуитивно понятные и очевидные операции с дистинкций и индикаций. Однако ничто не мешает нам задаться вопросом о том, что случится, если мы двинемся дальше и попробуем различить между самими различениями (осуществим закон «пересечения границы формы»): спросим, от чего отличается само различение, проведем различение между дистинкцией яблоко/груша и дистинкцией «яблоко»/ «груша». От чего оно отлично? Что является другой стороной этой формы? Стоит ли за этой формой какая-то реальность? Очевидно, что это различение более ни от чего не отлично, не имеет коррелята во внешнем мире или имеет в качестве такого то самое пустое пространство. И действительно: с помощью первого различения конструируется т.н. *реальная реальность*, реальные яблоки и груши, словно выступающие следствиями такого рода различений между ними. Второе различение обеспечивает возникновение идентичностей в области т.н. *семантической реальности*, слов «яблоко» и «груша». Однако последнее различение *реальной и семантической реальности* больше ни к чему не отсылает.

Из этого следует, что всякая реальность является следствием различений, но выйти за пределы различений (второй закон Спенсера-Брауна), прорваться к миру самому по себе, т.е. осуществить *индикацию* внешнего мира посредством дистинкции, т.е. отличить его от всех иных отличений, наблюдатель не в состоянии.

4. *Форма и коммуникативное понимание*

Вывод из такого рассуждения состоит в следующем: поскольку выхода к реальности за пределами различений не существует, то наблюдатели обречены лишь сравнивать формы. Вопрос о понимании внешнего мира (или в нашей иллюстрации – определения человека как такового безотносительно определяющей инстанции) является бессмысленным, если *не задана наблюдательная перспектива*, в конечном счете – социальная институция (религия, наука, политика, литература и т.д.), использующая свои инструменты и на выходе конструирующие идентичность «вещь» или «человек». Однако никто не препятствует сравнить самые разные «конститутивные» различения, которые, повторяясь, словно конденсируются в объекты (первый закон Спенсера-Брауна, который мы здесь специально не рассматривали).

Что дают эти понятия формы для анализа коммуникативного понимания? Мы не можем ничего знать о том, какие дистинкции осуществляет наш контрагент. Мы не можем знать, какие смысловые *инореференциальные* дистинкции осуществляются в его сознании.

Но мы точно знаем, какие дистинкции осуществляются в области *самореференции*. *Обозначающее*, языковая, вербальная форма дана с очевидностью. При этом неизвестность того, какие *инореференциальные* дистинкции осуществляет наш партнер, что он действительно имеет ввиду, когда произносит слова, как раз и не стопорит общение, а скорее является его необходимым условием, требует уточнений, провоцирует вопросы и собственно запускает коммуникацию: требует подсоединения одного коммуникативного акта к другому.

Но можно говорить и об общих условиях – пусть и недостижимого – коммуникативного понимания. Речь всегда идет о понимании связи между некоторой формой и ее *другой стороной*. Я *понимаю*, если понимаю, от чего произносящий *отличает* некоторую идентичность (скажем, яблоко): от *других слов* или от *других смыслов*. Тем самым, по крайней мере, обозначаются условия разрешения *принципиальной амбивалентности любого сообщения, двоякой способности концентрироваться вокруг самореференциальных и инореференциальных значений*.

5. *Форма в сознании: ментальная форма*

От рассмотрения коммуникативно-лингвистического понимания формы перейдем к рассмотрению ментальной формы. С проблемами ментальной формы (ментальных предикатов) мы встречаемся в философии сознания. Теория тождеств⁶² проблематизирует понятие «ментального предиката» (чувственные ощущения «боли», «красного», но не только их) как некоторого аналога лингвистической формы или «означающего». С этой точки зрения, ментальный предикат (как и лингвистические формы, т. е. монемы, морфемы звуки, слоги, буквы, слова, предложения) имеет *инореференциальный* коррелят, т.е. указывает на нечто, локализованное «вовне» (на свою другую сторону, «означаемое», объект восприятия или мысли). Сверх того, ментальная форма способна вступать в те или иные *самореференциальные* отношения с другими формами (ощущение голода порождает моторные реакции организма (поиск пищи) и, как следствие, порождает вкусовые ощущения). Но сам характер отношений между формой и ее референцией, между означающим и означаемым в сознании остается ключевой проблемой теории сознания.

В подходе, получившем название «теории идентичности», Дж. Смарт и Ю.Плэйс предложили идентифицировать ментальные предикаты и некоторые физические свойства. Данности переживаемого в сознании мира понимались как некая неотъемлемая «другая сторона» предиката, другая сторона некой – в себе идентичной – медали. Всякий

⁶²Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // Philosophical Review. 1959. № 58. P. 141–156.

ментальный предикат, утверждают Сمارт и Плэйс, выражает или воплощает некоторое физическое свойство, а всякому ментальному предикату соответствует физический предикат; вместе они, не являясь синонимами (т. е. имея разные смыслы, но общее значение, во фрегевском смысле), именно благодаря их общему значению оказываются тождественными, как могут быть тождественны две стороны одного феномена. Форма и здесь предстает как различие внутреннего и внешнего.

Это, безусловно, требовало как-то реферировать критерии тождества⁶³ различающихся свойств в целом, не основываясь на проблематичной идентификации по общему объекту (значению). Так, «вечерняя звезда» идентична «утренней звезде», поскольку обе они (оба выражения) указывают на некоторый идентичный объект – планету Венеру. Но разве «вечерняя звезда» не «обладает» своей собственной, «частной», «вечерней» пространственно-временной объектностью? Разве ей не соответствует свой собственный, некий ограниченный во времени «вечерний» объект, свое собственное локальное пространство-время, отличное от пространства времени «утренней звезды»?

Итак, при анализе объекта волей-неволей приходилось учитывать свойства наблюдателя, т. е. некоторой перспективы, концепции, системы отсчета, из перспективы которой рассматривается объект. Именно позиция наблюдателя определяла различающиеся смыслы одного и того же феномена.

Вопрос о тождественности свойств ментального и физического оказался не столь простым, как казалось. Требовалось найти универсальные критерии идентичности. Вариант решения проблемы критериев идентичности свойств был предложен в теоретико-редукционистских подходах К.Хукера и Э.Нагеля⁶⁴. Так, температура газа полагалась идентичной средней кинетической энергии его молекул, поскольку классическая термодинамика может *редуцироваться* к статистической механике. Такое отождествление явлений и их теоретических описаний определяется общей каузальностью, т.е. одинаковыми следствиями – выглядящих столь различными – феноменов. Очевидно, что повышение температуры во всех случаях ведет к тем же следствиям, что и увеличение средней кинетической энергии молекул, и наоборот. Это тождество через редукцию можно было бы применить и к проблеме ментальной формы.

Такая интерпретация ментальных предикатов (с присущей каждому некоторой другой – физической – стороны) не посягала на закрытость физического мира. Ведь каждому физическому событию (например, движению руки) предшествует свое

⁶³ Обычно отношение такого рода тождества иллюстрируют примером тождества температуры и средней кинетической энергии молекул. Один и тот же феномен действительно может рассматриваться в двух разных наблюдательных перспективах (= смыслах).

⁶⁴ Hooker C., Nagel E. An introduction to logic and scientific method. 1934.

причинным образом воздействующее физическое событие (например, нейрохимический сигнал). Ведь привнесение дополнительных – ментальных – факторов в форме психических ощущений, желаний и полаганий, с одной стороны, привносило бы проблему избыточности «психических» причин (например, «желаний») для физической каузации. Это поставило бы под вопрос очевидно закрытый характер мира физических взаимодействий.

Теория тождества полагала ментальные формы всего лишь некоторыми особыми *формами проявления* физических процессов. Ментальные (или феноменальные) представления мозговых процессов (коррелятов ментальных актов) имели отличные (от физических явлений) – нефизические – смыслы, поскольку они являлись наблюдателю – переживающему их в сознании – не в виде (нейро)физических событий, активаций неких нейронных ансамблей, а лишь в виде *красного, зеленого, чувства боли или голода*. Но им могло соответствовать физикалистски интерпретированное значение: активация нейронов, нейрохимические реакции в нейронных сетях.

Итак, всякая ментальная форма (почти как форма лингвистическая) некоторым образом представляет, т. е. обозначает, физическое событие или свойство. Но в чем же тогда состоит «нефизический» смысл или содержание ментальных форм? Здесь Смарт вынужден вводить особые (коллективно-личностное и пространственное) измерения смысла, зависящие от вида доступа наблюдателя к явлению, от того, где локализован наблюдатель – вне или внутри сознания.

«Ощущения (ментальные формы. – А.А.) являются личными, мозговые процессы – публичны (т. е. коллективны. – А.А.). Если я искренне делаю высказывание “я вижу желто-оранжевый после-образ” и при этом не делаю грамматических ошибок, то я никак не могу здесь ошибиться. Но я могу ошибиться в отношении мозговых процессов. Ученый, наблюдающий мой мозг, может попасть под влияние иллюзии. Кроме того, представляется осмысленным утверждение лишь о том, что двое или большее число людей наблюдают один и тот же мозговой процесс, но никак не о том, что двое или большее число людей сообщают об одном и том же внутреннем опыте»⁶⁵

Итак, различие в смыслах между ментальной формой и ее физической «другой стороной», которую она обозначает, которое, как это и следовало бы из Фреге, есть различие не онтологическое, а эпистемическое. *Это различие между личной априорной истинностью формы и принципиальной фальсифицируемостью социального или коллективного наблюдения физического процесса как значения этой формы*. Тем самым возникают два принципиально различных доступа: эпистемический (лично-

⁶⁵Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // The Philosophical Review, Vol. 68, No. 2. 1959, pp. 141-156 1959. P. 152.

определенный) доступ к ментальной форме и онтический (коллективный) доступ к (физикалистски понимаемому) значению формы. В первом случае, само знание определяет истинность этого знания. Во втором случае эту истинность определяет сам внешний мир, в отношении которого наблюдатели должны согласовать свои наблюдения.

6. Переход от предметной идентичности ментальной формы и ее значения к функциональному представлению ментальных форм

Серьезный удар по теории тождества ментальной формы и физического содержания («мозгового процесса»), как известно, нанесли идеи семантики возможных миров С.Крипке. Связь-тождество феноменального образа и мозгового процесса, по мнению логика, должны пониматься как контингентные (т.е. возможные по-другому). В одних обстоятельствах активация того или иного образа или ментальной формы (например, боли) сопровождалась бы одним мозговым процессом (например, активацией гипотетических «Си-волокон»), а в других – каких-то иных волокон или нейронов. Боль же является *жестким десигнатором*⁶⁶, т. е. всегда равна себе во всех возможных обстоятельствах или мирах. То же самое касается и так называемых «Си-волокон», во всех мирах являющихся тем, что они есть. Но каждая их связь не является необходимой. И действительно, как показывают результаты позитронно-эмиссионной томографии, одни и те же ментальные состояния сопровождаются активацией схожих и рядоположенных, но разных нейронных ансамблей и областей, не говоря уже о том, что в случае повреждения тех или иных тканей мозга их функции способны брать на себя иные участки коры головного мозга.

Попытки ответить на этот вызов и прояснить – оказавшиеся гораздо более комплексными – отношения ментальных форм (ощущений, желаний, полаганий) и их «физических смыслов» возобновили представители функционализма. Ментальные формы понимались теперь как некие функциональные состояния. Функциональное состояние в свою очередь понималось как каузально-определенное событие. Оно, во-первых, должно являться следствием внешних по отношению к психике событий (боль есть следствие ожога); во-вторых, оно представляет собой причину внешних событий (боль – причина отдергивания руки от горячего места); в-третьих, способно вступать в причинно-следственные отношения с другими ментальными формами (ощущение боли – причина желания избежать боли).

⁶⁶ Жестким десигнатором является, например, имя конкретного человека, скажем, Наполеона, всегда указывающее исключительно на последнего.

Отношение ментальной формы (функционального состояния) и того, что она обозначает или так или иначе презентует, теперь выглядит более конкретно. Это отношение получило название *реализации*. Формы как функции теперь могут получать реализацию не необходимым, а действительно контингентным образом – и через мозговые процессы, и через процессы в механических автоматах etc.

При этом такие причинно-следственные функции-состояния сами не являются физической реальностью, а представляют собой некие диспозиции, условные или контрфактические предложения «если... то...», которые в сумме могли представлять как сложный алгоритм или даже «теория» возможного поведения автомата или индивида.

Но что выступает здесь *значением* ментальной формы? Под таковым, с одной стороны, действительно может пониматься множество возможностей ее *реализации* (в виде человеческого мозга или в виде компьютера), а с другой – множество возможных фактических (физически данных) поведений, действий, движений. Значением такой ментальной формы, как голод, может служить движение в сторону пищи в случае ее человеческой реализации или изменение маршрута самоуправяемого автомата в случае ее машинной реализации.

Однако в такой интерпретации оставались за скобками привычные (и интуитивные) значения форм, а именно – само переживаемое в процессе переживания. Кроме того, по меньшей мере, теоретически могли быть представлены и разработаны так называемые «странные» реализации форм⁶⁷. Речь шла о том, что каждая строка в программе машины, алгоритма может выполняться отдельной группой людей, которые не понимают и не переживают некоего феноменального смысла поставляемой на входе информации, того, о чем идет речь в процессе некоторой осмысленной операции, того, как нечто чувствуется или переживается⁶⁸.

⁶⁷Block N. Troubles with Functionalism // Perception and Cognition. Minnesota Studies in Philosophy of Science. Vol. 9. Minnesota. 1978. P. 276.

⁶⁸Для того чтобы воспроизводить программы сложных организмов, требуются в этом случае огромные количества ответственных за строчки, за каждую возможную поведенческую опцию: «если больно, следует отдернуть руку и перейти в состояние $X_n + 1$ (один человек); если хочется спать, разложить постель и перейти в состояние $X_n + 2$ (другой человек или устройство). Нед Блок делает вывод, что функциональные системы механического типа (машина Тьюринга, черепашка Грэя), а также аморфные слабо связанные механические комплексы являются точными функциональными эквивалентами сознания, выполняют те же операции, являются «странными (но физическими) реализациями» функций, программ или алгоритмов, включены в каузальные связи с физическими процессами, но не имеют в своем распоряжении чего-то вроде ментальных состояний или форм. Они слишком разрознены и аморфны, чтобы в них появилось нечто вроде *образа того, о чем идет речь*, чтобы в них было какое-то единство сложного многосоставного процесса. Они регистрируют лишь связи информации на входе (и конвертируют ее в информацию, поставляемую на выход). Нед Блок называет это «китайским телом», имея в виду следующее: сознанием человека как некой дистанционной игрушкой или механической моделью, вроде самолета или автомобиля, огромным количеством диспозиций если (вижу, слышу, чувствую А, В, С, то делаю или не делаю X, Y, Z), может управлять огромное число ответственных за каждую операцию инстанций. Но это не значит, что у всего этого множества ответственных есть единый ментальный образ. Если актуализируется ментальная форма «красное» в форме красного томата, то включается механическое, причинным образом определенное действие – можно томат сорвать с грядки. Но то, как чувствуется «красное», как раз и неведомо ответственной инстанции, которая регистрирует поступление сигнала (определенной частоты видимого спектра) и запускает поведенческую реакцию в дистанционном устройстве – сознании «подведомственного» человека.

Так или иначе, приходится добавлять в качестве третьего претендента на роль значения ментальной формы (помимо указанных физических реализаций и каузальных связей) еще и само переживаемое. Имея в своем распоряжении форму «красное», мы с ее помощью можем переживать нечто красное. Само переживание красного при этом, очевидно, не является красным.

Наличие трех кандидатов на роль значения ставит вопрос об их соотношении. Каковы отношения между каузальными функциями (контр-фактическими установками «если ..., то..») и их фактическими реализациями: скажем, между *переживанием* красного, требующего моторной реакции (срывания красного томата) и *переживаемым* образом красного томата. Выяснилось, что в некоторых случаях переживание лишь произвольно связано со своей функциональной ролью, состоящей в каузации фактического поведения (движения руки и т.д.)

Предполагалось, что одни и те же переживания должны были вызывать одни и те же физические реакции (телесные операции во внешнем мире сознания: хватание, срывание и т.д.). Но ряд мысленных экспериментов доказал, что так бывает не всегда. Связь переживания и переживаемого, с одной стороны, и его типовых каузальных ролей, с другой, оказалась произвольной. Рассмотрим эту проблему подробнее.

7. *Понимание формы и инвертированные квалиа*

В описанной выше функционально-каузальной интерпретации ментальных форм никак не учитывались феноменальные свойства ощущений и переживаний, т. е. то, как нечто чувствуется и как нечто переживается. Оставалось неясным, как связан характер моего ощущения красного с каузальной ролью этого ощущения? Как ментальная форма связана со своим значением? И если такой связи явным образом не просматривается, то как же тогда мы все-таки способны понимать Другого, в сознании которого предположительно должны презентироваться образы и переживания, сходные с нашими? Ведь в случае разрыва такой связи невозможно сопоставлять его внутренние ментальные дистинкции (его внутреннее *самореференциальное различие красного и зеленого*) с внешними, *инореференциальными, деятельными* дистинкциями: срыванием красного томата и игнорированием зеленых, и значит – незрелых плодов).

Выяснилось, что в некоторых случаях ощущения лишь произвольно связаны с тем, какую каузальную роль они играют в причинении последствий, поведения. Предположим, человек страдает неким аналогом дальтонизма (с детства воспринимает цвета инвертированно – красное он ощущает как зеленое, и наоборот). Ощущение красного в

этом случае не может реализовываться в виде «каузальной роли», ведь за это ответственна противоположная форма.

Возникает парадокс *неидентичности тождественного*: противоположные ментальные формы (красное и не-красное) тождественны в отношении их каузальной роли или реализации. Характер ментальной формы ощущения в случае инвертированного цвета оказывается безразличным для его каузальной роли. Как же в этом смысле ощущение может определяться каузально?

Мы оставим этот парадокс нерешенным, но выведем из него следующее заключение. *Произвольность в отношениях формы и значения есть существеннейшая характеристика формы*. И столь же произвольная связь, как мы покажем ниже, характерна и для понимания формы в научных теориях, и для понимания формы в языке и коммуникации.

Но помимо констатации произвольности в связи значений формы, хотелось бы получить более конкретные характеристики. Можно указать на то, что на постоянные осцилляции между двумя значениями формы. Так, каждая форма представляет собой *два* одновременно осуществляющихся различия. Во-первых, ментальная форма «красное» представляет собой дистинкцию со своей «референцией» (ее каузальным следствием), физическими операциями тела, которые она «каузирует». В этом смысле ментальная форма имеет свой инореференциальный коррелят.

Во-вторых, ментальная форма красное «встроена» в самореференциальную дистинкцию *красное/не-красное*, и в нашем примере представляет собой различие красное/зеленое. В природе имеет функциональный смысл не просто фиксировать нечто как красное, но отличать его от зеленого, поскольку именно овладение таковой формой, предположительно, обеспечивало выживание, например различие спелых и неспелых плодов.

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что несмотря на известную произвольность отношения *форма/значение*, существуют некоторые жесткие различия в реальности (внешнем мире восприятия, например спелое/неспелое), которые как бы *навязывают* корреляции на уровне формы (на уровне самореференциальных дистинкций типа различия красное/зеленое).

Это показывает, что *красное* еще не является целостной ментальной формой в собственном смысле слова. И оно поэтому не может представлять (реферировать к ..., указывать на...) функцию или каузальную роль. Лишь различие между красным и не красным (зеленым) является формой в собственном смысле слова, представляет и

способно «инициировать» физические каузальные процессы – различия в действиях человека: срывать спелый плод/оставлять зеленый.

Подведем некоторые итоги. Ментальная форма в нашем понимании может быть представлена как различие между *самореференциальными* и *инореференциальными* значениями формы (в нашем случае: различие в переживаниях между *красным/не-красным* и соответствующее различие в действиях: *сорвать спелый плод/оставить неспелый*). Такая интерпретация ментальной формы позволяет уточнить условия, обеспечивающие взаимное понимание. Понять Другого в этом смысле – значит сравнить самореференциальные дистинкции (красное/зеленое) с их реализациями в виде инореференциальных дистинкций (сорвать или не сорвать красный плод).

Здесь же мы можем сделать важный вывод в отношении различий коммуникативной (языковых) и ментальной форм и соответствующих типов понимания. Понимание ментальных форм основывается *не на самореференции* (как это имело место в понимании средствами языковой формы), а на *инореференции*. Мы базируем наше понимание Другого, когда констатируем *физические реализации* (=значения) ментальных форм: действия, движения тел; но не в тех случаях, когда реконструируем скрытые в сознании *самореференциальные* значения формы (типа переживаний с помощью дистинкции *красное/не-красное*).

Фундаментальным условием понимания в *вербальной коммуникации* являются самореференциальные дистинкции языковых форм, т. е. различия между словами. Эти дистинкции даны с несомненностью и очевидностью. Цель или мотив вербальной коммуникации состоит в том, чтобы зафиксировать соответствие или различие между очевидной самореференцией (звучащей или записанной речью) и гипотетической инореференцией (приписыванием скрытого в сознании Другого смысла этой речи).

Фундаментальным условием понимания *психических процессов* в сознании Другого, напротив, являются инореференциальные дистинкции (различия в действиях, в *реализациях* ментальных форм), поскольку все самореференциальные значения формы принципиально скрыты в сознании Другого. Но именно это является мотивом понимания Другого.

Основные итоги первого параграфа первой главы:

Итак, нам сформулированы основы теоретической методологии теории коммуникации, в основу которой положены понятия «медиа» (подход Ф. Хайдера) и «формы» (идеи Дж. Спенсера-Брауна). Показано значение понятия формы для процесса коммуникативного понимания, выявлена функция так называемой ментальной формы как

средства наблюдения в системах сознания. Было обосновано, что означенные понятия формы и медиа следует использовать как методологические основания теории коммуникативных и психических систем. Предложена интерпретация этих понятий с точки зрения анализа языка и сознания (в ее аналитической версии). Установлено, что понимание психических процессов требует применения инореференциальных форм (или дистинкций), а понимание вербальных процессов опирается на самореференциальные различия или формы.

Параграф второй:

коммуникативные медиа распространения знания – язык и письменность

Выше мы рассмотрели понятия медиа и формы, которые мы назвали методологическими основаниями коммуникативной теории (и даже более общей – теории наблюдения), в том смысле, что их «диалектика» или «логика» служит ориентиром при описании всех без исключения форм коммуникации. Но возникает вопрос, как «исторически» развивались медиа коммуникации и накладываемые на них ограничения или их конкретные манифестации (формы).

В этой части исследования мы реконструируем одну из важнейших социально-технологических коммуникативных трансформаций – переход от техник распространения коммуникативного смысла (шум, свет, звук, язык, письменность и печать) к социальным технологиям достижения коммуникативного успеха (коммуникативным медиа истины, власти, денег и т.д); попробуем показать, что условиями появления последних собственно и являются техники письменности и книгопечатания как особая социальная технология. В самом общем смысле социальная технология может концептуализироваться как *программа* осуществления социально-релевантных задач (т.е. логистика) путем специфической оптимизации коммуникации по времени и пространству: как ресурс экономии времени на осмысление и рефлекссию коммуникативного успеха. Технология – это способ обеспечить *разгрузку* в переработке очень сложного внешнего мира, фактически предстающей в формах *игнорирования* внешнего мира: так, автомобиль дает возможность игнорировать структуру пространства, делает дальнее ближним и позволяет существенно оптимизировать действия и коммуникации по времени.

В этом смысле социальные технологии по сути своей не отличаются от техники как таковой, за исключением того несущественного момента, что для функционирования

техники в узком смысле (машин, механизмов), требуется некоторый внешний источник энергии, а также того, что эта механическая техника функционирует и без непосредственного обращения к человеческому сознанию и человеческой телесности.

В этом смысле, например, книга как феномен социальных техник книгопечатания дает возможность игнорировать структуру времени, прошлые концепты оказываются доступными в настоящем; письменность в целом - делает возможным игнорировать препятствия, накладываемые особенностями физиологической памяти и т.д. и т.п. Техника может быть понята как способ переработки (принципиально непреодолимой) сложности внешнего мира, как средство его редукции или игнорирования, за счет чего высвобождаются избыточные коммуникативные ресурсы, направляемые на не связанный с техникой узко-специфический предмет. Техника книгопечатания, очевидно, не связана с излагаемыми в книгах предметами.

Коммуникативную технологию можно охарактеризовать как технологию *распространения коммуникативно-релевантных смыслов*, или просто как медиа распространения коммуникации⁶⁹. Ключевую роль при этом следует отвести техникам *письменности и книгопечатания*, которые позволили на время решить социально-интегративные проблемы, вытекающие из (дез)организующих возможностей языка (прежде всего – из возможностей языкового отрицания, и как следствия – возможности отклонения принципиально любого запроса на контакт). Однако и сами эти техники или медиа генерировали существенные дезинтеграционные тенденции.

Однако о коммуникативных технологиях можно говорить и в узко-социальном смысле: речь может идти о *ролевых стандартах и стандартизированных мотивах* специализированной (политической, экономической, научной, религиозной, интимной, и т.д.) коммуникации. Техникой здесь выступают *медиа коммуникативного успеха*: деньги, истина, репутация, авторитет, собственность, прекрасное, вера, любовь - т.е. множество ролевых ориентиров и взаимных ролевых ожиданий, обеспечивающей соответствующие мотивации. Эти техники делают коммуникацию неслучайной, ориентируя ее посредством указанных мотиваций, возникающих словно автоматически в ответ на предложение того или иного триггер-механизма (предложения денег запускают механику продаж и поупок, предложение истинного предложения – механизмы проверки и т.д.).

Благодаря такого рода медиа минимизируются *общеобщественные* или глобальные конфликты, поскольку обособляются специфические типы (системы) общения, и социальные роли участников такого автономного общения (ученых, политиков,

⁶⁹ Базовая теория распространения коммуникативного смысла, на которую мы опираемся в этом разделе, представлена в книге: *Луман Н. Медиа коммуникации*. М. Логос. 2005.

бизнесменов, художников и т.д.) не предполагают ни взаимной комплементарности, ни иных – конфликтных или интегративных пересечений. При этом внутренние конфликты (научная полемика, экономическая конкуренция, соперничество в любви и т.д.) получают позитивную функцию в качестве динамических факторов, не препятствующих, а ускоряющих формирование в каждой частной коммуникативной системе.

Интеграция, результирующая из возникновения всякого нового медиа коммуникации, одновременно оказывалась под угрозой дезинтегративных свойств тех же медиа. Так, устный язык, основанный на акустических медиа с их временным (дигитальным) способом перерабатывать информации, безусловно, создают новые возможности социального контроля, связанные с возможностью контролировать *будущее* состояния. Это выгодно отличало этот новый медиум от возможностей визуального (аналогового) взаимо-восприятия, обеспечивающего согласие исключительно здесь и сейчас (настоящее). Однако привносимые языком возможности отрицания любого смысла и предложения контакта (присутствие в языке фундаментального для него частички «не») создавали новые риски конфликтов и разрушения сообщества, в свою очередь компенсирующимися достижениями новых медиа (в данном случае – письменной речи). Эта «диалектика» перехода согласия в конфликт и нового согласия ресурсами нового коммуникативного медиума стандартно воспроизводится вплоть до нашего времени.

1. Язык как медиум социальной (дез)организации.

Язык мы понимаем как технологию, призванную высвободить (автоматизировать) коммуникативные процессы, вывести их из-под ограничений, накладываемых процессами *взаимовосприятия*, ситуативно-определенного, а значит, чрезвычайно обременительного (по времени) обращения с вещами и людьми. Социализация (а в современности – и отношения полов, и фиксации интимных предпочтений) безусловно, возможны и на уровне простого восприятия: так, угрожающий жест вызывает ответный угрожающий жест, и как следствие – возникновение антиципаций, основанных на восприятии восприятия себя: «угроза вызовет ответную угрозу», поэтому лучше не осуществлять такой угрозы).⁷⁰

Но *сигналы, посылаемые восприятию* (в нашем примере, - угрозы) не имеют *референций*, указаний на нечто иное. Восприятие (чужого, и как следствие – своего)

⁷⁰ О технологиях социализации и иерархизации через взаимовосприятие и восприятие (вещей) см.: *George H. Mead, Mind, Self & Society From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago. 1934. Rosen R. Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological Formulations. Oxford 1985. Thierry B. Emergence of Social Organizations in Non-Human Primates / Revue internationale de systemique. 1994. № 8. P. 65-77. Емелин В.А. Самоидентификация как познание // Эпистемология и философия науки. 2011, № 1. С. 175-176.*

восприятия остается замкнутым в рамках специфической ситуации и не имеет средств для обобщения таковых ситуаций через референцию к некоторому обобщающему смыслу. Восприятие (своего и чужого) восприятия не способно задействовать знаки как своего рода переменные, «пробегающие» множество сходных, но различающихся ситуаций. *Повторение* (а значит, квази-техническая автоматизация) однажды случившихся успешных реакций на этом уровне не обеспечивается.

В противовес взаимовосприятию посредством сигналов оперирующей знаками язык обеспечивает важнейшую обеспечения *повторной распознаваемости* знаков или слов, обеспечивающих приспособленность к меняющимся ситуациям (и как следствие, свободу от них, игнорирование их конкретного своеобразия).

2. От пространственной интеграции средствами восприятия к временному порядку средствами языка.

Именно с этим связана техническая функция знака, которую мы обозначили как функцию игнорирования внешнемировых структур⁷¹. Знак (дистинкция выражения и смысла, означающего и означаемого) выступает многократно воспроизводимой структурой или операцией, дефинитивно не нуждающейся в контакте с внешним миром. Эта структура только потому и может воспроизводиться повторно, поскольку она не зависит от восприятия, реагирующего на ирритации из внешнего мира. О вещи думают и говорят в отсутствие вещи. Знаки репрезентируют смыслы, а вовсе не конкретные материальные предметы или факты. Фактическое наполнение ситуаций свободно варьируется, в то время как связь знака и его смысла, означаемого и означающего в смысле Соссюра, вопреки их полной противоположности остается фиксированной. Стабилизация этой структуры делает возможным некоторую систему – через *игнорирование* текучего характера ситуаций, к которым и в которых это отношение реализуется. Именно через процесс такого игнорирования тотальности окружающего пространства возникает мир, к которому можно обращаться *и во времени*: т.е. *после* значительных перерывов, и *перед* тем, как этот мир получил фактическую реализацию, т.е. - самое удивительное - в его отсутствие в окружающем пространстве.

Благодаря тому, что означающее указывает на означаемое, язык получает свободу от конкретных и ситуативных восприятий, которые – в виду особенности восприятия – всегда остаются полностью определенными: визуальная картина такова, какова она есть и

⁷¹ О знаках как технологии игнорирования (произвольного поведения) в отношении (восприятия) внешнего мира и критике этого подхода см.: *Jacobson R. Semiotik: Ausgewählte Texte*. Frankfurt. 1988. S. 427-436.

дана *одновременно* во всей своей полноте; ощущение красного может быть только красным. Восприятие указывает на себя и исключительно в момент восприятия, причем не может быть ошибочным, но неизменно равно самому себе. Напротив, языковые выражения выходят за пределы моментальной и актуальной ситуации восприятия и указывают на свои смыслы и другие выражения безотносительно к тому, что происходит и ощущается в данный момент. Система языковой коммуникации способна замыкаться благодаря оптимизации времени (игнорирования текущего момента), и как следствие – сосредотачивается и реагирует не на все вокруг, а на ограниченные предметы интереса, преимущественно же на том, о чем *уже* в той или иной форме говорилось ранее и на том, что *еще* только будет обсуждаться.

Собственно организация общества (= коммуникации, общения) возможно только благодаря этой функции языка – автономизации языковых выражений, более не привязанных к реально и фактически переживаемому и воспринимаемому событию, некоторому «срезу одновременности», в котором обзревается некоторое пространственно-интегрированное сообщество и который являлся некоторым «доязыковым» средством социального контроля. (Скажем, кошка с собакой неконфликтно сосуществуют благодаря факту *изначального взаимного восприятия пространственного со-существования*, каковое собственно и выступает мощнейшим средством интерактивного взаимоконтроля)

Вышеуказанные технические функции знака и языка высвободили временные ресурсы для обращения к проблемам самого общения, причем как раз за счет обеднения конкретности восприятия. Но эти же функции редукции сложности внешнего мира, прежде всего, многообразия ирритаций, привнесли с собой и фундаментальную проблему, выраженную в аккумуляции новой сложности. Ведь всякое высказывание способно соотносить себя с практически *бесчисленным числом* других потенциальных выражений, и в этом смысле является избыточным, невероятным и чрезвычайно опасным для социального порядка и контроля. Как и всякая техника, язык должен был решить проблемы контроля собственной сложности и самопорожденного риска.

В отличие от преимущественно пространственной интеграции средствами *визуального* восприятия, язык задействует *акустические* ресурсы, предполагающие временную организацию коммуникативных вкладов: люди видят всех и сразу, а говорить и слушать приходится по очереди. Именно последовательный порядок высказываний делает возможным большую свободу, нефиксированность того, что будет сказано дальше. Создается некоторый вторичный мир проговоренного, определяемый временем и допускающий ошибки, который словно накладывается, на не допускающий ошибок

пространственный мир визуально-воспринятого и проблематизирующий этим всякий консенсус.

3. Дезорганизационная дисфункция языка и новые медиа ее преодоления

Однако способность языка связывать знаки с ситуациями (и освободить себя от их конкретности) возможно только через – свободно составляемые – предложения. Лишь такая свобода связывать знаки собственно и является условием свободного поведения и реакций на мимолетные данности среды. Но именно предложение допускает собственное отрицание (ведь отрицание элементарного знака лишь добавляет новый смысл) и как следствие – отклонение некоторого коммуникативно-предложенного смысла.

Техническая функция языка, состоящая в обобщении и игнорировании конкретности внешнего мира восприятия, дополнялась тем самым новой технической функцией, - а именно функцией разгрузки. Знаковая функция слов языка, понимаемых в качестве «естественных переменных», освобождали коммуникацию от ее обремененности контекстом генерации знания. Нет никакой необходимости вспоминать о том, как появилось слово, кто его придумал, и в каких еще контекстах оно употреблялось ранее. Благодаря этой функции коммуникация только и может концентрироваться на какой-то конкретной коннотации или значении слова, концентрироваться на данном моменте, абстрагируясь от его обремененности прошлым, которое теперь не приходится держать в уме.

Эта функция представляет собой общее условие социальной памяти, поскольку запоминание чего-либо и его коммуникативная тематизация возможно лишь через такое забвение всех иных контекстуальных определений. Но эта – лишь обеспечиваемая - функция памяти (= забвения) не позволяла возвращаться к тому, что в данной коммуникации было забыто, а следовательно, делала коммуникацию чрезвычайно нестабильной. Не было возможностей «отложить» некоторую тему на потом, «забыть на время», чтобы впоследствии, когда возникнет необходимость или возможность, к этому вернуться. Коммуникация руководствовалась исключительно современной современностью, обеспечиваемой незначительными, психически определяемыми памятью небольшого коллектива,⁷² и не могла осовременивать прошлое, задействовать некоторые гарантии ее стабильного протекания – тексты, законы, записанные правила поведения, письменные мироописания.

⁷² О технологиях коллективной памяти и ее ограниченности ресурсами психики в культурах усного общения см.: *Thomas R. Oral Tradition and Written Record in Classical Athens. Cambridge Engl. 1989.*

Для устойчивого течения коммуникации (неслучайных подсоединений одних коммуникации к другим) требовалась техника стабилизации коммуникации⁷³, письменно-фиксируемые ориентиры общения, компенсирующие данную в языке возможность сказать «нет» любому предложенному смыслу.

Чтобы придать языку и коммуникации стабильность, требовались средства представления языка – как чего-то целостного – в каком-то новом медиуме, а в конечном счете в самом языке. Требовались средства выражения языка как некоторой целостности, некоторого внутренне связанного и устойчиво воспроизводящегося множества элементов, а не его моментально актуализировавшихся и сразу исчезающих форм (предложений). Чтобы язык стабилизировался (с помощью фиксированных правил соединения слов, представляемых некоторым обозримым списком – словарем и сводом грамматических правил) требовалось отличить слова от вещей, а не привязывать (и тем более не уподоблять) слова к вещам. Собственно только так можно было считать реальность реальностью – отличной от реальности слов. Устный язык не обеспечивал такого различения вещей и слов. Поэтому реальность вещей не могла концептуализироваться как гарантированно-стабильно существующая и независимая от языка, а с другой - и сам язык не мог пониматься как реальность семиотическая - как реальность стабилизированная воспроизводством повторяющихся и фиксированных связок *означающее/означаемое*.

4. Предложения как медиа смысловой коннекции и медиа социального порядка

Возможность концентрироваться на ситуациях посредством предложений (что как бы «сняло» данную непосредственно в самих *словах* способность игнорировать внешний мир) делало возможным сцеплять предложения с предложениями, осетевлять общение. Ведь способностью подсоединяться друг к другу *во времени* обладают исключительно предложения, связанные же в предложения отдельные слова могут пониматься как одновременные друг другу, как актуализирующиеся в рамках единого события-предложения. Связанные предложения могут актуализироваться в разные времена. Их можно предвосхищать, их можно вспоминать как однажды прозвучавшие (осуществить подобное с лишь однажды прозвучавшим и не интегрированным словом не так просто, ведь слова по сути своей переменные и, следовательно, – не привязаны к контексту и не могут предвосхищаться и вспоминаться в качестве некоторого конкретно

⁷³ Об общих принципах так называемого «собственного поведения» - техниках автономизации поведения, соотносящегося исключительно с предшествующим и ориентированным на будущее поведение, см.: Foerster H. v. Objects: Token for (Eigen)Behaviours // Observing Systems. Seaside Cal. 1981. P. 274-285.

предложенного для обсуждения смысла). Именно такая способность предложений к подсоединению в следующее мгновение, создававшая возможность их отклонения, опровержение и подтверждение, несла с собой фундаментальную проблему для социального порядка – отрицание любого предложенного смысла, и как следствие – негативную коммуникативную реакцию на такое отклонение.

Итак, техника предложения, безусловно, делала возможным гарантировать тот или иной смысл путем указания на подтверждающую предложение ситуацию. Предложение «идет дождь» подтверждается тем, что действительно идет дождь (при том, что невозможно указать на ситуацию, которая бы подтвердила или опровергла какое-то слово). В этом смысле предложение делало возможным описание социальной жизни, становилось техникой, обеспечивающей интеграцию коллектива – путем создания устойчивых связей предложений: мифологических историй, ритуалов, и всего того, что можно назвать нарративной технологией.

В данном случае «диалектика» *медиа* (множества слов некоторого) и формы (предложений как неисчерпаемого множества конкретных манифестаций этого медиума) выражалась следующими свойствами. Слова, в свою очередь, являясь формой в отношении медиума звуков,⁷⁴ представляют собой медиа в отношении формы предложения и выказывают медиальные свойства генерализации и спецификации. Каждому слову может быть сопоставлены разные референты (генерализация), а каждый референт может быть обозначен различными словами. Это обеспечивает произвольность связи знак/референт (Ф. Соссюр). Эти медиальные свойства делают возможным лишь *слабое сцепление* медиального субстрата, его высокую комбинаторику в накладывание жестких сцеплений (форм) в виде предложения, формовые свойства которого состоят в следующем:

1. Предложение может связывать язык с ситуацией
2. Предложение может выводить за пределы настоящего и реферировать прошлое и будущее
3. Предложение может ошибаться и подтверждаться
4. Предложение может быть отклонено (как в силу непонимания его смысла, так и особенно в силу адекватного понимания)
5. Предложение может подсоединяться к другому (рекурсивность)

⁷⁴ Очевидно, что акустические *медиа* звуков, в свою очередь представляют *форму* в отношении медиа шумов. Мы различаем звуки в некоем шумовом поле.

6. Предложение может образовывать длинные цепочки (системы)

5. *Вербальная бинаризация – радикальный выход коммуникации за пределы современности и за пределы самого языка*

Уже слово как базовая лексическая единица делает возможным выход за пределы конкретности восприятия внешнего мира. Уже слово делает возможным наблюдение, предполагающее не только *обозначение* (воспринимаемого), но и *различение* (уже более не сводимое к реалиям восприятия).

Однако радикальное игнорирование внешнемировых реалий делает возможным лишь предложение. Никлас Луман называет соответствующую технику *бинарным кодированием языка*, имея в виду (создаваемые отрицанием того или иного предложения) позитивные и негативные редакции всего того, что можно произнести.

Если слово создает возможности референции, т.е. наблюдения, понимаемого как одновременно осуществляемое обозначение и (через) различение, то теперь при помощи предложения и его отрицания эти обозначения и различения можно принимать и отрицать, что в два раза умножает исходные идентичности и соответственно сложность внешнего мира. Это достижение окончательно выводит коммуникацию за пределы ограничений, накладываемых данными восприятия – всего того, на что можно остенсивно указать. Уже здесь возникают возможности ошибки, и как следствия проверки – базовых условий квалификации знания как истинного (и ложного).

Техника отрицания несомненно привносила значимые риски в коммуникативный процесс, в примитивных обществах основанный на всеобщем согласии, для которого всякое отклонение и разочарование в устойчивых смыслах, все новое и неожиданное оказывалось разрушительным. Поэтому привносимые предложением возможности отрицания должны были задействовать некоторые компенсирующие такого рода риск механизмы «нормализации отрицания». Возможности внедрения процедур отклонения обеспечивались тем, что отрицанию подвергалось именно *новое*, а не базовые основания коммуникации (родо-племенная иерархии, их мифонаративные обоснования и т.д.). И при всем этом все новое и необычное благодаря отрицанию как раз и получало статус сохраненного и нормализованного.

Функция бинаризации предложения состоит в привнесении в коммуникации динамических свойств, временных характеристик – ведь то, что отрицается, с одной стороны, может быть запомнено (т.е. идентифицироваться как нечто прошлое). С другой

стороны, по поводу отрицания приходится – после некоторых колебаний – выносить решение. Так в коммуникации возникает дивергенция *забытого/запомненного* (или *прошлого*) и того, по отношению к чему следует принять решение (*будущее*). Такое различие прошлого и будущего собственно и называется временем.

Итак, коммуникация, приобретающая динамику благодаря свойствам предложения, теряет стабильность и становится рискованной. Именно эти опасности должны были преодолеваются новыми медиа-технологиями, а именно – стабилизационными свойствами письменной речи.

6. *Письменность: мнемотехника или медиа коммуникации?*

В общении устно коммуницирующих сообществ ключевая роль принадлежала факту самого сообщения. Смысл сообщения заключался в поддержании общения, а новое, неизвестное и неожиданное (информативная составляющая сообщения) минимизировалось⁷⁵.

Эта технология табуирования информационного содержания сообщений доказала как свою успешность⁷⁶, так и эволюционную ограниченность, ведь она не позволяла рождаться длинным цепочкам высказываний, ориентированных предметно, а не интеграционно. Это ограниченность обсуждения и общения конкретным временем устной беседы препятствовала появлению собственной динамики общения, времени обсуждения, определяемого его *предметом* с собственным прошлым и будущим, которые бы и определялись возможностями *сравнения* его прошлых и будущих состояний.

Требовался механизм разведения социально обусловленного времени обсуждения (фактически представавшим – пусть и латентным – самообсуждением некоторого сообщества) и предметно обусловленного времени, необходимого для более или менее обстоятельного обсуждения (впоследствии, описания) данного предмета. Предмет должен был допускать независимые высказывания о нем, которые могли бы сравниваться некоторым наблюдателем на предмет их адекватности предмету, согласованности или

⁷⁵ Это обстоятельство собственно и имелось ввиду Р.Мертонем в его концепции латентных и явных функций: *Merton R. K. Manifest and Latent Functions// Social Theory and Social Structure. FreePress. 1957.* Само общение оказывается важнее содержательной стороны общения, ведь оно способно нести интеграционную функцию и как раз в силу того, что факт сообщения не может быть оспорен и, как минимум в этом, уже подразумевает согласие. Напротив, смысл или информация, вкладываемые в сообщения, скорее, разъединяют, поскольку, будучи замкнутыми в границах индивидуальных сознаний, оказываются недоступными для проверки, а значит, могут быть девиантными и как следствие – опасными для коллективного сознания.

⁷⁶ Примеры и описание процессов табуирования информационного обмена в родовых обществах см.: *Антоновский А.Ю. Человек познающий. Знание/незнание как универсальная дистинкция и ось социальной дифференциации. // Философские науки. 2014. № 11. С. 144-149.* Также: *Barth F. Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea, Oslo. 1975.*

противоположности друг с другом. Требовался медиум (технология) наблюдения над мнениями наблюдателей, в качестве каковой и выступила письменная фиксация сообщений.

В разное время на осуществление этих функций вывода обсуждения за пределы устной беседы между фактически присутствующими лицами, претендовали разные медиа (мифы и ритуалы, магические практики и практики предсказания и гадания, ритуалы посещения сакральных места, религия и мораль). Однако все они, ориентируясь на тайну⁷⁷ и запрещая тематизацию своего фундамента (оснований мистерий, природы божества, оснований морали и т.д.), не могли обеспечить требующуюся передачу ключевой роли в коммуникации от полюса - интегрирующего сообщество – *сообщения* к полюсу – допускающего полемику и конфликт – *информации* и наблюдения второго порядка. Такой *технологией де-социализации общения* и стала письменность. Подобно медиуму языка⁷⁸ и являясь формой этого медиума, письменность, в свою очередь, выступает технологией решений двух несогласующихся друг с другом функций: мнемотехнических записей и писем друг другу. Рожденная для регистрации⁷⁹ хозяйственных и (внешне) политических событий и процессов⁸⁰, письменность превратилась в самостоятельный медиум коммуникации – технологию распространения коммуникации, радикально трансформировавшую весь коммуникативный процесс⁸¹.

7. Устное общение: специфика и условия

Устная коммуникация ориентирована на *конкретный пространственно-временной и личностный контекст*. Высказывание «завтра я собираюсь на охоту в лес, ты со мной?» не будет отклонено лишь в том случае, если известен *не представленный в самом предложении* контекст: известна личность и качества охотника, время охоты и

⁷⁷ О социальных технологиях тайны как основания коммуникации традиционного общества см.: Антоновский А.Ю. От интеграции к информации. К коммуникативным трансформациям в российской нации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 3. С. 4-12. Muller K. E. Das magische Universum der Identitaet: Elementarformen sozialen Verhaltens: ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt. 1987.

⁷⁸ Поскольку и язык, в свою очередь, словно распадается на две взаимоисключающие функции – с одной стороны, предполагает заложенную в *слове* интегративную функцию обобщения, автономизации человеческого общения через отвлечение от всего внешнего и конкретно-предметно определенного, а с другой подразумевает (заложенную в структуре предложения) дезинтегрирующую бинаризацию (да/нет-кодирование) любого предложенного для обсуждения смысла.

⁷⁹ О регистрационной функции см.: Schmandt-Besserat D. An Archaic Recording System and the Origin of Writing. Syro-Mesopotamian Studies. № ½. 1977. P. 1-32.

⁸⁰ О генезисе технологии письменности из практики предсказаний, процессе отделения идеограмм от знаков гаданий (нагретых костей, панцирей черепах и т.д.) и последующей фонетизации см.: Vernant J.-P. Divination et rationalite. Paris 1974.

⁸¹ Haarmann H. Universalgeschichte der Schrift. Frankfurt. 1990.

расположение самих охотничьих угодий, и именно этот контекст определяет понимание и мотивирует акцептацию предложенного смысла. Именно этот контекст (известность того, *кто* предлагает, того, *когда* наступит «завтра», «где» и «с кем» осуществляется деятельность») конкретного пространства, времени и свойств личности определяет коннекции устных сообщений⁸².

Этот способ выстраивания коммуникативных систем, очевидно, контрастирует с письменным: ведь ей самой надлежит определять свой контекст. Теперь индивиды свободны от того, чтобы своим личным присутствием и особенностями своей личности определять понимание предложенного для коммуникации смысла. Производство собственного контекста является первым условием появления автономных коммуникаций, выходящих за пределы конкретного пространства и времени, ориентированных на некоторое прошлое и будущее, на автономную динамику информативного обсуждения предмета.⁸³

Помимо различения *близкое/далекое (знакомое/незнакомое)*, количественно определяющего важность общения с отдаленными индивидами и служащего условием коннекции коммуникаций, устно коммуницирующие сообщества проводят и качественно определенную границу своих коммуникативных систем. Этому служит, прежде всего, ранние формы религии и соответствующие им табу, экстазы и состояния транса. Для того, чтобы очертить рамки системы коммуникаций, сообщество словно отправляет шаманов в «запредельные» миры. Именно состояние экстаза должно продемонстрировать специфику «запредельного» характера коммуникации, где главный message недвусмысленно указывает на то, что «за пределами» – страшно и ужасно, и следовательно, общение в «обжитой середине» следует признавать в качестве приятного и надежного. То, что чувствует шаман во время транса, невозможно передать обычной речью и об этом следует молчать. Эта функция тайны и коммуникативного запрета на большую часть возможных содержаний коммуникаций, как показывают этнографические исследования, выступало условием локально определяемой солидарности⁸⁴.

Незначительных ресурсов устного языка достаточно лишь для сакрализации, т.е. остановки вопрошания о запредельном. Лишь письменный язык делает возможным само различение того, что *есть* и того, что *за этим кроется*, поскольку лишь письменная

⁸² О пространственно-временных детерминациях устного общения родовых обществ см.: *Muller W. Raum und Zeit in Sprachen und Kalendern Nordamerikas und Alteuropas // Anthropos. 1963. № 57. S. 568-590;*

⁸³ Окончательно эта автономия общения от конкретного контекста устанавливается вместе такой формой письменности, как книгопечатание. Так, письменные законы – выводят коммуникацию из-под конкретики контекста и особенностей личности, вести себя и коммуницировать следует правосознательно. Печатные деньги обеспечивают платежи, независимо от характера плательщиков, времени года и места платежа.

⁸⁴ О сакрализации как технике коммуникативного системообразования см.: *Glinga W. Muendlichkeit in Afrika und Schriftlichkeit in Europa: Zur Theorie eines gesellschaftlichen Organisationsmodus // Zeitschrift fur Soziologie. 1989. № 19. S. 89-99.*

фиксация делает возможным наглядное представление самого языка в языке, а следовательно - делает возможным осуществлять такое базовое различие как различие слов и вещей, а впоследствии и благодаря этому - и так называемых сущностей и явлений. Но такая возможность выражения языка в языке посредством письма поставило фундаментальную проблему взаимоперевода устной и письменной речи.

8. *Проблема взаимоперевода устной и письменной речи*

Письменность обогащает мир новыми реалиями, аспектами и качествами, которые теперь, однажды появившись в устной речи, уже не исчезают вместе с их изобретателем. Возникает совершенно иной мир записанных обозначений, дефинитивно более богатый в соотношении с тем, какие возможности обозначения может позволить индивидуальная память. Как же обеспечить взаимоперевод⁸⁵ количественно и качественно несоизмеримых множеств смыслов и их обозначений?

Несмотря на содержательное обогащение письменной речи, в письменности утрачиваются существенные черты устной коммуникации. В письменность не входит означенная выше специфичность живого общения, нацеленного, прежде всего, на *сообщение* и индуцируемую им общность, на то, что связывает попеременно слушающих и говорящих. Этот *общностно-интегративный* (не-информационный) смысл устной коммуникации оказывается безвозвратно утерян и не воспроизводится в письменной речи. Утерянным в письме оказывается и фундаментальная временная характеристика устной речи – *одновременность* говорения и слушания, что приводит к началу распада единства коммуникации как одновременно данного единства сообщения, информации и понимания. Особый временной порядок устной речи теряет свою интегративную функцию⁸⁶, на смену которому приходят совершенно новые формы общения и интеграции, а именно – особые операции наблюдения «письмо» и «чтение», парадоксальным образом *выведенные за рамки общения*.

Возможности перевода с устного на письменный сопряжены с трудностью установления эквивалентности оптических и акустических презентаций смысла. Дело, на первый взгляд, предстает так, как будто звуковые единицы, фонемы воспроизводятся в виде единиц оптических, т.е. букв. Однако очевидно, что в устном языке до появления фонетического письма просто не существовало элементарных фонем, поскольку

⁸⁵ *Tedlock D.* The Spoken Word and the Work of Interpretation. Philadelphia. 1983.

⁸⁶ «ускорения и замедления, акустически нагруженные промежутки и паузы, периоды ожидания и моменты, в которых напряжение нарастает или вновь разряжается... это *общее переживание* структурированного развертывания и опосредует говорящим и слушающим то впечатление, что они переживают одно и то же». *Луман Н.* Медиа коммуникации. М. 2005.

непонятно, какие средства фиксации (до появления фонетического алфавита) были способны их презентировать как единства и какую функцию они играли бы в общении. Впрочем, и фонетическое письмо не решает проблемы экспликации «чистых» или «элементарных» звуков⁸⁷.

Уже на этом элементарном уровне отношение акустических и оптических медиа распространения коммуникации не является однозначной взаимопрезентацией. Письменное обозначение фиксирует не просто звук, и не просто смысл, а их различность и одновременно – единство. Сам денотат письменного выражения становится – немислимой в рамках устного общений – проблемой, требующей определиться с тем, обозначается ли нечто как означающее (звук, сообщение) или же как означаемое (смысл, информация). В этом смысле только в письменной речи проблематизируется *понимание*, т.е. вопрос о том, адекватны ли друг другу выражение (сообщение) и его смысл (информация).

Итак, лишь благодаря письменности смысл получает независимость от слова, а слова теперь очевидным образом отличаются от вещей, ведь смысл отныне не привязан жестко ни к тому, ни к другому, а может менять способы своего представления – словно осциллировать от акустических к оптическим презентациям. Письменность маркирует и реифицирует (в виде написанного, а значит - предметного) различие смысла и слова, но вместе с этим утрачивается возможность непосредственного воздействия слова на вещи⁸⁸, возникает дистанция между миром и его вербальным представлением, но главное – теперь уже сам язык допускает свою интерпретацию в виде реифицированных данностей. Теперь благодаря двум новым операциям общения (письма и чтения) слова и смыслы словно без вмешательства человека (выполняющего лишь роль посредника) практически непосредственно воздействуют и определяют друг друга.

9. Письменность как телекоммуникация

Письмо выводит общение за пределы конкретного пространства-времени и особенностей (и давления) социального окружения. Добываемая из письменного сообщения информация теряет связь с локальными ситуативными детерминантами.

⁸⁷ Фактически оптические единицы лишь весьма произвольно связаны с акустическими. Фонетическое письмо фиксирует своими элементами различия в звуках, но не некие «чистые», «обоосбленные», «элементарные» звуки. Если вводится весьма искусственная буква «Щ» (не есть ли она сочетание «Ш» и «Ч», а само «Ч» не есть ли сочетание «Т» и «Ш»?), то ее оптическое представление есть наново сконструированная сумма различий (*согласные/гласные, шипящие/не шипящие, мягкие/твердые*).

⁸⁸ «лишь за Божьим Словом сохраняется способность непосредственно изменять вещи: и сказал Бог – да будет свет, и стал свет.» - Н. Луман. Медиа коммуникации. Логос. 2005.

Становится возможной презентация в коммуникации того, что отсутствует в данном пространстве и времени, презентация чуждых образцов поведения, толерантное отношение к Другому и обращение к тем новым ресурсам, которые привносит Другой.⁸⁹

Коммуникативная операция нового типа «чтение» придает семантике «участия» совсем иной смысл. Теперь «участие» - это не личное деятельная ангажированность, а «участие» к судьбе и в судьбе литературного героя, и это участие возможно лишь до тех пор, пока герой предлагает в новые и неожиданные формы поведения и речи. В противном случае читатель теряет к нему всякий интерес. Появление сложных письменных текстов должно предложить достаточную мотивацию для преодоления естественных (и даже чрезмерных) трудностей его прочтения. Само по себе представляется в высшей степени невероятным, чтобы человек затратил столько усилий и драгоценного времени на осуществление сочетаний и воспроизводство мириадом букв и слов. Такой мотивацией собственно и служит теперь «информация», получающая доминирующее значение в ее отношении к «сообщению», собственный смысл которого прежде состоял, главным образом, в демонстрации участия и готовности осуществлять солидарное поведение.

Собственно, письменность, и это составляет главный тезис системно-коммуникативной интерпретации последней, переворачивает прежнюю аксиому коммуникации «главное не успех, главное – участие». В письменном обществе коммуникативный успех становится основной проблемой, и для его достижения единственно возможным средством становится поиск, а лучше производство нового и неожиданного знания, инаучения из разочарования в знании предшествующем.

Огромные массивы телекоммуникационно-презентированного нового, более не ограничиваемого естественным пространственно-временным и коллективно-личностным контекстом общения и конкретностью ситуации, делают коммуникацию в высшей степени селективной, а достижения коммуникативного успеха в высшей степени проблематичным. Как и всякая техника, решая одну задачу, письменность создает новые проблемы, требующие привлечения новых технологий (прежде всего, технологий обеспечения коммуникативного успеха – властных, монетарных, интимных и иных типов мотивации коммуникации).

⁸⁹ Эта фигура, прежде всего, в образе торговца и третейского судьи, обязана своим появлением письменным формам: деньгам и записанным законам. см.: *Simmel G. Exkurs ueber den Fremden / Simmel G. Soziologie. Untersuchungen ueber die Formen der Vergesellschaftung. Berlin. 1908. S. 509 – 512.*

10. Трансформация смысловых значений коммуникации в социальном, временном и предметном измерении

Итак, письменность ведет к забвению и нейтрализации контекста – как контекста создания письменно фиксированных смыслов, так и контексту, в котором осуществляется чтение. Поскольку текст требует сосредоточения на себе самом, должен обеспечить мотивацию и пробудить интерес к собственному содержанию, предмету описания, у участников письменной коммуникации не остается времени и интереса к конкретным мотивам порождения текста⁹⁰. Даже несмотря на наличие авторства, текст дефинитивно безличен, в том смысле, что обнаружение другого (подлинного) авторства ничего не привнесло бы в те способы, каким текст вовлекает и связывает читателя. Очевидно связанные между собой *безличность* текста и отсутствие интереса к мотивам его производства (*прошлым* условиям, генеративный контекст) указывает на в свою очередь связанные трансформации в социальном и временном измерениях коммуникации. Равным образом можно говорить и о сопряжении изменений во временном и предметном измерениях. О некотором, в себе (т.е. с точки зрения формы выражения или сообщения), *идентичном* тексте можно формировать *различные* мнения, а следовательно – приходится сдерживать *немедленные реакции*. Письменность, по самой своей природе, делает возможным *откладывание* – свободное от давления со стороны непосредственных участников коммуникации – понимания на потом, понимания, которое может осуществляться когда-то и где-то в другом месте кем-то другим.

Таковые изменения в личностном и пространственно-временном характере общения провоцируют изменения и в измерении предметном. Мультипликационная природа письма необъятно расширяет число возможных прочтений. Чтобы сохранить понятность, и главное информативность (новизну и неожиданность) предлагаемого содержания для самых разных контекстов прочтений (определяемых принадлежностью к различным социальным стратам, образованием, профессиональной, конфессиональной принадлежностью, половозрастными характеристиками и психологическими предпочтениями) объем информации каждого письменного сообщения приходится минимизировать, убирая все предположительно известное, но компенсировать это сжатие беспрестанным предложением новой информации. Эту задачу подпитывания новизной берут на себя специализирующиеся на этом системы коммуникаций, а именно – массмедиа.

⁹⁰ «Кто будет спрашивать, почему Фома Аквинский написал свои “Суммы”, и какой прок в знании этого?» - задается вопросом Н. Луман. Медиа коммуникации. Логос. 2005.

Таким образом, в использовании письменности общество *отказывается* от *временной и интеракционной гарантии единства коммуникации*. Единство общения уже не определяется конкретным пространством-временем и принуждением говорить приятные вещи. Письменные сообщения должны все еще оставаться понятными и интересными при непредсказуемых условиях чтения (пространственно-временных и личностных контекстах и ситуациях), а реакции фактически отсутствующих читателей уже невозможно контролировать нормами и правилами личных отношений (личного участия, требующего прочитать для приличия, из вежливости или чтобы не обидеть). Отсутствие ситуационного контроля над читателями, активность которых никак не связана границами пространства-времени и не зависит от личности автора текста, делает возможности реакций на прочитанный текст поистине безбрежным, причем у автора отсутствует всякая возможность определять даже минимальную адекватность предлагаемых интерпретаций и комментариев заложенному авторскому смыслу. Многообразие возможных подсоединений письменно предлагаемых коммуникативных смыслов и выражений друг к другу требовал новых способов редукции, восстановления утрачиваемого социального порядка, новых ограничителей для массивов возможных подсоединений.

11. Выход письменной коммуникации за пределы современности через «откладывание» понимания

Следствием появления фонетического письма явилось преодоление пространственно-временной и лично-коллективной структуры традиционного общества, основанного на одновременности и фактической неразличимости сообщения, информации и понимания, и вытекающего из этого словно автоматического взаимоконтроля пространственно объединенных участников сообщества. Успех коммуникации определялся указанными контекстами и обеспечивался автоматически. Технологии письма и трудности в достижении коммуникативного успеха, проистекавшие из этих технологий, меняют требования к посылаемому сообщению. Успех сообщения зависит от учета пространственно-временных и личностных *дистанций*, от его настроенности на неизвестные интерес и мотивы будущих и далеких читателей. Этот слом древних технологий, гарантирующих социальный порядок, переориентировал коммуникацию с полюса сообщения на полюс информации о ранее неизвестном.

Мир, многократно обогащенный и мультиплицированный письменностью словно выходит в своих пространственно-временных структурах за пределы локальных

коммуникаций, ранее делавшие возможным предметное обсуждение немногочисленных реалий внешней среды. Мир (как бытие, как природа, теперь наблюдаемый сколько-нибудь адекватно лишь гипотетическим всеприсутствующим богом-наблюдателем) больше не укладывается в сообщение. И именно поэтому этот мир - необъятно расширившийся в своих письменных презентациях – допускает неожиданности и удивительные вещи - информацию. Поскольку он в этом смысле перестает быть «одновременным»⁹¹ коммуникации, то, следовательно, сама коммуникация должна «растягиваться», чтобы в предлагаемых ею информациях хоть как-то соответствовать обсуждаемому в ней сверхсложному миру. Этому растягиванию коммуникации служило вынесение ее завершающей стадии, *понимания*, в некоторое отдаленное, до конца не определенное время – будущее. Коммуникация теряет свое единство, теряет свою определенность с точки зрения участвующих лиц (читателя и писателя), времени и пространства этой коммуникации. Единственная определенность сохраняется отныне лишь в ее предмете, в той информации, которую выражает письменное сообщение, а лица и времена теряют всякое значение.

Предметная определенность письменной коммуникации обеспечивалась укоренившейся и стабилизировавшей ее формой – текстом. Технология оттекстовывания, правила их составления, типические формы, требования к компоновке и т.д. восстанавливало порядок, поколебленный письменностью, выступило технологическим контролем письменной техники. Текст явился формой письменного медиума, как когда-то письменность выступила формой для медиума языка, в свою очередь явившегося формой для медиума восприятия⁹². Эта кажущаяся стабильность являлась паллиативным решением: единство и устойчивость текстов также растворилась в массивах накладываемых на них форм – возможных интерпретаций, а с появлением электронной телекоммуникации и единство *предмета* коммуникативного обсуждения сходит на нет. Вопрос о том, какие новые технологии могут быть предложены и предлагаются для восстановления утрачиваемого единства коммуникации и смогут претендовать на статус новых технологических гарантий социального порядка, требует отдельного обсуждения.

⁹¹ «В случае устной коммуникации, например при проведении долгих представлений по ритуальным или праздничным поводам, исходят из того, что мир, в котором осуществляется коммуникация, и мир, о котором коммуницируется, принципиально не отличаются, но образуют некий континуум реальности. Еще долгое время после распространения письменности (и даже книгопечатания) создание чисто фикциональных текстов казалось чем-то само собой разумеющимся. Сколь бы невероятными ни были рассказы, речь в них велась о мире, который все могли лицезреть.»
Луман Н. Медиа коммуникации. М. Логос. С. 283.

⁹² Восприятия, выступающего формой медиума звука, в свою очередь давшего форму и собственному медиальному субстрату – шуму, понимаемому в качестве формы медиума воздуха. О такой «диалектике» формы и медиума см.: Heider F. Ding und Medium. Berlin. 1987. S. 109-157.

Основные итоги и выводы второго параграфа

Итак, мы произвели реконструкцию одной из важнейших коммуникативных трансформаций – описан переход от техник распространения коммуникативного смысла (шум, свет, звук, язык, письменность и печать) к технологиям коммуникативного успеха. Выявлены заложенные в языке возможности наблюдения и познания (дигитализации, бинаризация, отрицания, рекурсивности и коннективности предложений, усложнения и редукции сложности), зафиксирована их роль для интеграции и дезинтеграции языкового сообщества. Реконструированы пространственно-временные трансформации процесса понимания в связи с переходами к новым медиа распространения знания. Обосновано, что всякий новобразованный символический медиум следует рассматривать диалектически: как, с одной стороны, отчасти решающий проблемы социального порядка, связанные с принципиальной бинарностью языка, но, с другой стороны, одновременно, генерирующий новые конфликты и требующий новых форм организации медиа.

Параграф третий: знание/незнание как ось коммуникативной дифференциации

Уже на этом этапе мы рассмотрим несколько эпистемологических выводов из коммуникативной теории. Эти следствия вытекают из универсального суждения о коммуникации, которое характеризовало бы ее характер независимо от культур, эпох, этносов и страт, к которым принадлежат участники коммуникаций. В качестве такой самой общей характеристики мы предлагаем дистинкцию *знания* и *не-знания*. В каждом обществе эта ось дифференциации людей проходит по-разному, но именно она определяет фундаментальное различие в типах коммуникации.

Такое *универсальное высказывание о коммуникации возможно как временная дистинкция* или временная квалификация. Мы делим людей на современных и несовременных, причем среди современников обнаруживаем людей несовременных, а среди наших предков обнаруживаются люди, обогнавшие свое время. Это определение человека во временном измерении, очевидно, не является *независимой* переменной. Оно вытекает из временной типизации обществ (коммуникативных систем), которые принято делить на *традиционное* общество и общество *модерное*, причем по самым разным основаниям.

При этом речь идет о целом кластере различий. В частности, проводят различие между обществами коллективистскими и индивидуалистскими (Э. Дюркгейм), дифференцированными по «врожденным» свойствам (благородству аристократии) или личным достижениям (успешные специалисты) (Т. Парсонс), между сегментарными и функционально-дифференцированными обществами (Н. Луман), между консервативными и инновативно-ориентированными, между аграрными и (пост)индустриальными, между сословно-кастовыми и демократическими. Этот список можно продолжать.

Первая часть этих дистинкций характеризует, скорее, общество (и соответственно – типы коммуницирования) *прошлого*, вторая – общество *модерное*. Если все перечисленные дистинкции действительно *конгруэнтны*, то у них должно быть некоторое *общее* основание. Представляется, что таковое основание можно искать в принципиальной амбивалентности самой коммуникации.

Отсюда мы можем вывести второе утверждение: *амбивалентность коммуникации определяет различие на знающих и незнающих людей*. С одной стороны, коммуникация является ориентированной вовне (или *инореференциальной*). В этом случае в качестве информации, извлекаемой из сообщения (некоторого вербального запроса на контакт), выступает *чужое знание внешней реальности*. В этом случае, когда говорят «идет дождь», мы делаем вывод, что действительно *идет дождь*. С другой стороны, коммуникация является самообращенной (*самореференциальной*). Из того же сообщения о дожде всегда может быть сделан вывод о том, что партнер желает нас к чему-то мотивировать, например, остаться дома. Целью такой коммуникации является, скорее, установление и закрепление контактов, а не информирование о внешнем мире. Тогда *информацией* коммуникативного сообщения выступает само *сообщение*, сама коммуникация, а не обсуждаемый мир. Коммуникация в этом случае оказывается ценна не ради чего-то другого (обсуждаемого предмета), а ради самой себя, ради того, чтобы она продолжалась, а не заканчивалась. Эту идею в особенно явном виде формулирует Н. Луман.⁹³

Из сказанного вытекает, что *амбивалентность коммуникации определяет различие в типах солидарности*. Из такой принципиальной амбивалентности коммуникации следуют два типа основанной на ней солидарности: солидарности, основанной на коллективном, *изначально известном* знании (коллективные представления, предания, топики), и солидарности, основанной на *обмене* индивидуальным знанием, информацией, которая известна одному участнику коммуникации и неизвестна другому.

В одном случае (традиционное общество) сплоченность общества выстраивается на известности знания, некоторого набора коллективных верований, в другом случае

⁹³ Луман Н. Общество как социальная система. М. 2004.

(модерное общество) коммуникация основана на интересе к ранее неизвестному. В первом случае предметом интереса является поддержание солидарности за счет воспроизводства мифонарративов, традиционных установок, ритуалов, разного рода топосов или общих мест, в другом случае предметом высказывания является внешний мир в его собственных, но главное – новых и любопытных – характеристиках. Эти два типа коммуникации и основанной на ней солидарности можно назвать *мотивационно-интеграционными информационными* типами соответственно.

Это во многом уже тривиальное различие традиционного и нового может служить и универсальным признаком человека. Человек – это человек, различающий прошлое и будущее, известное и новое и, исходя из этого различия, приписывающий себя к прошлому (константному, традиционному) или современности (ориентированной на вариативное будущее). Но в обоих этих случаях именно *знание* является основанием солидарного поведения. Отсюда вытекает вопрос о том, каковы конкретные типы этого знания?

В качестве гипотетического выдвинем утверждение о том, что именно *семантика некоторого реестра ключевых интегративно-значимых смыслов определяет солидарное поведение, и к этим смыслам, как нечто вполне очевидное, мы относим семантику страданий, успеха, любви и внешней опасности. Под семантикой мы понимаем знание слов и соответствующих им универсально-разделяемых смыслов.*

Однако если обратиться к тому, каков конкретный характер этого знания, служащего основанием согласия и солидарности, многие очевидности интеграционного-значимого знания (семантики) оказываются под вопросом. Речь идет, прежде всего, о знании в области вышперечисленных важнейших регионов жизненного мира. О каких областях собственно идет речь? Во-первых, таковое знание определено семантикой общих страданий, *сострадания* (знание о болезнях, неудачах и знание смыслов соответствующих слов). Я знаю, что другой переживает боль, потому что он, как и я, знает слово, обозначающее болезнь и его референт в виде личного переживания боли. Во-вторых, речь идет о семантике удовольствий и общих *успехов* (удача на охоте, рождение детей, брак и т.д.). В-третьих, речь идет о семантике *любви и дружбы*. Мы выражаем дружеские чувства и знаем соответствующие слова. В-четвертых, речь идет о семантике внешних опасностей, равным образом очевидно сплывающей коллектив.

Кажется очевидным, что общее знание слов и их смыслов в этих четырех областях жизненного мира обеспечивает то, что принято называть «эмпатией», вчувствованием, солидарным поведением в конечном счете – интересубъективностью. С этой точки зрения,

единственным универсальным суждением о человеке является представление о нем, как о субъекте, *знающем то, что переживает другой*.

Другой в этом смысле идентичен или полностью симметричен некоторому Ego, поскольку переживания последнего в принципе *доступны* для переживания Другого в той мере, в какой их жизненный мир регионализирован идентично или изоморфно. Именно это антропологическое допущение представляется нам ошибкой, и мы попытаемся опровергнуть его следующим тезисом: *знание и понимание Другого, скорее, препятствуют коммуникации между ними, нежели мотивирует последнюю*. Собственно это не является каким-то радикальным выводом. И аналитическая философия сознания (как пример – аномальный монизм Д. Дэвидсона⁹⁴), и социологическая теория (как пример – теория коммуникаций Н. Лумана) требуют исходить из *асимметрии* сознания (ментальных актов, переживаний) и действия (высказываний). Говоря совсем просто, общение возникает как реакция на принципиальную недоступность сферы ментального, из принципиальной невозможности переживать чужие переживания. Это, не в последнюю очередь, следует из того, что:

1. Переживания, конечно, могут причинным образом порождать физические следствия (действия, высказывания), но эти связи всегда уникальны, не могут представать в виде физических законов. (Д. Дэвидсон)

2. Полное вчувствование препятствовало бы коммуникации, так как означало бы знание подлинных (сексуальных, эгоистичных, стыдных, агрессивных, завистливых и т.д.) мотивов действий, и это знание разрушило бы общение.

3. В случаях, когда сознание *Другого* и без того доступно для *Ego*, коммуникация в этом случае вообще представляется чем-то *избыточным*.

В связи с этим я делаю следующее утверждение: *универсальным суждением о коммуникации может служить суждение о незнании, о неосведомленности его участников, тайне и секретности*, которые накладываются на соответствующие интегративно значимые смыслы.

Идентичная смысловая регионализация у участников коммуникации создавало бы проблему, которую можно было назвать проблемой общего знания, которое для примитивных обществ вполне могло бы иметь разрушительный характер, поскольку именно аккумуляция знания в небольших сообществах ведет к возможности обмана или злоупотребления общим знанием. Проблема *разрушительного характера общего знания* решалась путем табуирования больших сегментов внешнего мира. Возникла коммуникация особого типа на основе коммуникационных запретов или табу.

⁹⁴Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford. 1980.

В качестве иллюстрации приведу выдержку из книги антрополога Фредрика Барта *“Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea”* и небольшого современного исследования «О чем молчат в кабардинских семьях».

Приведем цитату о характере коммуникациях в племени Бактаман:

«Семиступенчатые инициации у племени Бактаман состоят в разоблачении ранее инициированными членами тайн, которые были открыты новичкам на первых ступенях инициаций. Это тайны о мифах происхождения, магии, племенном предании. Речь, прежде всего, идет об акустических, визуальных, тактильных символах (человеческой) силы. Например, мужскую силу символизирует жир кабана. <...> Но самая большая тайна состоит в том, что все тайны, раскрытые на предшествующих ступенях, были ложными. Поскольку требовалось защитить тайные истины, к которым были еще не готовы иницируемые. <...> На каждой следующей ступени раскрытие новой тайны и разоблачение предыдущей повторяется»⁹⁵.

В условиях высокой смертности до седьмой инициации почти никто не доживал, так что последняя тайна оставалась практически недоступной. В связи с этим, «*возможности вчувствования по отношению к соплеменникам – остаются семантически неразвитыми. Результатом этого является недоверие, организованное вдоль этой главной линии, [разделяющей] знающих и незнающих, которая дифференцирует общество. Общество дифференцировано через незнание. Не существует никаких семей, сегментарных структур. Возможностей для выражения общего знания практически нет*»⁹⁶. Это кажется невероятным и даже парадоксальным, но вчувствование, способность разделить с другими общие переживания может оказаться дисфункциональным для солидарности. Причем эта установка характеризует и современные отношения.

Приведем несколько выдержек из небольшого исследования «Строгое табу. О чем молчат в Кабардинских семьях»⁹⁷.

«В многонациональной Кабардино-Балкарии, если попадете в традиционную семью, вы никогда не услышите разговоров о любви и отношениях между мужчиной и женщиной. Такого рода беседы считаются здесь недопустимыми даже среди молодых.<...>Рассказы об удаче, счастливом происшествии, неожиданном подарке тоже могут быть восприняты как хвастовство. Поэтому ни о чем подобном не рассказывают. <...> Не принято хвастаться и своими детьми, даже если они очень хорошие и удачливые, об их успехах молчат... родители и вообще родственники никогда не похвалят ребенка. <...> Отец избегает показываться на людях с маленьким ребенком, особенно с сыном. Он

⁹⁵Barth Fr. *Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea*. NewHaven. 1975. P. 35.

⁹⁶Луман Н. Медиа коммуникации. М. 2005. С. 73.

⁹⁷Электронный ресурс: <http://smartnews.ru/regions/sevkav/17405.html>.

всегда ведет себя с детьми очень сдержанно, особенно с мальчиками, разговоры отца с сыном сводятся к минимуму. Это объясняется тем, что издавна отец мальчика растил воина. И чтобы тот вырос стойким, сильным, сдержанным, в семье не допускались никакие сантименты, отец практически не говорил с сыном. <...> Люди избегают обсуждать больных и болезни. Если в семье кто-то давно болел, был калекой или душевнобольным, с членами семьи не заговаривали о болезни родственника.<...> Не принято хвалить человека в лицо. Считается, что, когда хвалишь человека в глаза, ты неискренен»⁹⁸.

Интерпретируя данные утверждения, допустимо предположить, что базовым условием солидарности, по крайней мере, в некоторых сообществах оказывается коммуникативная изоляция. При этом гарантией – особого рода *солидарности через изоляцию* – является тайна и табу. Они связывают сообщество через запрещение общего знания. Если общее знание никак не выражено, никто не ошибется в его применении, никто не осуществит обман и не сможет этим знанием злоупотребить. О сакральном же запрещено говорить, и значит, его невозможно «испортить» словами, исказить, повредить. *Отказ от обсуждений общего знания связывает через элиминацию риска отклонения коммуникации.* Люди вместе молчат об опасностях. В условиях, когда слово и объект не различалось, всякое высказывание о внешнем (опасном) мире могло привлекать опасность из внешнего пространства, проникающей таким образом в обжитую «середину»⁹⁹. Обсуждение несчастий и болезней, эмпатия, конечно, могут служить условием генерирования согласия, но с другой стороны, развитие этой семантики может быть «использовано» для разнообразных типов черной магии, насылания болезней, т.н. «сглаза» и т.д. Поэтому лучше не развивать такого рода рискованное знание. В свою очередь и семантика радости чужим и собственным успехам может стать способом расположить к себе другого, и как следствие – формой лести и манипулирования. То же касается семантики дружбы и любви, поскольку дружить можно против других и образовывать коалиции. Поэтому на коммуникацию общих чувств и коллективного знания следовало накладывать запрет.

Все вышеозначенное дает возможность сформулировать некоторые выводы о том, в чем же состоит базовая дистинкция прошлого и современного типов коммуникации (обществ), а значит, и ее универсальная характеристика. Такое различие, на наш взгляд, можно провести, различая *пред-традиционные* типы общения, *связанные общим незнанием*, и *традиционно-модерные* типы коммуникации, интегрируемые коллективным

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Более подробно об этом см.: Антоновский А.Ю. Пространство родового общества / Уранос и Кронос: Хронотоп человеческого мира. М. 2001. С. 41-62.

(или новым) знанием. В этом смысле традиционные и современные общества выглядят более близкими друг другу, чем пред-традиционные, поскольку выказывают *общие структурные свойства*. Речь идет о следующих свойствах: и в традиционных, и современных обществах, во-первых, Другой понимается как отличный от Ego, как Другой Эго. Во-вторых, действия Другого и Ego понимаются как отличные от переживаний Эго и Другого.

Структура же пред-традиционных типов коммуникаций, а именно – *общества общего не-знания*, не предполагает подобных различений, а требует абсолютной симметрии *Другого и Ego, действия и переживаний*. Причем общим знаменателем идентификации себя с другим являлись коммуникативные запреты. Внешние причины событий (предметы обсуждений, внешние мировые реалии) выведены за рамки обсуждений.

Напротив, современная коммуникация существенно асимметризирована. Переживание теперь понимается как автономная реальность, не допускающая внешнего контроля, как реальность, вполне способная к автономному существованию, не реализующаяся в действиях и высказываниях, но при этом не вызывающая опасений у Других на предмет скрываемых намерений и злых умыслов. И Другой существенно отличается от Ego, поскольку обладает некоторым знанием, неизвестным и удивительным, что именно и провоцирует продолжение общения.

Основные итоги и выводы третьего параграфа

Итак, мы предложили универсальное определение коммуникации, которое характеризовало бы ее характер независимо от культур, эпох, этносов и страт, к которым принадлежат ее участники. В качестве такой самой общей характеристики мы предлагаем дистинкцию знания и не-знания: на основе вывода о принципиальной амбивалентности коммуникации (ориентированности вовне или ее самообращенности) мы сделали заключение о двух типах вытекающей солидарности: солидарности, основанной на коллективном, изначально известном знании (коллективные представления, предания, топика), и солидарности, основанной на обмене индивидуальным знанием. В первом случае предметом интереса является поддержание солидарности за счет воспроизводства мифонарративов, традиционных установок, ритуалов, разного рода топосов или общих мест, в другом случае предметом высказывания является внешний мир в его собственных, но главное – новых и любопытных – характеристиках. Эти два типа коммуникации и основанной на ней

солидарности обозначаются соответственно как мотивационно-интеграционные и информационные типы.

Параграф четвертый: телекоммуникативные медиа современных обществ¹⁰⁰

В этой части мы завершаем обзор развития медиа распространения коммуникации, обращаемся к медиа телекоммуникации, куда включаем все коммуникативные медиа, основанные на электричестве и электронной передаче данных. Господствует убеждение, что электро-телекоммуникация (освященные дороги, радио и кино, телевидение и электрическая почта) радикально изменили человека, расширив его сенсориум, и трансформировали способности суждения и общения¹⁰¹. Однако очевидность этого положения дел больше скрывает, чем проясняет. Ниже мы обосновываем, что перечисленные способы электро-телекоммуникации, не радикализуют, а напротив, сглаживают и нейтрализует тот радикальный разрыв семантической реальности «естественной» реальности человеческого мира, осуществленный когда-то письменностью и печатью.

Медиа электронного общения и надстраивающиеся на ней медиа коммуникации в социальных сетях возвращают коммуникацию к ее скорее традиционным *примитивным* формам общения, но, в конечном счете, приводят к разложению единства трех фундаментальных составляющих коммуникации. Это - ныне утраченное – единство обуславливалось пространственно-временным совпадением процессов *сообщения* (= знаковая презентация смысла), *информации* (конструировании Эго смысла сообщения Другого) и *понимания* (констатация адекватности информации и ее знаковой презентации)¹⁰². Фундаментальный эффект электронных медиа состоит в отрыве процесса понимания от – ранее конститутивного для него – сообщения информации.

Многие социологи и философы задавались вопросом об основаниях коммуникативного *понимания*. В качестве таковых феноменологическая социология рассматривала некоторое актуально данное в пространстве и времени «ядро реальности», допускающее манипулятивное воздействие членов сообщества и поэтому

¹⁰⁰ Более подробно см.: Антоновский А.Ю. Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности / Луман Н. Реальность массмедиа. М. Логос. 2005. С. 235 – 255. Также Луман Н. Медиа коммуникации. М. Логос. 2006.

¹⁰¹ «Техника отложенного (suspended) суждения обусловленное нарративными способностями радио, кино и телевидения – [главное] изобретение 20 столетия.» - утверждает Маршал Маклюэн, имея ввиду пространственно-временные эффекты электронной коммуникации. McLuhan M., Fiore Q. The Medium is the Mass Age: An Inventory of Effects. Bantam. 1967. P. 69.

¹⁰² В рамках данного раздела в целом мы продолжаем опираться на методологический подход к пониманию медиа коммуникации, развиваемый Никласом Луманом, в особенности: Никлас Луман. Медиакоммуникации. М. 2006.

гарантировавшее понимание и консенсус¹⁰³. Однако новые коммуникативные техники существенно трансформировали возможности общения. Манипуляционное пространство, «выделенная действительность» («paramount reality»), ядро жизненного мира (в которых действительность «одолевал требования жизни»¹⁰⁴ (А. Шюц), в которой именно ради этого «одоления» только и была возможна, да и возникла коммуникация) благодаря письменности и печати утрачивают свой статус незыблемых устоев коммуникативного понимания. Ведь в отношении письменных текстов уже не указать на конкретных людей, окружающую природу и артефакты как очевидные значения письменных или печатных сообщений. Если ранее в личном общении понимание мотивов действия обеспечивалось знанием индивидуальной биографии и социального окружения, то письменность и печать отрывают сообщения от содержащегося в нем наблюдаемого, реального мира. Напечатанные деньги, напечатанные законы, напечатанные романы имеют дело и обозначают нечто такое, что способно существовать и вне всякой связи с данными наблюдения, а зачастую и вопреки реальности.

Письменное общение утратило ключевую функцию коммуникации – функцию реактивных, коллективных и согласованных ответов на вызовы среды, согласованного и по возможности неконфликтного удовлетворения витальных и идеальных потребностей. В противоположность этой функции, письмо и печать приобретают принципиально иную задачу, а именно – трансценденции: они тестируют границы повседневности, выводят общение *за пределы* ситуативных «здесь» и «сейчас» той или иной социальной группы или сообщества, настраиваясь на лишь возможные, неактуальные события и ситуации.

Однако в дифференцированном (главным образом средствами печати – денег, законов, политических памфлетов, научных публикаций) обществе *понимание становится проблемой*. Сообщение и информация расцепляются в пространстве и времени. Возникающие – во многом благодаря печати – национальные государства, несмотря на общий язык и обеспечиваемое им понимание, были дифференцированы функционально. Это существенно затрудняло коммуникацию *за пределами* отдифференцировавшихся функциональных сегментов. В силу (возрастающей благодаря печати) сложности научного, правового, религиозного, политического дискурсов сколько-нибудь адекватное понимание отныне осуществляется лишь внутренним образом: в рамках соответствующих – научного, религиозного, политико-правового и др. – типов общения, которые собственно и привели к образованию различающихся «обособленных провинций смысла» (А. Шюц)¹⁰⁵.

¹⁰³ Mead G.H. Philosophy of Act. Chicago. 1938;

¹⁰⁴ Schuetz A. On Multiple Realities// Philosophy and Phenomenological Research. 1945. № 5. 1945. P. 533-576.

¹⁰⁵ «Finite province of meaning» см.: Schuetz A., Luckmann Th. Structures of the Life-World, Vol. I. Illinois, USA. 1973. P. 22.

Возникшие в каждой сфере собственные способы обозначения потребовали новых средств интеграции, неких «мостов» или «символических образований», задача которых состояла в противостоянии так называемой «дьявольской»¹⁰⁶, т.е. разобщающей дифференциации. Как соединить различные «провинции смысла»¹⁰⁷?

Письменность и печать не решали, а создавали интегративные проблемы, ведь все, что было призвано служить в качестве медиа распространения коммуникации (печатные деньги, памфлеты, законы, романы) и интегрировать сообщество, одновременно затрудняло над-функциональное общение и понимание, если ни делало его избыточным.

Вопреки распространенному убеждению, электронная телекоммуникация не перевернула, не виртуализировала жизненный мир, а скорее возвратила его в нормальное русло, восстановив утраченные пространственно-временные координации между посланным сообщением: знаковой презентацией реальности, и ее фактическими – наблюдаемыми в пространстве и времени прототипами. Ведь все, что мы слышим по радио и смотрим по телевидению *действительно* говорилось, действительно происходило. Безусловно, то *о чем*, говорилось, может оказаться фальсификатом! Но разве это вытекает из специфики самой техники электрической телекоммуникации? Мы наблюдаем живых, коммуницирующих людей, природу и артефакты, и с этими гарантиями *фактичности телесобщений* никто не спорит.

Напротив, письменность и печать, по своей социо-технологической функции, разрывали живую координацию и связь общения. Ведь у нас нет никаких гарантий того, что то, что говорится в книгах, действительно говорилось! Письменные социотехнологии уничтожили важнейшую предпосылку коммуникации: можно сомневаться в смысле сказанного, можно сомневаться в том, что интенции высказывающегося соответствуют заявленным, можно сомневаться, в том, что высказывающийся хотел сказать, то, что сказал, но нельзя сомневаться в одном: в том, что сказанное было действительно сказано.

Другими словами: прежде именно *информация* коммуникативного сообщения всегда составляла проблемный полюс коммуникации, в то время как *сообщение* (знак, означающее, материальный «носитель» смысла) коммуникативно-презентированной информации оставалось ее незыблемым и непроблематичным фундаментом. Сообщение – в уже давно забытом, бесписьменном прошлом, а ныне в личном интерактивном общении – и образовало общий поведенческий ориентир, в котором невозможно сомневаться и с

¹⁰⁶ Никлас Луман остроумно использует синтаксическую противоположность выражений *sym-bol* и *dia-bol*, резервируя за каждым, соответственно интегративные и дифференциалистские функции коммуникации.

¹⁰⁷ Альфред Шюц, вслед за Гуссерлем, выводил возможность универсального понимания из некоего горизонта взаимных отнесений, из функции *аппрезентации*: у всякого восприятия, слова или объекта непременно наличествует некоторое множество “fringes” – отнесений, избыточных смыслов, коннотаций, реферирующих к чему-то в данный момент и в данном контексте неактуальное, а значит - указывающих на остальной мир. Именно в этом свойстве неполной определенности всякого смысла усматривалось гарантия мирового единства.

фактичностью которого приходилось соглашаться. Недаром в русском языке сообщество и сообщение столь близки даже и по звучанию. Мы так долго живем в письменном обществе, что во многом забыли о том рискованном отрыве от реальности, которые пришли вместе с книгами¹⁰⁸.

Наш тезис, состоит в том, что именно технологии электронной телекоммуникации послужили механизмами нейтрализации опасности письменных технологий¹⁰⁹, явились новой социотехнологией адаптации к технологии предыдущей, способом минимизации ее рисков. Излишне говорить, что таковая адаптация приносила не меньшие опасности для коммуникации. Ниже мы покажем, какие трансформации коммуникативных структур произошли благодаря новой, электронной телекоммуникации, а также то, какие новые дисфункции они породили и какие новые технические средства появились для контроля и этих новых медиа.

Вернемся к понятию коммуникации. Коммуникация представляет собой достижение взаимопонимания через *информационный анализ сообщения*. Понимание – есть фиксация адекватности или неадекватности *сообщения* и извлекаемой из него *информации*. Если мне с усмешкой сообщают о смерти близких родственников, я фиксирую такую неадекватность сообщения и информации, но именно поэтому *понимаю*, и могу задать вопрос о причине столь странного диссонанса. Каждый акт понимания, завершает единый коммуникативный цикл (*сообщение/информация/понимание*) и делает возможным новый подсоединяющийся (и реферирующий к первому) коммуникативный цикл. Коммуникация есть мобильная самореференция некоторого актуального цикла к циклу предшествующему или последующему и в этом смысле всегда дана в виде системы и последовательности коммуникативных актов, как самокоррекция через вопросы, уточнение, прояснения и всегда ориентирована на то, что кто-то что-то *знает*, *неизвестное* другому, и испытывает соответствующую мотивацию к сообщению об этом или уточнению предыдущего

¹⁰⁸ Собственно книги и создали «монстров» – комплексы несовместимых свойств, вполне согласующихся в виде письменных описаний. См. главу «Чудовища» в книге: *Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века*. М. 2008.

¹⁰⁹ Опасность письменных и печатных технологий становится очевидной в эпоху реформации. В период Великой английской революции печать в полной мере проявляет свой потенциал рискованной коммуникации: памфлеты, листовки, манифесты – все разрушало стабильность средневекового космоса. Механизмы, нейтрализующие опасность письменно-печатной коммуникации, появляются лишь в конце 19 века, с возвращением в медиа-сферу «живых» интерактивно-коммуницирующих людей. Живой голос по радио вступил в конкуренцию с – почти безличными – газетными описаниями и в этой форме «свободных голосов» внедрял альтернативные ценности в тоталитарных системах. Однако нельзя утверждать, что попыток «возвращения к реальности» и нейтрализации письменно-печатных рисков не предпринималось ранее. Ю. Хабермас пишет об интеллектуальных салонах эпохи Просвещения как интерактивных формах гражданского общества, где семантика текстов, если можно так сказать, проходила интерактивный контроль. См.: *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Suhrkamp, 1962. В наши дни парадными примерами такого рода социальных технологий являются технологии академических семинаров, конференций, интерактивные по своей природе защиты диссертаций, ученые советы, принимающие решения о публикации. Тем самым научный текст словно «возвращается» в интерактивное пространство и, ориентируясь на устно-речевые формы презентации, вынуждено утрачивает столь характерную для него монстрообразность. Все мы знаем, что профессора, читающие лекции, и пишут гораздо понятнее.

сообщения. Каждый партнер высказывается о том, что, как он думает, *неизвестно* другим. Коммуникация, таким образом, есть процессирование знания из незнания¹¹⁰. Однако этот трех-составной порядок общения был существенным образом трансформирован появлением нового средства распространения коммуникации – письменности и печати.

Новые – основанные на электричестве – медиа распространения коммуникации полностью сохраняют прежнюю телекоммуникационную функцию – *транслирую тзнаки вместо физических тел коммуникантов*. Благодаря новым медиа пространственные и временные коммуникативные ограничения окончательно сходят на нет: окончательно расцепляются в пространстве и времени процессы *сообщения* и (вытекающего из соответствующего *понимания*) принятия либо отклонения коммуникации. Отныне (в особенности благодаря электронной почте) время коммуникации (как со стороны отправителя, так и адресата) выбирается *произвольно*. Что высвобождает общение из-под давления актуальной необходимости отвечать *согласием или отклонение мздесь и сейчас*. Благодаря этому собственно и возникает *время* на дополнительное обдумывание, на осмысление предложенной коммуникации, что является фундаментальным условием рациональности, требующей снятия спонтанных (квази-условно-рефлекторных) реакций на то или иное событие.

Особая функция в теории коммуникации отводится возможностям ЭВМ в некотором особом «коммуникационном» смысле. Так, Никлас Луман ставит вопрос не о соизмеримости сознания и ЭВМ, как это обычно имеет место в рамках так называемой «компьютерной метафоры» применительно к познавательным способностям в стиле “artificial intelligence”.

Эпистемологически релевантным становится вопрос о коммуникации с компьютером и о коммуникации компьютеров, в чем, собственно, ти состояло не осмысленное до сих пор существо теста Тьюринга, в котором эмуляция *сознания* выводилась из *коммуникативного* успеха «общения» с компьютером¹¹¹. Коммуникативный успех теста состоял в реализации формы *знание/не-знание*, вытекающего из фундаментального коммуникативного препятствия и по совместительству ключевого условия коммуникации, а именно – *закрытости сознания* (или информационных процессов – в общем случае, включающим и компьютерную переработку информации). Коммуникант исходил из того, что ему *известно* нечто, *неизвестное* его визави, и именно поэтому коммуникация с компьютером всегда сохраняет хотя бы некоторую степень

¹¹⁰ О соотношении структур (понятия) коммуникации и структуры (понятия) знания см.: Антоновский А.Ю. Социоэпистемология. М. 2011. С. 118 – 136.

¹¹¹ Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. № 59, pp. 433-460

осмысленности. Ведь, как минимум, на одной стороне коммуникации общение строится на основе предположения, что партнеру что-то известно, а что-то – нет. Любой пользователь постоянно сталкивается с открывающимися запросами, в которых машина «исходит» из того, что партнер на основе *одному ему известных сведений* способен принять решения о продолжении диалога (например, об инсталляции программы).

Иное дело – коммуникация самих компьютеров, которые, вступая друг с другом в коммуникацию, должны тем или иным способом знать нечто, неизвестное другим машинам и именно на это ориентировать отправляемые данные. Но как в компьютерной коммуникации возможны коррекции, уточнения, отклонения предложенных сообщений, которые бы образовали цепи обмениваемых сообщений? В компьютер-компьютерной коммуникации «закрытость чужого сознания», *недоступность* информационных процессов перестанут быть основой, стимулом и мотивом коммуникации, подсоединению одних сообщений к другим. Возможно, будут утрачены и прошлые «преимущества» человеческой коммуникации, оперирующей *нечеткими* сообщениями, вызывавшими самокорректирующие запросы. Должны произойти революционные трансформации коммуникации, в которой закрытость психики утратит свое значение коммуникативного препятствия и по совместительству – ключевого условия возможности коммуникации.

Коммуникация в сфере религии и искусства была существенным образом ориентирована на различие поверхностного и глубинного. Магические практики, гадания, обращаясь к зримым поверхностным линеатурам (костям и внутренностям животных, расположениям светил и т.д.), использовали их для предсказаний социально-значимых событий. В свою очередь, орнаментальные линеатуры искусства усиливали значения некоторых выделенных типов коммуникации (орнаментализация сакральных объектов, подчеркивание богатства и превосходства аристократии, украшение военных артефактов). Эта дистинкция глубины и поверхности оказывалась одновременно и механизмом социальной интеграции – фактором эксклюзии и инклюзии в высшие иерархические уровни.

Эта же дистинкция *поверхности и глубины* теперь в форме различения *монитор/машина*, оказывается ключевым фактором включенности в современность. Тот, кто не знает, как на основе данной чувствам поверхности экрана манипулировать невидимыми и недоступными для наблюдения информационными процессами внутри машины, как обращаться к ней за скрытым в ней знанием, исключается из самых разнообразных типов современной коммуникации: экономической, научной, политической, из искусства, и даже из религии. Он не может оформить заказ в интернет-магазине, не знает, какие политические силы претендуют на выражение его интересов, не

способен зайти на сайт Лувра, скачивать научные статьи из электронных библиотек. В этом смысле выглядит вполне оправданным определение Н. Луманом «виртуальности» в качестве «умения» («virtus») сопрягать поверхность и глубину.

Обновлённая реализация древних мифо-магических структур компенсирует и нейтрализует «фикциональность» литературы (письменно-печатной) коммуникации, объединяет вокруг единого «умения» или «навыка» самые разнообразные возможности ангажировать себя (почти одновременно) в самых разных типах общения. Благодаря электрической коммуникации те пространственные разрывы и негомогенности¹¹², которые образовывала письменность и печать, теряют всякое значение. Те пространственные препятствия для вступления в коммуникации, к которым привело развитие письма, виртуализируются, т.е. сосредотачиваются в едином «virtus» (= навыке сопрягать поверхность и глубину).

Пространственно-временные гарантии реальности через симбиоз акустики и оптики

Оптические (письмо) и акустические (устный язык) последовательности выражений, живая связь фактического восприятия и живой речи, благодаря письменности были разделены в пространстве и времени. Возникли сложные референциальные коллизии между синтаксической и семантической реальностями, сложнейшие вопросы репрезентации¹¹³. Благодаря кино и телевидению мультипликация реальностей, порожденная письменностью оптико-акустическая расцепленность, получает новые гарантии единства и стабильности. Кроме того, восстанавливаются и те гарантии реальности, которые были уничтожены (базирующиеся на наличествующей в языке частицей «не») способности отрицать все, что может быть произнесено.

Кино-телевизионная реальность, синхронизация оптически-доступного образа и произносимого текста уже не допускают своего отрицания или отклонения. В отличие от письменности и печати, допускающих относительно произвольные, в том числе невероятные комбинации известных (и неизвестных) реалий и образов, медиа кино и телевидения репрезентируют то, что *действительно* происходит во время съемки. Кино-телекоммуникация возвращает обществу ее – характерную для далекого прошлого – зависимость от реального, физического времени. И хотя эта зависимость телевизионной коммуникации от «устного» общения, от событий, имевших место в реальном времени и

¹¹² Т.е. концентрация литературы в библиотеках, искусства в музеях или главных городах, пространственные дистанции между напечатанным денежным знаком и местом, где его возможно потратить, разрывы между местом политического митинга, где раздают листовки и можно прочитать политический памфлет, и местом голосования и проживания, и т.д.

¹¹³ Что репрезентирует *письменное выражение* – *устное* выражение, внешний для коммуникации объект или некоторый дескриптивно понимаемый смысл? Что является первичной реальностью, а что надстраивается как форма презентации последней? Или, может быть, письменное выражение указывает на *связь* некоторого устного слова и репрезентированного им смысла?

пространстве, тотчас нейтрализуется комбинаторными техниками *монтажа*, все-таки число возможных комбинаций существенно сокращается в сравнении с письменно-литературным «фиктивным» представлением реальности.

Но как объяснить этот ренессанс примитивных форм устной интеракции? *Каковы функции* телевизионного возвращения к реальному времени? Несмотря на то, что, по видимости, кино-телевизионное возвращение к реальности обедняет коммуникацию, лишает ее виртуальных, фантастических и маловероятных форм, все-таки функционирование новых медиа приводит к обогащению и рафинированию репрезентируемого мира по сравнению с миром повседневным.

Фундаментальной «позитивной» функцией новых медиа становится функция *доверия*, которое вызывают телевизионные образы – мощный противовес недоверию, порожденному печатью. При этом возможности телеманипуляции практически уже не могут приниматься во внимание, ведь их рефлексия и фиксация возможны лишь *после* просмотра, а значит – после фактической акцептации предложенной кино– и телекоммуникации. При этом «реальный» (нетранслируемый мир) предстает довольно бедным в сравнении с изысканностью телевизионных кухни, одежды, хорошей погоды, лиц и поступков, но именно благодаря телекоммуникации он получает ориентиры для своего «совершенствования». *Виртуальная реальность определяет и обогащает реальность реальную*. Встает вопрос, какую цену приходится платить за вышеозначенную «позитивную» функцию. Не связана ли эта «реакция нейтрализации» письменности и печати с «ухудшением» качества человеческого общения?

Элиминация коммуникативных функций: информации/сообщения, бинарного кодирования, воображения и убеждения, взаимовлияния коммуницирующих сторон

Элиминация информации в сообщении: мы не знаем, какую информацию мы получаем

Ключевой коммуникативной функцией языка являлось выделение в сообщении некоей отличной от этого сообщения информации и вытекающая из этой дистинкции возможность отклонения (отрицания) предложенной коммуникации. Собственно, вся до-телевизионная коммуникация строилась на постановке, непрерывной переработке, уточнении и взаимопереходах двух ключевых вопросов: *что* именно и *почему* именно мне ты это говоришь? Понимание и было согласованием ответов на информационно-значимое

«о чем?» и мотивационно-значимое «зачем?», и такая согласованность или несогласованность обуславливали консенсус или конфликт. Именно последняя способность до-телевизионной коммуникации отклонять коммуникацию, хотя и создавала известные риски, но позволяла создавать все новые и новые формы общения, виды деятельности и продукции. Телевизионная (а впоследствии и особенно – «социально-сетевая») коммуникация в существенной степени устраняет *риски отклонения* коммуникации, за что, естественным образом, приходится расплачиваться и утратой способности различать сообщение и информацию, т.е. *понимать* предложенную телевидением коммуникацию.

Мы, по видимости, понимаем *сообщения общающихся* телефигур, но дефинитивно лишены возможности заключить об их латентных мотивациях, о том, зачем сегодня вечером по первой программе нам была предложена именно эта, а никакая иная коммуникация. Реципиент телекоммуникации не в состоянии контролировать встроенность предложенного ему коммуникативного акта в некоторый *контекст*, известный режиссеру или заказчику телепрограммы.

Элиминация бинарного кодирования

Базирующееся на языке *да/нет-кодирование* любой (предлагаемой для акцептации) коммуникации в телевизионном общении утрачивает свою предсказуемость и алгоритмичность. Агрессивность, опасность, вызываемый этим дискомфорт, непривычность или неприличность транслируемых сцен более не служит мотивацией для того, чтобы избегать такого рода коммуникации и применять дистинкцию *акцептации/отклонения*. Сами основания отклонения становятся предельно непрозрачными. Телекоммуникацию отныне невозможно не только понять (т.е. сопоставить ее информационную и мотивационную семантику), ее нельзя и отклонить: то, что требует отклонения, требует первоначального просмотра. И для выработки четких критериев «негативной позиции» к трансляции последнюю приходится анализировать (а значит, в каком-то смысле *принимать*) тем более тщательно. Понимание и отклонение утрачивают согласованность. Если в «традиционной» коммуникации именно *понимание*¹¹⁴ делало проблемой акцептацию предложенных смыслов и подсоединение коммуникативных актов друг к другу, то в рамках кино- и телекоммуникации принятие и понимание сообщения некоторым образом изначально гарантированы. Причем независимо друг от друга! Однако латентность мотивации, которая вытекала бы из знания *информации* о подлинных мотивах, усугубляется; мотивация (к тому, чтобы задавать

¹¹⁴ Понимание «истинных мотивов» общения людей (на основе эмпатии или каких-то иных ресурсов «проникновения в чужое сознание») несомненно усложнило бы коммуникацию, если ни сделало ее излишней.

вопросы, уточнять намерения и т.д., т.е. выстраивать системы) зависит теперь не только от *закрытого* функционирования сознания, но и от разделяющей границы-поверхности телевизора – по ту, и по эту сторону экрана. Телекоммуникация делает понимание и принятие возможными и без информации!

Элиминация коннективных ресурсов коммуникации – воображения и аргументативного убеждения

Конструирование информации из сообщения и их различение, очевидно, требуют для себя некоторого творческого акта, силы воображения, способного усматривать в сообщении нечто, зачастую в нем непосредственно не содержащееся, способного комбинировать: разводить знаки и смыслы, придавать одним и тем же знакам разные смыслы (генерализировать), а одни и те же смыслы выражать в разных знаках (специфицировать). И эта активность по различению означающего и означаемого, безусловно, предполагает временное отключение непосредственного восприятия. Однако аудио-визуальное восприятие телевизионной картинки настолько интенсивно ангажирует все ресурсы внимания, что воображению просто не достает времени на знаково-смысловую переработку аудиовизуального материала. Эта способность телекоммуникации предельно интенсифицировать восприятие реципиента в ущерб аналитическим и комбинаторным ресурсам воображения делает избыточным коммуникативное убеждение и аргументацию в пользу принятия телекоммуникационных сообщений.

Элиминация внутренней коннективности коммуникативных актов

Подсоединение сообщений друг к другу в дотелевизионной коммуникации происходило селективно, в том смысле, что каждый из участников осуществлял собственный отбор сообщений, интерпретаций, атрибуций смыслов, намерений, установок, ориентируясь на отбор, ранее осуществленный Другим. Коннективность коммуникативных актов носила внутренний характер, т.е. коммуникация включала активность обоих коммуникантов как собственные внутренние составляющие или этапы (сообщение, информация, понимания) и эта активность реализовывалась *в течении* самой этой коммуникации. Парсонс назвал такого рода внутреннюю селективность общения, отвечающую за коннекцию коммуникативных этапов, «двойной случайностью», дающую возможность коммуникации осуществлять некую самокоррекцию, где «Другой» в своем выборе подстраивается под выбор «Его» и сам пытается кондиционировать этот выбор (учитель подстраивается под свойства ученика, с тем чтобы, тем не менее, воздействовать на его активность и предпочтения). Эту внутреннюю коннективность коммуникативных вкладов Еgo и Другого разрывает телекоммуникация. Отныне селекция коммуникативных актов осуществляется отправителем и получателем сообщений *независимо* друг от друга.

Речь идет о независимых селекциях отправителя (собственный отбор сюжетов, инсценировок, длительности и времени трансляции) и реципиента (смотреть или не смотреть, когда и как долго смотреть передачу). Утрата этой двойной случайности приводит к тому, что коммуникация утрачивает и возможности самокоррекции, возможности неслучайного взаимоконтролируемого развертывания, ориентированного на ту или иную общезначимую функцию (в примере с учителем и учеником – формирование у ученика компетенций и квалификаций).

Преодоление дисфункций образной телекоммуникации через компьютерную сетевую коммуникацию: новые упорядочивания (селекции) массмедийной коммуникации

Мы перечислили дисфункции, обременяющие ход общения, которыми приходится расплачиваться за то полезное, что принесла с собой телекоммуникация. Последняя, безусловно, преодолела дисфункциональные эффекты письменности и печати, благодаря которым были утрачены гарантии реальности, связи описаний с фактическим, физическим пространством и временем внешнего мира печатных и письменных текстов. Осуществленный в телекоммуникации *симбиоз оптики и акустики* вернул коммуникацию в «реальный» пространственно-временной мир устного общения.

Однако вышеозначенные дисфункции, в свою очередь, требовали их преодоления в рамках иных медиа распространения коммуникации. Новые медиа коммуникации получили название «социальных сетей». Приведем здесь лишь несколько рабочих гипотез, которые, возможно, помогут объяснить некоторые функции и дисфункции сетевого общения.

Первое, что бросается в глаза и что служит ее основным оправданием, связано с привносимой этим типом общения окончательной элиминацией *риска отклонения* предлагаемых коммуникативных актов – риска, связанного с древней языковой способностью осуществлять отрицание всего, что может быть сказано в языке (основанная на частице «не» бинарность языковых актов). Общеизвестно, насколько обременяли коммуникацию трудности порождения первого акта – завязки коммуникации. Это было связано с ее фундаментальным темпоральным свойством: каждый коммуникативный акт, чтобы быть осмысленным, должен встраиваться в историю прошлых коммуникаций. Лишь сетевая коммуникация устраняет этот риск отклонения, которое и само переживается отныне как вполне естественное и понятное, при том что спонтанное завязывание общения выглядит абсолютно нормальным.

Во-вторых, сетевая коммуникация безусловно преодолевает те (устно-речевые) рецидивы, которые приносила коммуникация телевизионных образов, и возвращает утраченную в телекоммуникации внутреннюю коннективность (в форме т.н. интерактивности) коммуникативных актов.

Но и сетевое общение, как видно, не является его совершенной формой, и в качестве ключевой дисфункциональной характеристики социальных сетей приходится признавать окончательный *разрыв* единства коммуникации во всех ее измерениях: пространственно-предметном, социальном и временном. Сообщение и понимание теперь фактически никак не связаны друг с другом. Отправитель сообщения в социальной сети не способен даже догадываться и никак не ориентирован на то, *кто* прочтет его сообщение, прочтут ли его вообще, *что* именно из этого сообщения будет отобрано в качестве информации, *когда* это сообщение будет прочитано и в какой точке мирового пространства это сообщение будет реципировано. Реципиент в свою очередь не может знать и не ориентирован на то, отправлено ли сообщение именно ему или кому-то другому, что именно в этом сообщении является информацией, ведь оно может быть тривиальным выражением некоторого ментального состояния (т.н. «статус»), не задуманное в качестве сообщения и не сопровождаемое некоторой установкой или интенцией. Незнание и необязательность закладывания интенции, предположение о котором вкупе с «объективным» смыслом сообщения в традиционной коммуникации приводило к некоторому пониманию, т.е. рефлексии связи «латентного намерения» и «открытого смысла», приводят к тому, что в социальном измерении понимание перестает быть связано с перспективой отклонения коммуникации (элиминация риска отклонения).

Когда-то письменность привела к расщеплению ключевых элементов коммуникации (сообщения и понимания) в социальном и пространственно-временном измерениях. Единственное, что еще как-то связывало сообщение и его понимание в некоторое единство, вытекало из самого *предмета* обсуждения (но уже не из культурно-языковой общности, общей эпохи и общего места такого обсуждения). *Социальные сети сводят на нет это последнее основание коммуникативного единства. Предметность обсуждения размывается, а говорить об одном и том же идентичном предмете превращается в моветон.*

Основания сцеплений коммуникативных актов в социальных сетях, получающих устойчивое выражение в виде связки *пост/комментарий*, практически не исследовались. Очевидным ресурсом коннекции «поста» и «комментария» оказывается ирония или сарказм, ссылки на душевное состояние, последние оптические презентации (фотографии), – одним словом, все, что не может повлечь сколько-нибудь консистентных

и продолжительных последствий, т.е. устойчивых, самокорректирующих, предметно-определенных последовательностей высказываний; того, что в традиционной коммуникации было принято называть текстами, в социальных сетях практически не наблюдается. Единство коммуникации окончательно распалось.

Конечно, история общества на этом не заканчивается, но единство коммуникации конструируется отныне на некотором другом уровне и обеспечивается в рамках общественных подсистем: науки, политики, права, любви, хозяйства и т.д. Их собственные медиа – *медиа коммуникативного успеха* на основе стандартизированных мотиваций (денег, власти, страсти и т.д.) обеспечивают понимание коммуникативных предложений и связь этого понимания с акцептацией (или отклонением) предлагаемых коммуникаций. Коммуникация на некотором функционально-неопределенном уровне хотя и остается возможной, но не может образовывать устойчивые, самокорректирующиеся последовательности сообщений, и поэтому ответственными за социальную интеграцию (в рамках подсистем общества) отныне выступают коммуникативные медиа успеха, к рассмотрению которых мы переходим в следующей главе.

Основные итоги и выводы четвертого параграфа и первой главы

В данном параграфе мы обосновывали, что характерные для современности электро-телекоммуникации, не радикализуют, а напротив, сглаживают и нейтрализуют тот радикальный разрыв семантической реальности и «естественной» реальности человеческого мира, осуществленный когда-то письменностью и печатью. В дифференцированном (главным образом средствами печати – денег, законов, политических памфлетов, научных публикаций) обществе понимание становится проблемой, поскольку коммуникативное сообщение и извлекаемая из него информация расцепляются в пространстве и времени. Обосновывается, что электронная телекоммуникация восстанавливает утраченные (посредством письма и печати) пространственно-временные координации между посылаемыми сообщением (репортажем, фильмом, передачей), и ее фактическими – наблюдаемыми в пространстве и времени прототипами (действительными событиями). Симбиоз акустических и оптических сообщений восстанавливает утраченную ранее интерсубъективность, выступает гарантиями реальности содержания коммуникации. Однако и телекоммуникация приносит новые дисфункции – утрачивают свое значение традиционные коммуникативные функции: утрачивается знание о том, какую информацию мы извлекаем из (массмедийных) сообщений, утрачиваются возможности

взаимовлияния коммуницирующих сторон (редакций и реципиентов сообщений), окончательно утрачивается единство коммуникативного акта, которое отныне конструируется лишь в обособленных сферах – благодаря медиа коммуникативного успеха.

В целом в первой главе нами обосновано и показано, что историческая специфичность типов распространения коммуникации предполагает и соответствующие различающиеся смысловые контексты коммуникации в предметном, пространственно-временном и социальном измерениях или контекстах коммуникации. Переход от одного типа распространения к другому изменяет условия возможности понимания сообщений и как следствие - их акцептации. Изменяется структура коммуникативного времени, что приводит к распаду единства коммуникативного акта (сообщения – извлечения информации – понимания). Обосновано также, что различие знающих/не-знающих выступает осью коммуникативной дифференциации и одновременно может рассматриваться как основание для классификации разного типа (предтрадиционных, традиционных, современных) обществ.

Глава вторая: истина и знание как медиа коммуникативного успеха

Параграф первый: истина как медиум коммуникативного наблюдения и его генезис из ценностных установок

В этой части исследования мы сосредоточимся на фундаментальном различии между когнитивными типами общения, ориентированными на истину (обобщенный символический медиум коммуникативного успеха), и всеми остальными – нормативно-мотивированными типами коммуникации: правом, политикой, религией и др. В отличие от последних, познание может пониматься как выделенный тип коммуникации, мотивированный поисками истины; его специфика заключается в том, что разочарования в ожиданиях (т.е. констатация ложности тех или иных суждений) приводят не укреплению «поврежденной нормы», а к пересмотру утвердившихся прежде ожиданий. Именно это отличает познание от нормативно-ориентированных типов общения — от политической коммуникации, ориентированной на власть, хозяйственной деятельности, мотивированной деньгами, религиозного общения, замкнутого в рамках коммуникации между верующими одной конфессии. Очевидно, что в правовой системе коммуникации разочарования в ожиданиях (скажем, в случае преступлений), как правило, вызывают общественный резонанс и этим лишь укрепляют «нарушенную» норму. Аналогичным образом и изображение безобразного в искусстве лишь подчеркивает значение прекрасной формы. В религии представление о грехе не разрушает, а укрепляет религиозные постулаты.

Правда, несмотря на такого рода нормативные реакции в случае разочарований в нормативных ожиданиях, и этот тип общения сохраняет когнитивные свойства, поскольку коммуникация, являясь по своим родовым признакам наблюдением¹¹⁵, по своей структуре изоморфна познанию и знанию. Рассмотрим кратко эту изоморфность.

Знание, согласно его стандартному пониманию¹¹⁶, состоит из двух классов элементов — множеств истинных пропозиций (например, «идет дождь» или «дважды два

¹¹⁵ Наблюдением в самом широком смысле: любая коммуникация является осуществлением двух одновременных процессов – обозначением через различение и различением через обозначение. В этом смысле обсуждение той или иной темы (сосредоточение на некотором данном предмете и вывод за сферы внимания всех остальных тем) ничем не отличается от наблюдений сознания.

¹¹⁶ Обсуждение стандартных и нестандартных определений знания см.: Антоновский А.Ю. Семантический контекстуализм и проблема нестандартного определения знания // Эпистемология и философия науки. М. 2010. № 4. С. 101-118.

четыре») и множеств установок или *способов существования* этих пропозиций, т.е. «я знаю, что идет дождь», «я убежден, что...», «доказано, что...», «предположим, что...». При этом в центр внимания может попадать как первое (истинность/ложность самих пропозиций в придаточных предложениях), так и сами установки-контексты суждений, выраженных главными предложениями: обоснованность тех или иных суждений (обоснованно, что р), убежденность знающего в том, что его суждения истинны (уверен, что р) . Но ведь и коммуникативные акты почти аналогичным образом составляются, во-первых, из информации о внешнем мире (например, утверждается, что «идет дождь»), извлекаемых из сообщений. И, во-вторых, из самих коммуникативных сообщений, которые принимают те или иные знаковые формы: «надеюсь, что пойдет дождь», «я боюсь, что пойдет дождь», «я хочу» или «я не хочу, что...». Отличие знания от некогнитивной коммуникации состоит лишь в том, что установок во втором случае значительно больше. Но в обоих случаях и сами установки зачастую становятся темой или извлекаемой из суждения информацией, которая обсуждается в коммуникации. Например, сообщение «идет дождь» может оцениваться не на истинность/ложность, а в отношении того, в каком индивидуальном контексте это сообщение произнесено. В качестве информации может «вычитываться» как реальность или тема коммуникативного сообщения (в данном случае характер погоды), так и соответствующий контекст-установка говорящего, например, его смысл или мотивация (скажем, мотив говорящего отговорить кого-то выходить на улицу). В этом смысле всякая коммуникация (взятая в самом широком смысле) представляет собой познание, поскольку она является *выбором* своего следующего состояния – либо объектной (информационно-значимой), либо мотивационно-значимой интерпретации предложенного коммуникативного сообщения.

Очевидно, что на объективную констатацию положения дел («идет дождь») будут реагировать (в рамках коммуникативной реакции на данное предложение) совершенно иначе, нежели на попытку манипулировать или мотивировать своего партнера. Такая типизация коммуникации на собственно когнитивную и все остальное предполагает анализ места истины и ценностей в коммуникации, в особенности, в структуре коммуникативных медиа – обобщающих символов и мотивов общения (таких как закон, вера, прекрасное, любовь, деньги, собственность, власть). Последние мы, вслед за Н. Луманом, называем «медиа коммуникации» и усматриваем в них особые механизмы и средства отбора коммуникацией своего следующего состояния. Эти механизмы обеспечивают как бы автоматическую акцептацию запросов на коммуникативный контакт, если в качестве аргумента последует ссылка на тот или иной обобщенный символ (истину, власть, право, деньги и т.д.), что и обеспечивает подсоединение системных

элементов (коммуникаций) друг другу и образования обособленных систем. Но можем ли мы рассмотреть внутреннюю структуру коммуникации как элемент коммуникативной системы и выйти на более фундаментальный уровень анализа?

Тогда, вслед за Никласом Луманом предположим, что любая ситуация познания и коммуникации описывается двумя дистинкциями-переменными: *действия /переживания* и *Ego /Другого*.

С одной стороны, действие само по себе лишено способности восприятия и для своей реализации словно «учитывает» или «реагирует на» состояние внешнего по отношению к действию предметного мира, данного *переживанию* (прежде всего, восприятию) человека. В этом смысле внешний мир, непосредственно данный исключительно переживанию действующего, есть важнейший фактор в ситуации действия.

С другой стороны, коммуникация не осуществляется вне наличия хотя бы двух ее участников. Это означает, что любое общение имеет таким образом, как минимум, два измерения: социальное и предметное. Все, что произносится в коммуникации, во-первых, имеет в виду некоторый предмет, данный в переживании и внешний по отношению к коммуникации; во-вторых, ориентировано и на некоторого Другого, которому адресуется все произнесенное и написанное. В этом смысле, коммуникативное сообщение непременно ориентировано на две фундаментальные цели: с одной стороны, на информацию и информирование (предмет сообщения) и, с другой стороны, на солидарность или сплоченность сообщества (участников коммуникации Ego и Другого).

Для коммуникаций, ориентированных на истину (как и на ценности), в ряду других медиа коммуникаций, это означает следующее: две вышеуказанных дистинкции-переменных любого общения (*Ego/Другой* и *действие/переживание*) задают номенклатуру ключевых типов коммуникации и символических медиа коммуникаций:

	Эго переживает	Эго действует
Другой переживает	<p>Истина и ценности</p> <p>В науке переживания Эго (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого Другого.</p> <p>Ценности должны удостоверить общность чувств членов общества</p>	<p>Любовь</p> <p>Эго своими действиями пытается вызвать переживания Другого.</p>
Другой действует	<p>Деньги—Собственность, Искусство</p> <p>Действия Другого (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных действий, а спокойно переживаются Эго, поскольку Другой имеет право собственности или платит.</p> <p>Художник действует, а зритель переживает</p>	<p>Власть</p> <p>Действия Другого влекут действия Эго, если они регулируются властью. Личны переживания должны быть устранены из сферы политической и военной коммуникации</p>

Из этой схемы распределения комбинаций элементарных составляющих коммуникации вытекает интересное следствие. Истина и ценности оказываются родственными мотивациями или ориентирами коммуникации. И те, и другие не фабрикуются в результате действий, а являются общезначимыми переживаниями, обеспечивают согласие на уровне общего характера восприятия, а не общности или координированности действий.

Рассмотрим более подробно специфику и функции истины и ценностей как обобщенных символических медиа коммуникаций. Истина – это двухсторонняя форма общения (поскольку имеет свою другую сторону — ложность). И именно поэтому она предполагает рефлексю, состоящую прежде всего в референции к ее второй стороне, в размышлениях по поводу – никогда до конца не исключаемой – ложности того, что предполагается истинным. Начиная с Поппера, философы науки признают рефлексивную ценность фальсификационного критерия научного знания. Ценности, напротив, не совместимы с их рефлексивным обсуждением на предмет их проблематичности и невалидности. Такой ход в обсуждении запрещен, поскольку опасен для общезначимого характера ценностей.

С другой стороны, в коммуникациях, стилизованных под когнитивные (= допускающие когнитивные реакции на разочарование в ожиданиях) именно ложность (а не истинность) суждения выступает главным фокусом рефлексии. О самой истине практикующий ученый не задумывается, если только он не поднимается на уровень

наблюдения второго порядка и не фиксирует саму двустороннюю форму (инструмент, дистинкцию), благодаря которой осуществляется наблюдение. Но платой за это становится утрата (вследствие своего рода гештальт-переключения) возможностей наблюдать непосредственный предмет исследования ученого (вспомним второй закон Спенсера-Брауна, утверждающий, что коррелятом и результатом различения различения, т.е. концентрации внимания на самом различении становится некое «неразмеченное пространство»: см. первую часть нашего исследования). Это означает следующее: познание осуществляется как аккумуляция нового знания о реальности, в то время как сбой в познании, ошибка, парадокс тотчас делают познание рефлексивным, поскольку лишь такого рода сбои заставляют ученого задумываться о причинах неудачи. Сбой, ошибка заставляют вносить коррективы в научный метод, в инструментарий, смысл которого состоит в распределении научных пропозиций по значениям истины и лжи, что и обеспечивает закрытый характер научной системы (ведь третьего значения для научных высказываний не предусмотрено).

Истинностная сторона в дистинкции (форме) *истина/ложь* не получает достаточной рефлексии. *Истинное* на этом уровне наблюдения означает то же самое, что и просто – знание, т.е. является некоторой избыточной характеристикой научного знания или описываемого предмета интереса. Выделение признака истинности как специальной и дополнительной характеристики знания не имеет большого смысла в самом научном исследовании. Так, если открывается новый химический элемент, ученый не будет утверждать, что одновременно с ним он открыли и некую истину, уже в силу простой избыточности и тавтологичности такого заявления. Речь идет об открытии новой реальности. Если же выясняется, что произошла исследовательская ошибка, в этом случае как раз ложность, а не реальность, становится предметом осмысления и резонанса. И именно в этом случае исследователь оказывается способным занять позицию наблюдателя второго порядка: размышляет уже не о гипотетическом химическом элементе, а судит о своих *прежних высказываниях о реальности* как ложных, обращается к методу, иным теориям или условиям эксперимента на предмет их неадекватности и пересмотра.

В этом смысле истина как двухсторонняя форма очень похожа на другие медиа общения или формы, а именно: деньги, власть, закон, веру, право, выступающие аналогичными обобщенными символами хозяйственной, политической, религиозной коммуникации, поскольку обобщают соответствующую деятельность и коммуникацию и служат интегрированию (подсоединению) обще-ориентированных (на общий символ) коммуникаций в ту или иную систему. Не важно, что производит участник рынка, но *деньги* служат мерой любых товаров. В этом смысле и принимающего решение чиновника

мотивирует не окружающий контекст (экологические вызовы, предпочтения электората), а необходимость реализации *коллективно-обязательного решения*, принятого вышестоящей властью. *Власть* служит мерой любых решений.

Практически у всех перечисленных медиа есть и другие, негативные полюсы, которые выступают триггерами рефлексии. Скажем, в рамках правовой коммуникации законопослушное поведение не требует своего осмысления и рефлексии. Однако нарушение закона, запускает рефлексивные процессы, производит общественный резонанс и приводит к торжественному восстановлению значения нарушенной нормы. В медицине именно болезнь, а не здоровье как негативная сторона дистинкции *болезнь/здоровье*, запускает медицинскую рефлексию.

Из вышеприведенной схемы возможных комбинаций конституэнт коммуникации (*действия/переживания, Ego/Другого*) вытекает следующее. Истина и ценность суть родственные мотивации, которые не противостоят друг другу, а имеют общую функцию. Ее можно назвать функцией удостоверения общего знания, удостоверения общности переживаний Ego и Другого. Другими словами, *ни истина, ни ценности не могут фабриковаться, не являются результатами действий*. Именно это отличает данные медиа коммуникации от правовых норм и от власти, функционирование которых предполагает каузальные связи между действиями Ego и действиями Другого (что очевидно осуществляется в политике, где действия-решения власть имущего запускает действия-решения подчиненного). Иным образом обстоят дела в сфере общения, регулируемого и мотивированного истиной и ценностями. Очевидно, что если бы истину можно было, говоря словами Джамбатисто Вико, «производить», то разные действители производили бы разные истины. Ценности (справедливости, здоровья, мира, жизни) в свою очередь не создаются и не фабрикуются, а представляют всеобщим образом переживаемые (= общезначимые) установки.

Если анализировать ценности в понятиях медиа и форму, возникает ряд вопросов. Являются ли ценности двусторонними формами с негативной и одновременно рефлексивной стороной? Есть ли у ценностей негативная сторона, которая бы отвечала за рефлексию? Совместимы ли ценности и рефлексия? Чем похожи истина и ценности, и чем они отличны? Представляется, что ценности, в отличие от истины, не имеют рефлексивной стороны. Истины удостоверяются в процессе рефлексии и обсуждения, приложения теории и методов и, как следствие, укрепляют свой общезначимый характер. Ценности же разрушаются в процессе их рефлексивного обсуждения, утрачивают свой общезначимый характер. Никто не будет спорить, что справедливость лучше несправедливости (в этом и состоит общезначимость данной ценности). Однако при

попытке обсудить понятие справедливости неизбежно выяснится, что под справедливыми полагаются разные поступки.

Попытаться ответить на вышеозначенные вопросы можно, рассмотрев истину в ее генезисе и развитие в полноценное средство коммуникативного успеха научной системы коммуникаций. Если коммуникация действительно ориентирована на две зачастую абсолютно противоположные цели: на объектную и субъектную, на информационное описание мира и на интеграцию сообщества, то следует поставить вопрос об исторической переиодизации в доминировании того или другого полюса коммуникации. При этом рассуждения об историческом генезисе истины предполагают вопрос о том, как появляется независимое от целей сплоченности сообщества объективное суждение о внешнем мире? Как предмет сообщения стал значимым для общения в силу его собственных характеристик, скажем, новизны и интересности (т.е. известности для сообщающего Ego и неизвестности для Другого)? Каким образом коммуникация приобретает когнитивный характер, т.е. переходит от ориентирования на дистинкцию нормативного (сплоченности)/ненормативного(опасности для сообщества), к дистинкции известности /неизвестности, знания /незнания?

Из некоторых историко-культурологических штудий¹¹⁷ известно, что истины в античности не были стилизованы под коммуникации в виде позитивных суждений об общезначимых переживаниях. Истина скорее характеризовалась как некая характеристика действия, состоящего в отрицании сокрытости. Истина как *A-letheia* во времена Гесиода и Гомера понималась как некая деятельность по предупреждению забвения, сокрытости, по поддержанию непотаенности, что, как известно, достигалось на пути ритмизации эпоса. Вырвать из забвения значило облегчить воспоминания на основе ритма. Истина и позднее понималась как деятельное умение, как характеристика знания-умения, т.е. как следствие манипуляций: *techne*, *poiesis*, *sophia*¹¹⁸. Вместе с тем и ложь, *pseudos*, не сразу выступила в функции некой противоположности «другой стороны» истины в современном смысле, а первоначально функционировала как самостоятельный ориентир. Это понятие указывало на неправильную передачу знания, на преступание долга говорить правду. Ложь в этом смысле не сразу была «разрешена» и первоначально не являлась нормальным случаем, еще не могла выступить в качестве другой – рефлексивной – стороны истины, не являлась (простительной в случае ее ненамеренного производства) ошибкой или заблуждением, каковым она предстает в современной коммуникации (в особенности – научной).

¹¹⁷ *Levet J.-P. Le vrai et le faux dans le pensee grecque archaïque: Etude de vocabulaire. Paris. 1976. Vol. 1.*

¹¹⁸ *Луман Н. Медиа коммуникации. М. : Логос. 2006. С.160.*

В целом историко-генетическое рассмотрение истины показывает, что первоначально и *altheia* и *pseudos* некоторое время выступали в функции ценностей, являлись некоторыми неререфлексивно принимаемыми установками, которые – будучи действенным запретом на неправду и коммуникативным запретом забвения – ориентировали и мотивировали коммуникацию преимущественно в целях сплоченности того или иного сообщества, а не информирования о чем-то новом. Для того, чтобы появилась — отличная от задач интеграции — информативная ориентированность сообщений, чтобы возник предмет, интересный сам по себе, а не в качестве инструмента интенсификации солидарности, потребовались новые медиа распространения коммуникации, прежде всего письменность и особенно печать, которые сделали возможным коммуникацию, неподотчетную социальному контролю, и, как следствие, привели к разрушению коллективных (ценностно-определенных) представлений. В результате *altheia* как коммуникативный запрет на забвение и *pseudos* как коммуникативный запрет на намеренно-ложные утверждения утрачивают функцию ценностей, будучи в этой функции ценностей дефинитивно недоступными для рационального обоснования и рефлексии.

И ценности, и истина возникают как ответы на главную проблему коммуникации: на замкнутость психики, на недоступность переживаний Другого для переживаний Эго. Прежде оба медиа решали проблему социального порядка, обеспечивали «общий базис», «беспорные начала» общения, которые были бы «выше» действий (воли, интересов, индивидуальных целей), поскольку словно «объединяли» и связывали сознания участников «примитивной» коммуникации. В этом смысле и *altheia*, и *pseudos* еще не служили значениями пропозиций, суждений о некотором объекте, а существовали в функции автономных друг от друга ценностей с разными задачами, в функции общезначимых установок с функцией поддержания сплоченности и интеграции.

Итак, путь развития истины состоял в (1) синтезировании ее двусторонности из первоначально автономных ценностей (*altheia* и *pseudos*); (2) одновременной утрате роли генератора сплоченности сообществ (3) ее трансформации из деятельностных императивов в обсуждение общности переживаний. Судьба же остальных ценностей складывается иначе. Письменные и печатные, прежде всего критические вербализации ценностей приводят к утрате общезначимого характера ценностей¹¹⁹. Прежде все медиа

¹¹⁹ Всем известны расхождения в суждениях о ценностях. Так, ценность чистоты и гигиены не выдерживают критики с точки зрения их полезности для здоровья, поскольку ослабляют иммунитет. Ценности *мира, здоровья, справедливости* общезначимы лишь до тех пор, пока они не становятся предметом обсуждения, показывающего их неоднозначность. Надо ли сохранять *мир* с фашистскими режимами? И разве не болезни и смерть индивидов, с точки зрения эволюционной теории, являются условием жизни и здоровья популяции в целом? И справедливо ли уравнильное (справедливое) распределение благ?

коммуникации в некотором смысле выполняли роль ценностей, т.е. представляли собой не вербализованные, но универсально разделяемые коммуникативные установки акцептации дружбы и любви, материальных благ, прекрасного, веры). В своем многообразии (истины–богатства–власти–красоты–божественности) они образовывали единый коммуникативный континуум в том смысле, что таковые предикаты словно автоматически приписывались представителям аристократии и клира, а атрибуция одного из них требовала атрибутировать и другие. Однако в процессе эволюции коммуникаций ценности эволюционируют, трансформируясь в особого рода коммуникативные медиа, вокруг которых стабилизировались обширные практики коммуникации (наука, политика, религия, искусство, экономика). Бывшие ценности теперь квантифицируются и требуют своего удостоверения: ценность богатства определяется рынком и деньгами, истинность суждений теориями и методами, прекрасное – степенью принадлежности и качественности выражения того или иного художественного стиля, вера – конфессиональной принадлежностью. Статус подлинных ценностей сохранило лишь то, что не допускает точной вербальной оценки, квантификации (меры и степени) и рефлексии, а значит, уничтожается в процессе обсуждения. Современные ценности могут эффективно исполнять свою функцию исключительно вне дискурса и критики.

Итак, истина перестала быть отрицанием сокрытости, а ложь из нормативного запрета говорить неправду превратилась во вполне ожидаемое, нормальное, разрешенное состояние. И ложь, и истина перестали быть ценностью, долгом, действиями и превратились в характеристику и критерий предметных суждений и знания, удостоверяемого интересубъективностью переживаний (исследователей и ученых). Ведь если суждения претендуют на статус истинного знания, то такое суждение не может не удостоверяться переживаниями и восприятиями всех без исключения людей и не должно фабриковаться или оказываться следствием их манипуляций. Истина не терпит разнящихся мнений, выбор значения суждения определяется не волей, целями, интересами (т.е. свободным действием) коммуникантов, а внешней реальностью, т.е. общностью переживаний воспринимающих внешний мир сознаний. Возникает парадокс: результаты науки (огромного массива специальных действий) не зависят от самих этих действий.

Основные итоги и выводы первого параграфа

*Итак, в данном параграфе мы осуществили историко-генетическое рассмотрение истины как коммуникативного медиума, происходящего из первоначально автономных и не связанных друг с другом «ценностей» *altheia* и *pseudos*. Было обосновано, что «путь развития» истины состоял в (1) синтезировании ее двусторонности (истина/ложь) из*

первоначально автономных ценностей (aletheia и pseudos); (2) в одновременной утрате ее роли генератора сплоченности сообществ (3) ее трансформации из деятельностных императивов в обсуждение общности переживаний. Показано, что в рамках коммуникативной дистинкции истина/ложь именно ложность должна, как рефлексивная функция данного коммуникативного кода, превращаясь из первоначального нормативного запрета говорить неправду во вполне ожидаемое, нормальное, разрешенное состояние, именуемое заблуждением.

Параграф второй: о социальности истины

В этой части исследования мы рассматриваем соотношение понятий истины и знания с точки зрения коммуникативно понимаемого процесса наблюдения. Мы обосновываем тезис, что в основе различности *истины знания* и *знания истины*, зафиксированной в парадоксах Геттиера, лежит различие двух типов коммуникативных наблюдений (первого и второго порядков), где наблюдателю второго порядка открывается латентный *пространственно-временной* и *личностный* контекст (случайных или вероятных) истинных высказываний первого наблюдателя. Именно поэтому истинные высказывания наблюдателя первого порядка не являются знанием.

Как правило, вопрос об истине и знании задают в форме «что-вопроса»: «Что есть истина и что есть знание»? Такие постановки вопроса страдают изначальным изъяном: они уже предполагают наличие некоторого феномена, референта обоих понятий, который осталось лишь уточнить или определить, отличить от рядоположенных явлений, и в данном случае – друг от друга. Эта изначальная порочность собственно и приводит к философским контрверзам когерентизма, конвенционализма, корреспондентской теории истины и многих других.

Сам контрверзный характер этих подходов вытекает из того, что сингулярность понятия, словно сама собой, подводит к сингулярности его референта, который осталось только уточнить. Почему так? Ведь в пользу этого нет никаких аргументов! За исключением одного – «но не зря же придумали это слово... что-нибудь оно, да означает». Однако перечисленные подходы вроде бы не должны спорить между собой. Разве нет у когерентной теории своего собственного референта – феномена согласованности утверждений, ориентированного на выбранный критерий достоверности (пусть отчасти произвольно порождаемый, но разве кто-то спорит ныне, что теории сами рожают свой предмет)?

И разве нет у конвенционалистского подхода своего собственного предмета – универсально принимаемых соглашений по поводу того, что считать тем-то и тем-то, определять так-то и так-то?

Известные трудности в выявлении референта истины и знания возникают лишь применительно к корреспондентской теории. Ведь поскольку объект здесь является *соответствием высказывания и предмета* (и такое соответствие, в конечном счете, можно понимать как *различность* объекта и его описания), мы должны поставить и трудный вопрос о том, что же представляют собой эти – соответствие, граница, различность как таковые. Ведь сопоставимость объекта и его описания требует хотя бы какой-то примитивной однородности того, что друг другу «соответствует».

Лишь дав типологию различий и включив туда весьма сомнительное различие между явлениями, друг с другом не «соприкасающихся», не имеющими каких-то общих границ, более общих оснований сравнения, можно хотя бы как-то приблизительно обозначить и референт корреспондентской теории – а именно *абсолютную различность* знания и объекта знания¹²⁰. (И это вовсе не подрывает, как можно было бы подумать, сам концепт соответствия этих феноменов, ведь всегда можно домыслить некоторую непознаваемую «вещь в себе», о которой известно то, что о ней ничего не известно, и тем самым, лишит ее статуса знания, но нагрузить предметным статусом).

Итак, очевидно неплодотворным и парадоксальным представляется подход, где некоторый традиционный термин, в данном случае *истина*, задает область единого объекта, который нам уже как-то дан, и осталось найти лишь его определение, теоретические поиски которого рождают самостоятельные объектные комплексы, которые все почему-то упорно пытаются объединить верховным суперпонятием *истины*.

Но может быть тогда начать не с истины? Быть может, следует начать со *знания*, тем более что в случае всех остальных подходов, помимо корреспондентского, собственно знание и является предметом спекуляций, и именно ему, а не мистической истине, приписываются характеры конвенциональности, когерентности, инструментальности или операциональности.

Но если речь идет о знании, то о *знании о чем?* О знании мира, отдельных фактов о мире, положений дел, знаковых форм, самого знания, в конце концов? Как определить знание, если самим определением мы уже задействуем знание, имеем его в качестве

¹²⁰ В этом смысле Бруно Латур утверждает, что переход (трансферт) от объекта к знанию в смысле корреспонденции одного к другому, невозможен. Этот «трансферт» надо понимать буквально – как переход в метро, где одна линия (линия развития объектов) пересекается с другой линией (линией развития знания), но сами эти линии – автономны. См. *Latour B. A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence / The Handbook of Science and Technology Studies. MIT PRESS. 2008. P. 83-112.*

объекта определения и одновременно используем в качестве средства этого определения, и перформативно получаем его же в результате определения?

При этом любое определение знания сталкивается с проблемой его отграничения от не-знания: *есть ли что-либо вокруг нас, с чем мы имеем контакт, но что в том или ином смысле не является знанием и может быть отличено от него как некая среда или фон, которые мы можем рассмотреть как более общее феноменальное (родовое) основание знания, в которое последнее бы входило как «один из» элементов наряду с чем-то, что знанием не является?* Можем ли мы сравнить то, что есть, с тем, что мы знаем? И какие тогда у нас могут быть основания сравнения?

Но может изменить подход? Может быть, стоит изначально ориентироваться на какие-то житейские ситуации и интуиции, на примеры живой коммуникации, и фиксируя взаимное понимание или непонимание, удачные примеры ориентации в нашей повседневном мире, попытаться исходя из самой коммуникативной эмпирии поставить вопросы о знании и истине. И нельзя сказать, что таких попыток не предпринималось.

Вопрос о знании знания

Крошечная двухстраничная статья Эдмунда Геттиера¹²¹ (которую, впрочем, можно было бы сократить вдвое без большого ущерба для концепции) разрушила ряд базовых и интуитивно понятных представлений о знании. Оказалось, что *обоснованности суждения* (наличия доказательств или свидетельств в его пользу), *субъективной уверенности* в нем (полагания) и *истинности* данного суждения уже недостаточно для того, чтобы признавать его знанием.

Критика традиционного понятия знания¹²², в простейшей форме вытекает из вопроса: что мы *знаем*, когда утверждаем «*S* знает *p*»? Здесь этот вопрос о знании принимает самореференциальную форму, а наше *знание о знании* других сводится к традиционному набору из трех элементов, а именно:

1. мы знаем, что *p* – истинно
2. мы знаем, что *S* полагает, что *p*.
3. мы знаем, что *S* располагает свидетельствами в пользу *p*.

Если все *три вида знания* действительно наличествуют, мы знаем и то, что *S* знает *p*. (Оставим вопрос о том, что все три вида предварительного «обосновывающего» знания

¹²¹Edmund Gettier. Is justified true belief True Belief Knowledge? // Analysis. 1963. P. 121-122.

¹²² Геттиер, как известно, базируется на понятии знания Чизома и Айера: *Chisholm R. Theory of knowledge*. N.J.: 1966.

в свою очередь потребуют такого же трехэтапного самообоснования). Эта схема, по видимости, была разрушена мысленным экспериментом Геттиера: Смит и Джонс претендуют на занятие вакантной должности. Смит высказывает суждение *p*: «должность получит тот, у кого в кармане 10 пенсов». Знание именно этого суждения далее оказывается под вопросом. Смит располагает рядом свидетельств в пользу этого суждения: знает, что Джонс имеет 10 пенсов и к нему благоволит начальство. И, в конце концов, действительно, должность получает «человек, у которого в кармане 10 пенсов», но только этот человек ... сам Смит, который, как оказалось, не ведая об этом, в свою очередь имел в кармане десять пенсов.

Итак, сформулированное Смитом суждение *p*, во-первых, *соответствует* действительности (*истина как признак знания*), во-вторых, Смит верит в него (*убеждение как признак знания*) и имеет веские на то основания (*обоснованность как признак знания*). Однако, несмотря на все наличествующие признаки, *действительное содержание суждения p* ему *неизвестно*, ведь оно имеет ввиду совсем *другого* человека, и кроме того, Смит не знает, что у него в кармане тоже есть 10 пенсов. Этот парадокс мы назовем парадоксом *знания неизвестного истины*.¹²³

Казалось бы, причина парадокса *утверждения неизвестной истины* здесь лежит на поверхности: суждение *p* имеет дело с неким *недоопределенным* референтом – *человек с десятью пенсами в кармане*. Он выступает одновременно и как переменная (просто человек), и как «колеблющаяся» константа (то конкретный Смит, то конкретный Джонс). И тем не менее, традиционная трехэлементная схема понятия знания показалась некорректной. Но в чем ее некорректность, было не совсем ясно. Очевидно, например, что суждение *p* является *некорректным обобщением конкретного случая* Джонса с его 10 пенсами в кармане. Ведь оно индуктивно выводилось из случая Джонса, а в результате – ошибочно – было применено к случаю Смита. Некорректным это обобщение можно назвать потому, что в действительности не было веских оснований вводить Смита в число успешных кандидатов на получение должности и ставить его в один таксономический ряд с Джонсом.

Однако такой вывод о корректности или некорректности вывода можно сделать на основе тех или постулатов или *правил рациональности*. И в зависимости от тех или иных правил, прямо зависящих, прежде всего, от *наблюдательных перспектив* высказывающих лиц и *времени* сделанных высказываний, само суждение может принимать разные значения – корректности или некорректности. Так, обобщение *p* и включение в него

¹²³ Для некоторых версий социологии знания этот парадокс является конститутивным для их понимания науки. Ведь *научная проблема* собственно и представляет парадный пример такого *знания незнания*. См. Луман Н. Наука как система. В переводе А.Ю. Антоновского. М. Логос. 2015.

случая Смита будет некорректным с точки зрения Смита, но корректным с точки зрения *некоторого более компетентного наблюдателя*, которому, скажем, известно несколько больше о предпочтениях начальства, и даже с точки зрения самого Смита, но в более поздний момент времени, когда выбор кандидата уже совершен. (Здесь мы не будем дальше развивать этот тезис, сделаем это ниже, а пока лишь зафиксируем необходимость фиксации *пространственно-временных и личностно-коллективных (социальных) характеристик ситуации* или суждения об этой ситуации как наиболее существенных для выявления истинностного статуса этого суждения. Одно и то же суждение, очевидно, принимает разные значения корректности и некорректности в зависимости от определения «пространственно-временных» и коллективно-личностных координат» ситуации).¹²⁴

Чтобы устранить такую парадоксальность возможного *знания неизвестной истины* приходится модернизировать трехэлементную схему признаков знания, а значит включать в правила рациональности вывода еще один – четвертый – вид необходимого «знания» о том, что знают другие. О чем же это знание? Назовем этот четвертый элемент *знанием индуктивной погрешности*.

Отныне, по мнению некоторых теоретиков,¹²⁵ схема должна включить некоторое дополнение, получающее вид – поначалу, представляющегося избыточным – метаполагания о *возможной некорректности* некоторого высказывания или убеждения. Должно учитываться – обычно не рефлекслируемое в процессе самого высказывания – свойство предшествующего ему вывода или обобщения, наводящее на итоговое высказывание. В данном случае приходится, например, учитывать то обстоятельство, что обобщение, сделанное применительно к Джонсу, пусть и истинное по отношению к Смигу, из случая Джонса не вытекает. Оно отвечало правилам индуктивного вывода, было весьма вероятным, но в *некотором будущем* оказалось ложным по отношению к Джонсу.

Итак, теперь чтобы то или иное суждение получило статус знания, следует учитывать (опровергать и отклонять) некоторое мета-утверждение о том, что некоторое убеждение может оказаться неверным по отношению к определенному числу ситуаций, к определенным *пространственно-временным* отрезкам и некоторым *личностям* в них включенным.

В рамках «пробабалистической» или «беспредпосылочно-индуктивной» рациональности, которая требовала принятия вывода «Джонс имеет 10 пенсов,

¹²⁴ Могут возразить, что уж математические законы явно верны во всех возможных мирах.

¹²⁵ Klein P. A proposed definition of propositional knowledge. // The journal of philosophy, № 16, 1971. p. 471-82; Harman G.Thought. Princeton University Press. 1973.

следовательно, Джонс назначается на должность» и, как следствие, истинности p , возникает парадокс «знания неизвестной истины». В рамках иного типа рациональности (назовем ее самореференциальной) требуется учет неочевидных возможностей, учета возможных ошибок индуктивного вывода, учета возможной иной – более поздней или более компетентной – инстанции наблюдения, которой известно больше (а желательно – все).

Иными словами, если бы был добавлен еще один, четвертый, признак знания, и мы бы знали о некорректности данной подстановки случая Смита вместо случая Джонса в обобщающее высказывание p , то парадокс знания неизвестной истины не возникал бы.

Этот подход дополнения трехэлементного понятия знания его *четвертым элементом* опробовался многократно. Ряд теоретиков поспешили дополнить понятие знания требованием определять степень *нормальности* ситуации, в которой осуществлено высказывание, а значит – всякий раз в определении знания учитывать то, что адекватность высказывания не является *случайным совпадением* с реальным положением дел: так, если человек взглянув на часы, показывающие полдень, констатирует «сейчас - полдень» (p) является «неслучайно-истинным», если часы идут (нормальная ситуация), и случайно истинным, если они остановились ровно 24 часа назад (ненормальная ситуация).¹²⁶

Питер Клэйн предлагает ввести в понятие знания соответствующий элемент¹²⁷, благодаря которому это понятие принимает следующий вид: 1. мы знаем, что p – истинно; 2. мы знаем, что S убежден, что p ; 3. мы знаем, что S располагает свидетельствами в пользу p ; но кроме того: 4. мы знаем и то, что *не существует истинного суждения, такого, что если бы S обладал соответствующими свидетельствами в его пользу в момент времени t_1 , p перестало бы казаться S обоснованным*. Так, если бы стало известно, что часы стоят, утверждение о том, что «сейчас полдень» (p), перестало бы казаться для S обоснованным, пусть даже оно и является истинным. И действительно, это добавление элемента кажется тривиальным, и удивляет лишь то, почему оно не было осуществлено ранее.

Итак, в полном соответствии с законом обратного отношения содержания понятия и его объема – отныне из знания *должны быть исключены истинные пропозиции*, к которым исследователь пришел в результате случайного совпадения с реальным

¹²⁶ «Чрезвычайно легко – пишет Б. Рассел – дать примеры истинных полаганий, не являющихся знанием. Если случится так, что человек посмотрит на часы в момент, когда они показывают действительное время, то он формулирует себе истинное полагание об этом времени дня, но нельзя утверждать, что он обладает знанием. “Propositional Knowledge” p. 33.

¹²⁷ Klein P. A proposed definition of propositional knowledge. // The journal of philosophy, № 16, 1971. p. 471-82;

положением дел¹²⁸, и именно благодаря этому исключению понятие знания обогащается входящим в него новым элементом. Содержание понятия знания увеличилось, а объем (количество истинных пропозиций, входящих в знание) уменьшилось. Необходимость такого «обогащения» понятия знания представляется интуитивно понятной, и почти очевидной. Однако это «новое»¹²⁹ понимание знания, привнесло с собой и ряд поначалу не явных, но эпистемически чрезвычайно важных импликаций: во-первых, оно существенно смещает приоритеты среди элементов понятия знания, требует большей обоснованности (больших доказательств у S в пользу его суждений), а *истинность* знания низводит с пьедестала ключевого аргумента в пользу наличия знания как такового у того, кто его формулирует. Тем самым, по крайней мере, аналитически, приходится признавать уже далеко не столь тривиальное и очевидное следствие, а именно то обстоятельство, что истина (знания) и знание (истины) в каком-то смысле *не совпадают*; во-вторых, более понятным становится роль фактора *пространственно-временного и личностного контекста* высказывания в процессе акцептации его в качестве знания. (Под «личностными» характеристиками подразумевается приписывание высказывания тому или иному наблюдателю, т.е. то обстоятельство, что в устах разных наблюдателей одно и то же высказывание получает разные значения «знания» или «незнания»); в-третьих, возникает необходимость прояснения проблема *контекста* знания, т.е. проблема определения инстанции, выносящей суждения по поводу суждений и знаний другого. Кто собственно есть этот «мы», знающий нечто, что знает или не знает другой?

Рассмотрим эти проблемы более обстоятельно. Идея *дивергенции знания и истины* далеко не нова, на что указывает выше приведенный фрагмент из «Менона». Но можем ли мы, хотя бы предварительно более четко сформулировать отношение знания и истины исходя из указанной аналитической четырех-элементной модели знания. Пока представляется более менее ясным и логически необходимым, что, тот, кто обладает знанием, обладает и истинной (в том смысле, что способен высказывать истинные мнения). Однако обратное отношение уже теряет статус логической необходимости. Уже просто потому, что истинность – как элемент знания – входит в множество из четырех элементов, конститутивных для понятия знания. Если мы знаем, что сталкиваемся со «знанием», его истинность предрешена; если же мы знаем, что сталкиваемся с истиной, – это лишь указывает на вероятность (часто и это очень важно – *будущую* вероятность) того, что она может явиться и знанием (т.е. получить дополнительное обоснование, и

¹²⁸ Дискуссии о значении н. акцидентальных (т.е. случайно-истинных) генерализаций в научном знании см.: Braithwaite B. Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law in Science. Cambridge 1968; Nagel E. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. 1979.

¹²⁹ О степени его «новизны», - вспомним выше приведенный фрагмент из «Менона» - судить читателю.

укорениться в психике познающего в виде его субъективной уверенности в нем, как «убеждение»). *Знание* оказывается намного более претенциозным понятием, нежели понятие истинности этого знания. Его дополнение четвертым элементом, принципом исключения «случайного совпадения» как раз и вскрывает широту и принципиальную включенность этого понятия в более широкий – пространственно-временной и личностный контекст.

*Здесь мы даем предварительный ответ на вопрос о том, где в знании проявляется его социальный характер. Именно на этот характер знания указывает означенный четвертый признак его понятия. Раскрыть внутреннее содержание этого элемента одновременно означало бы и рассмотреть понятия социального пространства, времени и социальности в их функции ориентационных схем в той или иной ситуации. Именно эти схемы определяют контекст всего остального знания о мире и возможности вычленения или отсечения «ненормальных» ситуаций; и в том числе той, где часы, показывая правильное время, на самом деле стоят ровно 24 часа (в данном случае лишь введение временной дистинкции *прошлое/будущее*, а значит – представление о «современности», о «настоящем» как границе между прошлым и будущим только и позволят выводить это «случайно-истинное» суждение за пределы множества «знаемых» суждений). Другими словами, социальность знания проявляется там, где встает необходимость принятия решения о том, что следует отсечь в качестве некорректных форм знания. Сам предметный мир не может стать такой инстанцией или критерием, ведь он как раз свидетельствует в пользу истинности исключаемых форм знания.*¹³⁰

Но выявление социальной детерминированности истины требует решения и вопроса о том, какая познающая инстанция осуществляет принцип *исключения случайного совпадения истинного высказывания и свойств предмета высказывания* (и одновременно, исключения из области известного целого класса истинных пропозиций). Эту инстанцию мы можем назвать *наблюдателем второго порядка*, который словно осуществляет селекцию (всегда ориентируясь на свои собственные схемы отбора) одних суждений, считая их знанием, и отбрасывает другие, как не являющиеся знанием наблюдаемого наблюдателя¹³¹. Появление фигуры наблюдателя наблюдателя делает возможным

¹³⁰ Применительно к научному знанию такой *момент перетекания* в оценке знания от знания, квалифицируемого предметно (истинное), к знанию, определяемому социально (коллективно), происходит в ситуации публикации, если, например, она *отклоняется* на редколлегии в силу того, что заявленные результаты исследования (предметное) выходят за пределы того, что обосновано и доказано.

¹³¹ В процессе общественной дифференциации и истинностная референция знания теряет связь с другими формами его символического представления, с его обозначениями как «справедливого», «запретного», «приятного», «опасного», «женского», «старинного», «тайного», «запредельного» etc., свойственными дописанным обществам. И это обособление истины как результат появления особого наблюдателя, дистанцирующего как от наблюдателя первого порядка, так и от объекта наблюдения первого наблюдателя, описывает Луман: «Для непосредственного наблюдателя знание – всегда истинное знание, а в противоположном случае – вообще не знание. Ему известен лишь один вид знания. Для него и только для него высказывание «X существует» и «истинно, что X существует» логически эквивалентны. Если

дифференциацию истины и знания. То, что является истинной и знанием для наблюдателя второго порядка, является лишь «истинным мнением» (в платоновском смысле) или «случайным совпадением» наблюдаемого наблюдателя. Рассмотрим это более детально.

Личностный и пространственно-временной контекст истинных высказываний

Определяющее значение личностно-коллективного и пространственно-временного контекста для фиксации истинности суждений получило формальную разработку в радикальном интерпретационизме Дональда Дэвидсона. Интерпретационистский подход настаивает на том, что базисными ориентирами для определения истинности – и по совместительству базовыми эпистемическими понятиями – оказываются категории *пространства, времени, персональности* (и коррелятивные им дистинкции – близкого/далекого, прошлого/будущего, Я/Другого).

«*Es regnet*» истинно на немецком языке, если произносится *некоторым X*, во время *T*, если и только если идет дождь *рядом с X* во время *T*.»¹³². Еще до более глубокого анализа структуры пространства, времени и социальности очевидно, что всякое продолжение коммуникации возможно только через фиксацию некоторого итога предшествующей коммуникации. Но осуществимо, лишь при фиксировании тех или иных значений (в пространственном, временном и социальном измерениях коммуникации) описываемых в коммуникации событий.

Дэвидсон ставит вопрос о том, какое *знание* необходимо для истинностной интерпретации произнесенного. Чтобы проинтерпретировать высказывания, приписать ему смысл, следует указать условия его истинности, т.е. фактически уточнить *где, когда, применительно к кому* некоторое данное выражение может быть истинным (получить определенность, осмысленность, интерпретацию).

Временной контекст и вероятность знания

Понятие временного контекста (измерения), определяющего истинность и знание мы обнаруживаем в подходе Х. Хармана. В знание должны входить лишь достоверные

захотеть проверить, является ли его знание истинным знанием, нужно отойти и понаблюдать с дистанции, а именно, с помощью различения *истинное/ложное*. Для этого наблюдателя второго порядка уже существует истинное и не-истинное знание. У наблюдателя первого порядка еще отсутствует возможность как-то обозначить неистинное знание. ... Лишь на уровне наблюдения второго порядка полностью вступает в свои права дифференциальный код истинное/неистинное, лишь на этом уровне может от-дифференцироваться система науки. Эта система все свои операции сводит затем к этому различению». Luhmann N. *Wissenschaft der Gesellschaft*. 1992, S.170.

¹³² Donald Davidson. *Inquiries into Truth and Interpretation*. Oxford. 1984

суждения, но в большинстве случаев мы имеем дело лишь с тем, что является в высокой степени вероятным, в особенности, когда речь идет о весьма проблематичном знании и статусе будущих событий. Всякое «убеждение» как правило, предполагает ту или иную степень вероятности развития событий, «содержащихся» в этом убеждении. Поэтому рациональность, с одной стороны, состоит в следовании индуктивным правилам признания наиболее вероятного развития событий: так, если вероятность проигрыша в лотерею высока, то рационально полагать так о *каждом* участнике, несмотря на то, что *один* из них наверняка выиграет. Парадокс состоит в том, что рациональность требует применительно к любому из множества игроков руководствоваться принципом «он проиграет», отказываясь при этом от *вытекающего* из этого принципа предложения «проиграют все». В этом случае следовать фактически ложному предположению «все участники лотереи проиграют» представляется абсолютно рациональным, и приписывание данному неистинному высказыванию статуса знания выглядит оправданным.

Чтобы избавиться от этого парадокса, приходится вводить самосодержащие положения: *«следует руководствоваться тем, что всякий участник проиграет, но это суждение не является достоверным»*. Мы впускаем в число убеждений еще одно – убеждение об убеждении. Речь здесь идет об уже совсем иной – самореференциальной – рациональности, которая изначально релятивирует достоверность всех остальных «полаганий» знающего за счет введения следующего предложения: «хотя бы одно из полаганий будет ложным» (если никакое другое – то само это последнее, отчего парадокс лотереи на первом уровне исчезает, но вновь появляется на уровне второго порядка, т.к. возникает случай, когда метаполагание оказывается и истинным, и ложным, т.к. указывает на себя как на ложное, подтверждая тем самым свою истинность).

Итак, все дело в процедуре вероятностного вывода. Оказывается, в вероятностном характере вывода и заключена причина *расхождения знания и истинности*. Ведь выводимая формула – чрезвычайно вероятна, и в качестве знания с *утилитарно-прагматической* точки зрения вполне приемлема, пусть все-таки и ошибочна, несмотря на то, что ее истинностное значение (*случайно?*) почти всегда подтверждается практикой.

Итак, одно и то же высказывание («все участники лотереи проиграют») мы признаем знанием с утилитаристкой, прагматической, повседневно-мировой точки зрения, поскольку оно действительно служит нам прагматическим ориентиром в нашей повседневной жизни, но не признаем его знанием в строгом, логическом смысле этого слова. Различием же в противоположных смыслах этого в себе идентичного высказывания

можно пренебречь, если представить его в вероятностном виде – «все участники лотерии, скорее всего, проиграют» или «каждый участник лотерии вероятнее всего проиграет».

Перед тем как предложить критику вероятностного решения парадокса неизвестной истины, рассмотрим похожую ситуацию с другим вариантом парадокса Геттиера. Петр уверяет Екатерину в том, что у него есть машина «Форд», показывая ей соответствующие документы и катая ее по городу, хотя на самом деле уже продал этот автомобиль. Однако вывод Екатерины «мой друг имеет машину «Форд»» - истинно, поскольку другой ее друг, Александр, в этот самый момент приобрел автомобиль той же самой модели. Истинное высказывание в очередной раз оказывается «неизвестным» для высказывающегося.

Спасти традиционное понятие знание Харман в этом случае полагает так. Поскольку Екатерина видела Петра в «Форде» и документы на автомобиль, то (при осуществлении ею *«пробабиллистической акцептации знания»*) истинный вывод «мой друг имеет машину форд» фактически эквивалентен другому ее полаганию: «Петр, *вероятно, мог бы* иметь автомобиль «Форд»». Это, очевидно, значительно увеличивает число случаев, когда бы это высказывание было бы истинным¹³³. В таком случае, это пробабиллистическое предположение с полным основанием наводило бы на обобщение «один из друзей Екатерины может иметь «Форд», который обобщал бы и случай Александра с «Фордом», и случай Петра без «Форда».

Итак, Екатерина в этом случае имеет обоснованное, истинное полагание, а трехэлементное понятие знания торжественно спасено¹³⁴.

Проблема лишь в том, что Екатерина как раз и *не делает пробабиллистических выводов*. Ее собственное обобщение гораздо сильнее в логическом смысле и подразумевает действительное владение действительным «Фордом» действительным другом. Ее убеждение оказывается эквивалентным указанному вероятностному выводу лишь с точки зрения наблюдателя второго порядка, а сама она имеет дело с конкретной ситуацией и соответственно – с меньшим числом случаев и незначительным сектором наблюдательного обзора.

¹³³ Но не является тавтологией (аналитическим суждением). Оно было бы истинным, если бы у Петра не было автомобиля (и таковым является), но было бы ложным, если бы Петр жил там, где вообще не было автомобилей «Форд» (пространственный контекст), или, когда они еще не выпускались именно тогда (временной контекст), или если он лично предпочитает немецкие автомобили (личностный контекст).

¹³⁴ Другой подход, призванный спасти утраченную неразрывность знания и истинность знания, представлен каузальной теорией знания И.Голдмана. Так мы действительно знаем, что действительно имело место автокатастрофа лишь в том случае, если этот инцидент через наши органы чувств каузально воздействовал на наше полагание о том, что имела место автокатастрофа. Если же мы что-то помним, следовательно, должна существовать каузальная цепь от прошлого вспоминаемого события к самому воспоминанию. В случае же полагания Екатерины о том, что «Форд» принадлежит Петру, такой причинной связи нет. Свидетельства в пользу владения «Фордом» Петром каузально не связаны с предположением «один из друзей владеет «Фордом»». Такое предположение могло бы вытекать из факта владения «Фордом» Александром, но такового свидетельства у Екатерины как раз и не имеется.

В появлении парадокса формулирования Екатериной неизвестной ей истины виновно расхождение между *личностным, индивидуальным* полаганием или убеждением и *языком*, словно получающим автономию от некоторой личной перспективы наблюдения. Здесь мы имеем дело с дивергенцией между *замыкающимся* на случае Петра характером личного убеждения или полагания Екатерины (где это ее полагание по сути является константой, а вовсе не обобщающей переменной) и *языковым* характером ее высказывания, где само слово (оказывающееся достоянием не только Екатерины как наблюдателя первого порядка, но и всех остальных наблюдателей) делает возможным распространение случая Петра на случай Александра.

Говоря другими словами, за появление данного парадокса отвечает дифференция между конкретным личным переживанием ситуации из некоторого индивидуального угла зрения и обобщающий силой языка, в котром высказывание «мой друг владеет машиной Форд» не требует референции к конкретным «другу» и «машине Форд» . (Этот ситуация отлична схвачена в теоретических дистинкциях коммуникативной теории: *переживание/высказывание*, или эквивалентные различия *Я/Другой, сознание/коммуникация*). Но этот личностный контекст высказывания Екатерины может учесть лишь наблюдатель второго порядка.

Различие между *истинностью* и *знанием* некоторой ситуации здесь возникает потому, что *применительно к Екатерине* ее – тяготеющее к конкретности ситуации данного «Форда» и данного человека – полагание не является истинным, как бы она в нем не была убеждена; и в то же время это высказывание оказывается истинным для некоторого абстрактного наблюдателя, способного увидеть то, что не доступно наблюдаемому наблюдателю.

Екатерина не видит того, что она чего-то не видит, а именно того, что переменные («Форд», «друг») не пробегают конкретные константы ее жизненной ситуации. И прежде всего ей не видно различий между истиной ее высказывания (именно в силу его языковой, обобщающей формы) и ее конкретным знанием о Петре и его «Форде». Но лишь наблюдателю наблюдателя становится очевидным такое расхождение, поскольку лишь ему открывается больший сектор обзора. Ведь он знает и то, что знает, и то, что не знает наблюдатель первого порядка (Екатерина).

Мы вернулись к итоговому тезису. В полагании о чужом полагании знание и истинность этого знания допускают расхождения.

Выше мы рассмотрели в общем виде трансформацию коммуникативной формы *истина/ложь*, которая в современной коммуникации квалифицирует знание, распределяя его по двум указанным значениям. И мы выделили контексты или наблюдательные

перспективы, в которых возможно расхождения между – представляющимися идентичными – знанием и истиной. Но как обстоит дело с самим знанием? Какую роль в понимании научного знания играет его коммуникативная природа? Должно ли знание рассматриваться как *индивидуальное* достижение или его также следует рассматривать в *системно-коммуникативной перспективе*? К этому вопросу мы обратимся ниже – в третьем параграфе данной главы.

Основные итоги и выводы второго параграфа

В данном параграфе было обоснован тезис, что социальный характер истины не снимается ее редукцией к обсуждению общности переживаний. В процессе анализа парадокса Геттиера («знания неизвестной истины») было предложено дополнить критериальные признаки понятия знания особым свойством – «социального характера знания». При этом нами утверждается, что социальность знания проявляется в особом, дополнительном его признаке, призванном дополнить такие традиционные характеристики как истинность, убежденность, обоснованность. Данный признак требует учитывать контекст высказывания, т.е. то обстоятельство, что некоторое суждение может оказаться неверным по отношению к определенному числу ситуаций, к определенным пространственно-временным отрезкам и некоторым наблюдателям. Мы показали, что при анализе претендующего на статус знания утверждения следует допускать допустить возможность существования разных наблюдателей, в перспективе которых одно и то же суждение может оказаться как корректной, так и некорректной формой знания.

Параграф третий: о социальности знания и возможности его определения

Должен ли вопрос о том, что такое познание являться предметом эпистемологии или теории познания? С одной стороны, это тривиальный вопрос, и ответ на него очевиден. А чем же еще помимо знания и или познания занимается эпистемология? Но отойдем в сторону и посмотрим на расстоянии – сравним с другими дисциплинами. Начнем издали: многие полагают, что, например, философия имеет своим предметом не только мир в его универсальных параметрах, но и... саму философию. Здесь трудно избавиться от некоторой неловкости. И речь здесь не только об очевидном философском самолюбовании и нарциссизме. Философии ведь приходится отвечать на требование легитимации – как перед налогоплательщиком, в конечном счете, оплачивающим

философские проекты, так и перед другими учеными, с которыми философия конкурирует не только за финансирование, но и не в последнюю очередь за время и внимание читателя.

Как в этом случае противостоять произволу исследователя? Ведь если в предмет дисциплины входит и сама изучающая предмет дисциплина, не может быть никаких ограничителей в исследовательских целях, в релевантности отбора материала: все то, на что обращает внимание философ, в конечном счете, и оправдывает исследовательский интерес. Но оставим философию. В отношении иных, менее «проблемных» научных дисциплин такая *самореференция* представляется немыслимой. Очевидно, например, что сама физика как научная дисциплина не является предметом физики. Последняя выстраивает теории о мире, а вовсе не теории о теориях о мире. Не кажется ли в этом отношении странным то обстоятельство, что эпистемология (теории знания) оказывается дисциплиной особого рода – теорией знания, имеющей своим предметом теорию знания? И не в этой ли самореференции кроится в высшей степени скандальное для эпистемологии обстоятельство, что в рамках этой дисциплины до сих пор не было предложено полного и одновременно непротиворечивого понятия знания?

Несомненно, и физика не всегда имела достаточно полного (с точки зрения современности) представления о природе своих феноменов. И все же границы физических явлений были относительно жестко определены. Физики могли не знать о том, что (структурно или на ненаблюдаемом микроуровне) представляет собой электричество, но на феноменальном макроуровне воспринимали его относительно однозначно: вот - молния, а вот - электрический заряд или электрический разряд. Можно было считать электричество чем угодно, даже своего рода жидкостью, перетекающей от заряженного к незаряженному, но само явление электричества было относительно жестко определено.

Казалось, что так обстояло дело и с эпистемологией. Само понимание знания не представлялось существенной проблемой. Лишь границы познавательных возможностей казались не достаточно точно обрисованными, и с этим связывалась проблема непосредственного доступа к реальности. (И если такой доступ признавался, то оставалось решить вопрос приоритетов: чувственное или рациональное, разум или восприятие конкурировали за статус критерия истинности или знания некоторого утверждения.) Но любое – и реалистическое, и антиреалистическое решение – давало возможность работы со знанием. И априорное, и апостериорное знание оставалось знанием.

Скандал разразился вместе с парадоксами Геттиера. Знание утратило свою очевидную пред-данность именно на феноменальном уровне. Исчезла возможность просто указать на знание: вот оно - передо мной! Ранее к знанию можно было относиться

как любому интересующему исследователя явлению мира, которое предварительно, пусть и нечетко предналичествует в некотором локальном пространстве и времени и именно поэтому может находиться в фокусе исследовательского интереса. И исследование ученого как раз и состояло в уточнении уже относительно жестко ранее определенного феномена: оставалось лишь выяснить его предпосылки и факторы, внутреннюю структуру, осуществить его формальный и сравнительный анализ, исследовать его генезис и динамику, выявить его регулярные проявления – как в отдельности, так и в связях с другими феноменами, т.е. провести экспликацию того, что когда-то на метафизическом языке обозначали как сущность явления.

Однако именно парадоксы Геттиера показали, что эпистемология пока еще не может притязать на статус объектно-определенной, и в этом смысле – научной, дисциплины. В этом смысле она уподобляется теологии, поскольку и сам предмет анализа в ней оказывается под вопросом, – ведь он, как выяснялось, не получил *даже и предварительного* определения.

Очевидно, что такая проблематичность понятия знания ставит под вопрос и саму реальность знания. Не потому ли так сложно сформулировать его всеохватывающее понятие, что у него отсутствует единый коррелят в реальном мире. Может, и вообще не осуществляется единого процесса познания (и как следствие – отсутствует и общее понятие для знаний и познаний), а есть лишь множество слабо связанных когнитивных феноменов, которые лишь в силу несовершенных, неразвитых познавательных способностей выглядят каким-то единым познавательным процессом. Логично было бы предположить, что именно размытость самого феномена познания сказывается на неопределенности его понятия.

Поэтому в нашей работе мы, в конечном счете, ставим вопрос не только о понятии, но и о *целостности* феномена знания, а значит – о существеннейшей предпосылке эпистемологии как научной дисциплины и о том, на что все-таки она может притязать.¹³⁵

Предварительная языковая типология «знания»

И все-таки, прежде чем приступить к проблеме определения феномена знания, приходится забежать вперед и уже на этом этапе ставить вопрос о его типологии, о формах знания. Именно с этого обычно начинается дискуссия, ведь даже если знание как предмет разговора еще не определено, о чем-то мы все-таки уже говорим.

¹³⁵ Мы имеем ввиду конечно минимальные притязания на научность, в первую очередь притязание на «непротиворечивость и полноту» в определении предмета. Оно должно учитывать все формы знания, но при этом не быть самопротиворечивым в своих признаках.

Несмотря на все богатство возможных типологий - исключительно гипотетически и не выдвигая никаких для этого оснований – сведем их к двум фундаментальным типам, к (практическому) *знанию-как* и к (пропозициональному или рефлексивному) *знанию-что*. *Знание-как* в свою очередь можно подразделить на «знание, *как* что-то делается» и «знание, *как* что-то чувствуется». Дадим для начала примерную, не претендующую на строгость, феноменальную типологию¹³⁶ видов знания и будем использовать ее как базис для анализа.

Допустим, что Александр знает, *что* Дарвин предложил эволюционную теорию; Петр знает (кого?) Людмилу; Катерина знает, *как* чувствуется боль; Илья знает, как построить дом; Татьяна знает, *где* находится Алушта; Лиана знает того, *кто* не сдал отчет; Людмила знает, *что* сегодня идет снег. Очевидно, что такая произвольная выборка обеспечивается одним лишь словоупотреблением словечка «знать» в естественном языке. Такое перечисление «языковых игр», где присутствует переменная естественного языка «знать» дает лишь видимость понимания того, что есть знание. Ведь можно произвольно убирать и добавлять любые конструкции такого знания и даже «знать, что ничего не знаешь».

Произвольность такого метода анализа знания становится очевидной, как только возникает вопрос о том, что же объединяет такие «сигнификаты» слова «знания». Ведь не случайно же все эти «области» охватываются одним словом. И если они объединены, то во всех этих сферах активности возможно есть нечто глубинное, базовое, не сводимое ни к одному из «знаний». И именно этот базис требует эскпликации. Или же один из типов более фундаментален, а остальные могут тем или иным способом редуцироваться к другому? Является ли знание лишь - бессознательно или как-то неявно заключенным – соглашением? Существует ли некая «традиция», в соответствии с которой словечко «знает» применяется во всех этих случаях и, беря на себя функцию переменной, пробегает самые разные случаи, но в самих этих случаях, в описываемой этим словом реальности, нет ничего общего, что оправдывало бы применение одного и того же термина при более строгом анализе? Или же сама структура реальности принуждает нас пользоваться вполне определенным понятием знания, а все остальное считать чем-то иным, скажем, мнением?

На первом шаге анализа приходится отказываться от решения всех этих многочисленных вопросов, и осуществлять произвольный шаг, - в качестве первого и предварительного ограничения осуществим произвольную редукцию всего этого

¹³⁶ См. дискуссию посвященную понятию знания: *Никифоров А.Л.* Анализ понятия «знание»: подходы и проблемы; *Лекторский В. А.* О проблеме знания; *Порус В. Н.* Теория «сходства» против «лингвистического поворота», или Блуждание в Хэмптон-Кортском лабиринте; *Касавин И. Т.* Что недостаточно знать о знании; *Вострикова Е. В.* Является ли знание обоснованным высказыванием?; *Куслий П.С.* В защиту психо-лингвистического подхода *Черткова Е. Л.* Тождественны ли понятия «знание» и «истина»? // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3. С. 60-95.

многообразия к *знанию пропозициональному*. Несмотря на ее видимую произвольность, у такой редукции есть основания. Во-первых, возможность такой редукции легко показать и содержательно, и логически. Например, знание кого-то или чего-то, можно понимать как сокращение или символизацию более содержательного знания: как знание суммы или множества пропозиций: в этом смысле «знать Людмилу» – означает знать, *когда* и *где* она родилась, какие статьи опубликовала, *где* живет и *где* работает и т.д. Во-вторых, именно пропозициональное знание доминирует в теоретическом научном познании. И именно оно допускает сопоставление и идентификацию «единиц знания» - предложений. Ведь именно предложения, или пропозициональное знание, обладает не только смыслом (т.е. тем, что делает их понятными), но и референтами, тем, что Фреге называл «значением» - «истиной» или «ложью». Что и позволяет субсумировать их по этому основанию, объединяя истинные предложения в непротиворечивые комплексы или теории.

Именно благодаря наличию значений или «пропозиционального содержания» их можно редуцировать или обобщать, избавляясь от избыточного знания, сводя разные по смыслу предложения к одному – задаваемому значением – основанию: так *утренняя звезда*, как известно, есть *вечерняя звезда*, и как раз потому, что «утренняя звезда есть планета Венера» и «вечерняя звезда есть планета Венера»; обе пропозиции истинны именно потому, что истинной оказывается редуцирующая избыточность высказываний пропозиция - «Венера есть планета». Пропозициональное знание выстраивается, таким образом, в конгломераты и отсекает от себя неистинное и избыточное, поскольку указывает на референцию – на некий объективный мир – область «производителей истинности».

От знания «знания-как» к «знанию-что» - возможен ли переход?

Однако если некоторые виды знания («знание кого-то», «знание, где...» и т.д.) подразумевают *невысказанные* пропозиции и возможность их экспликации, то иные случаи, а именно случаи «знания того, как ощущается боль», «знание того, что значит любить» таковыми латентными или невысказанными пропозициями на первый взгляд не сопровождаются¹³⁷. Так, некий действитель может распоряжаться знанием (знанием

¹³⁷ Конечно, редукция феноменально-данного чувственного знания «знание, что значит чувствовать боль», «видеть красное» к предложениям науки: «свет такой-то длины волны из видимого спектра проецируется на сетчатку, и через глазной нерв поступает в мозг, где интерпретируется как красное, получает значение красного, и затем перекодируется и посылается в специфические части мозга, отвечающие за язык, где запускаются моторные функции, в конечном счете приводящие в движения движение мышцы языка, гортани» и т.д. Такой набор пропозиций, очевидно, не передает самого ощущения, поскольку доступ к феномену имеется только у самого ощущающего, а пропозиции формулируются как безличные предложения с неясным авторством. И именно утрата позиции (индивидуальности доступа) индивидуального реципиента-наблюдателя красного как раз и лежит в основе сомнительности такой редукции уровня

грамматики, того, как строить дом, умением отличать мужское лицо от женского), достигая успеха, но при этом не может его артикулировать в виде пропозиций.

Уже эта рассогласованность впервые демонстрирует *социальный характер* знания, а именно указывает на то обстоятельство, что в том случае, когда сам знающий оказывается неспособным артикулировать знание, это может сделать наблюдатель, воспроизводящий или *описывающий пропозиционально* тот или иной «трудный» алгоритм поведения (как строить дом, как надо плавать, как танцевать, как различать мужское и женское лицо). Такой более компетентный наблюдатель действительно способен воспроизвести алгоритм поведения наблюдаемого человека или предмета, животного организма, механизма – с точки зрения финальных состояний – достижения успеха в строительстве дома или переплывании реки. Важно понимать, что именно чрезвычайная сложность алгоритма для его фактического воспроизведения некоторым актором как раз и препятствует его «языковому» воспроизводству тем же самым актором, но делает возможным его «подробное» языковое или пропозициональное описание неким «плохим танцором», т.е. тем, кто фактически это поведение осуществить не в состоянии, зато способен дать его подробное описание и объяснение.

Пропозициональное знание – это знание познающего наблюдателя, знание наблюдающего за тем, кто *фактически* реализует это знание. Именно из этой сложности описываемого пропозиционально поведенческого алгоритма (сложного танца, сложного акта распознавания – скажем, человеческого лица и т.д.) и вытекает парадокс: «я обладаю знанием, не обладая знанием об этом». И как всякий парадокс, данный парадокс допускает разрешение через различение инстанций знания – знания *первого порядка*, или практического «знания, как» и знания наблюдателя *второго порядка* – «знания, что». В основе этого различения, очевидно, лежит более фундаментальное различение *действия и переживания эффектов действия*. (Это различение мы в нашем исследовании описываем с помощью фундаментально дистинкции коммуникативной теории *действия/переживание*).

Мы обладаем знанием, как правильно действовать и достигать успеха в действии, но не способны совершать другие действия – языковые артикуляции переживаемых нами действий именно *в процессе* достижения этого успеха. (В основании этого различения лежат различения в структуре времени, о чем в данном контексте не можем ничего утверждать за отсутствием такого времени). В каком-то смысле речь идет о различии нерелексивного (квази-животного) действия и его рефлексивного описания. В обоих

индивидуального восприятия к пропозициональному уровню. Хотя, в конечном счете, нет ничего логически невозможного в том, чтобы «забраться» к другому в сознание и «начувствовать» и «напереживать» его переживаний.

случаях речь идет о необходимом для действия знании, однако во втором случае говорится уже о знании второго порядка, о том, что мы должны знать о практическом знании, способствующему нашему деятельному успеху, и должны ли (или как раз не должны!) формулировать пропозициональное знание, чтобы этого успеха достигать¹³⁸.

Во втором случае речь идет о знании, которое мы способны как бы откладывать (для более позднего применения), с тем чтобы эти седименты в конце концов образовывали большие смысловые комплексы («седиментация смысла»¹³⁹).

В ходе реализации практического «знания, как», мы как раз чрезвычайно редко задействуем соответствующее «пропозициональное знание», поскольку оно лишь в редких случаях требует актуализации; причем именно в таких случаях, когда практически необходимое знание как бы отказывает и более не приводит к успеху. Практическая схема действия не предполагает внимания к такому знанию, но именно оно становится содержанием культуры – того, к чему очень редко обращаются, на что не обращают внимания, но что неявным образом сопровождает любое действие¹⁴⁰. В особенности это относится к языковой грамматике. Грамматика – это парадный образец именно того, что не требует эксплицитных формулировок правил даже и в тех случаях, когда произносится грамотная речь. Но именно (культурно-обусловленная) возможность формулировки грамматических правил – словно *вне самой речи* – указывает на особую позицию наблюдения, специализирующуюся на грамотности самой по себе, на знании второго порядка.

Как мы уже заявляли, можно утверждать, что отношение «знания-что» (пропозиционального знания второго порядка) и «знания, как» (нерефлексивного практического знания) воспроизводят отношение сознания и действия. И то, и другое предполагает знание – знание практическое и знание, описывающее эту практику. Оба типа представляют друг для друга более сложные внешние миры. Каждое действие может быть выражено целым набором мыслей о нем и соответствующих пропозиций. И оно провоцирует рефлексию этого действия в сознаниях воспринимающих его. Описание получает эксплицитные формы именно тогда, когда описываемое сталкивается с проблемой – не может осуществляться нерефлексивно. С другой стороны, каждая пропозиция и мысль может подразумевать и вызывать самые разные возможные действия

¹³⁸ Так, Пьер Бурдьё дает отрицательный ответ на этот вопрос. Для определенного габитуса поведения не требуется его пропозиционального (рефлексивного) представления. «Габитус – это продукт истории, продукт индивидуальных и коллективных практик, согласованный со схемами, генерированными историей. Он обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, будучи локализованным в каждом организме в форме схем восприятия, мысли и действия, имеет своей тенденцией гарантировать “корректность” практики и ее консистентность во времени более надежно, нежели любые формальные правила и эксплицитные нормы». Bourdieu P. *Le Sens pratique*. Paris. 1980. P. 278.

¹³⁹ Шюц А. *Смысловая структура повседневного мира*. М. 2003. С. 237.

¹⁴⁰ В социологии такого рода чрезвычайно редко актуализирующееся знание описывается как «культурные образцы» у Т. Парсонса и как «наличное» (в противовес «подручному») в аналитике „Dasein“ М. Хайдеггера.

или их комплексы, которые тем самым оказываются более сложным внешним миром языка.

Пропозициональное знание в лингво-аналитическом подходе и его недостаточность

Но что такое пропозиция? Начиная с Фреге (а фактически – это впервые обосновывается у Абеляра) и Витгенштейна пропозиции понимаются как содержательные свойства предложений, а именно как «мысли» (У Фреге – «Gedanken»¹⁴¹). В этом смысле они наличествуют объективно, хотя и получают свою реализацию или воплощение психологически – в виде представлений (Vorstellungen). Но для того, чтобы обладать *собственным* способом существования, они как раз и не нуждаются в психике или любом другом носителе. Главное состоит в том, что в отличие от представлений (например, воспоминаний о мыслях), объективно наличествующие мысли не обладают каузальной силой, т.е. способностью генерировать действия. Мысли – это некие смыслы предложений. Но предложения, как известно, помимо смысла (мыслей) обладают и значениями: истинностью или ложью.

Предложениям приписывается истина в том случае, если наличествует некое фактическое обстоятельство – «производитель истины», т.е. нечто такое, что просто является таковым («ist der Fall» в «Трактате» у Витгенштейна). Таким образом, пропозиция включает в себя два элемента – «носитель» истинности (мысль) и некоторый факт (положение дел, Sachverhalt) – «производитель истинности». На один «производитель истины» (например, факт наличия планеты Венеры) может приходиться множество утверждений с различающимися по смыслу (но не по значению) мыслями, или «носителями истины». Именно наличие такого производителя редуцирует такие, разные по смыслу, но единые по значению, пропозиции, как например: «Утренняя звезда есть планета» и «Вечерняя звезда есть планета».

Применительно к проблеме определения знания это означает, что (пропозициональное) знание возникает там и тогда, где разные смыслы (мысли) объединяются (или редуцируются как взаимно-избыточные) посредством общего для них значения – истины.

Слабость такого подхода к знанию состоит в том, что пропозициональное понимание знания все-таки является знанием некоего трансцендентального субъекта, а не эмпирически-познающего человека. Фреге, конечно, оставался кантианцем. Соответственно решался и вопрос о введенной им «пропозициональной установке»

¹⁴¹Frege G. Der Gedanke: eine logische Untersuchung. in: Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus I. / Frege G. Logische Untersuchungen. 3. Aufl. 1986

познающего. Согласно Фреге¹⁴², у пропозициональных установок (“indirekte Rede”), к которым относится и установка «знаю, что нечто является таковым или имеет место», в отличие от собственных имен и пропозиций, - не оказалось значения. И следовательно, их нельзя свести (редуцировать) в единство или комплекс через подведение некоторое общего значения, как это можно было сделать с собственными именами и пропозициями.¹⁴³

Первоначальное лингвоаналитическое учение не давало картины знания, поскольку оперировало платонистскими или трансцендентальными понятиями, известными (познаваемыми) вне зависимости от конкретных особенностей знающего лица (наблюдателя). Весь антипсихологизм Фреге был направлен на избавление логики и философии от «представлений», т.е. от конкретных реализаций объективно существующих мыслей в некотором конкретном сознании. Но проблема *знания* как раз и концентрируется вокруг того, как соотносится конкретное представление о чем-то (убеждение) с фактически наличествующей истиной.

В современной эпистемологии утверждается идеал пропозиционального знания, (независимо от описанной нами проблемы редукции других форм знания к высказываниям). Во-первых, в силу того, что лишь пропозициональное знание способно транслироваться в коммуникации. Этой способностью к коммуникативной передаче пропозиции якобы отличаются от «знания, как нечто делается» и от «знания, как нечто чувствуется». Во-вторых, лишь пропозициональное понятие знания подразумевает связь с понятием истины, поскольку «ощущения того, как» не регулируются этим кодом (всегда таковы, каковы они есть) и независимы от внешнемировых референтов), и уж тем более трудно говорить об истинности того или иного действия.¹⁴⁴

¹⁴²Frege G. Begriffsschrift. Berlin. 1879.

¹⁴³ У «утренней звезды» имеется то же значение, что и у «вечерней», и это значение - планета Венера. Поэтому собственные имена, обладая значением и на его основе, оказываясь взаимозаменяемыми, исключают избыточность, а значит, на их основе могут возникать пропозиции, из которых составляются экономичные комплексы знания (теории). В свою очередь, предложение «Утренняя звезда есть Венера», как и предложение «Вечерняя звезда есть Венера», в свою очередь, обладают общим для них значением «истинных», а значит могут сводиться к обобщающей «переменной пропозиции»: «Утренняя звезда есть вечерняя звезда» и исключать избыточность, в свою очередь, генерируя комплексы пропозиций или теории. Однако у «пропозициональных установок», таких как «Петр знает, что утренняя звезда – Венера» и «Петр знает, что вечерняя звезда есть Венера» отсутствует общее для них значение (истинности или ложности), и поэтому пропозициональные установки способны получать лишь (разные) смыслы. Ведь Петр - не всеведущий бог и даже не трансцендентальный субъект, и, следовательно, может и не знать одного из смыслов, приписываемых Венере. Истина пропозициональных установок оказывается зависимой не от *значения* – или «производителя истины», т.е. от астрономического факта, что Венера показывается утром и вечером, но от *интенционала* Венеры, т.е. от того, что подразумевает Петр под Венерой, и от *смысла* собственных имен и пропозиций, но в конечном счете – от *свойств наблюдателя!* От того, различает ли Петр два различных *смысла* «вечерняя звезда» и «утренняя звезда».

¹⁴⁴ Конечно, если не принимать во внимания примечательные теологические теории истины, например, Ансельма или Августина («О граде Божьем», «Против академиков»), где человеческое действие, будучи репрезентированным в высказывании, соотносилось именно со своего рода «строительным планом» Бога, с совокупностью «целей творения». Здесь конечно, человеческое действие, в случае адекватности таковым идеальным целям вполне могло характеризоваться как истинное.

Интересно, однако, что в ряде современных социологических теорий коммуникации на первое место выносятся как раз невозможность передачи пропозиционального контента в ходе коммуникации. Коммуникация пропозиционального знания оказывается вырожденным случаем лишь в рамках научных коммуникаций, тогда как в естественных условиях медиум аналитического познания как раз выключен из сферы актуального наблюдения, а действия и коммуникации осуществляются скорее алгоритмически или габитуально (П.Бурдьё), или в соответствии с ускользающим от наблюдения кодом коммуникации (Н.Луман). Больше того, зачастую коммуницируются именно чувства, настроения, ощущения и в особенности – пропозициональные установки надежды, страхи, угрозы, просьбы, вопросы, но никак не субъектно-предикатные формы высказываний. Именно сами эти установки вполне способны становится содержанием коммуникативных сообщений и выполняют роль пропозиций – мыслей или смысла, извлекаемых в процессе коммуникации.

Стандартная трехэлементность знания - возможна ли редукция?

Со *стандартным* понятием пропозиционального знания (или эпистемы) как *обоснованного истинного убеждения*, мы впервые сталкиваемся еще в античности (в «Меноне» Платона). Стоит заранее оговориться, что стандартное определение всегда имело в виду не только знание, но и нечто противоположное ему, например, *мнение или заблуждение*, но самое главное – некие гипотетические или (еще) неизвестные истины, которые человек вполне себе может позволить *невзначай* сформулировать. Даже если у него и нет для этого достаточно оснований. Поэтому в стандартном определении непременно подразумевалась некая функция отграничения: определение знания должно было отсесть то, *что еще не известно данному конкретному человеку, но с точки зрения какой-то иной познавательной инстанции является истинным*. Понятно, что массивы отсекаемого *истинного*, но еще *неизвестного* знания чрезвычайно велики и разнообразны, но в определении знания приходится его тем или иным способом обозначать. Это включение исключенного знания и является основной проблемой и парадоксом в определении знания, которые будут рассмотрены ниже.

В «Меноне» Платон (Сократ) фактически дает *стандартное* определение знанию:

Сократ: (...) Я имею в виду истинные мнения: они тоже, пока остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра; но только они не хотят долго при нас оставаться, они улетучиваются из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах (т.е. обоснованием—А.А.). А оно и есть, друг мой Менон,

припоминание, как мы с тобой недавно установили. Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано.

Менон. Клянусь Зевсом, Сократ, похоже, что это так, Сократ. Да я и сам говорю это, не то чтобы зная, а скорее предполагая и пользуясь уподоблением. Но вот что правильное мнение и знание - вещи разные, я, кажется, берусь утверждать без всяких уподоблений; ведь если я о чем скажу, что знаю это - а сказал бы я так не о многом, - то уж это я причислю к вещам, которые я действительно знаю.¹⁴⁵

Как можно интерпретировать этот пассаж? Во-первых, здесь утверждается необходимость дополнить правильные (т.е. истинные) убеждения их *обоснованием*. Во-вторых, это обоснование имеет своей задачей некое «связывание» убеждений, что позволило бы их стабилизировать и непроблематично *устойчивым образом воспроизводить* в человеческом общении! В-третьих, в силу достигаемой *устойчивости* (как формы социальности!) знание не просто не совпадает с истиной (правильными мнениями), но и является даже более ценным, чем истина.

Платон, таким образом, впервые формулирует классическое понятие знания как *обоснованного истинного убеждения*! Это формулировка знания, как естественно-понятная и сама по себе и как раз и не требующая обоснования, просуществовала почти 2500 лет и была разрушена мысленным экспериментом Эдмунда Геттиера. Сейчас же мы обратимся к тем проблемам, которые возникали применительно уже к этой господствующей «стандартной модели знания». Так, мы можем задаться рядом вопросов, и прежде всего вопросом о том, почему понятие знания должно ограничиваться именно тремя элементами? Нельзя ли обойтись без убеждения? Без обоснования? Без истинности? И какой – очевидно более широкий – феномен возникнет в силу такой редукции элементов понятия знания?

На первый взгляд это представляется вполне возможным, хотя за это приходится платить определенную цену. В первом случае, отказавшись от *убеждения*, мы остаемся без специфически-индивидуальной когнитивной перспективы (как это имело место у Фреге, который понимает знание, как знание «объективное», которым владеет не конкретный наблюдатель, а трансцендентальный субъект, Бог, или не владеет никто). Во втором случае, отказываясь от *обоснованности*, мы лишаемся – столь важной для Платона – *стабильности* утверждений и, как следствие использования знания в человеческом общении. В третьем случае, т.е. при отказе от *истинности* знания, мы утратили бы необходимую корреляцию или корреспонденцию с внешним миром. В этом случае

¹⁴⁵ Платон. Менон. 97e-98a.

пришлось бы довольствоваться «косвенной речью», замыкающей коммуникацию в области самореференции¹⁴⁶.

Таким образом, мы видим, что во всех случаях отказа от трех базовых элементов понятия знания (убеждения, обоснованности, истинности), мы действительно сталкиваемся с каким-то коррелятом знания, чем-то безусловно осмысленным, информативным, но все-таки не совсем совершенным, законченным, комплексным продуктом деятельности по получению «информации». Информация в таком урезанном смысле могла бы пониматься, как своего рода «нереципированное» знание, как прото-знание, получившее определенность и уже в принципе готовое к его когнитивной переработке (скажем, количество колец в стволе еще не спиленного дерева), но еще не «встретившего» своего рецепциента, своего знающего об этом дереве индивида.

(В скобках заметим, что речь идет именно об *убеждении*, а не о *полагании*, как это часто можно встретить в литературе, именно потому, что убеждение более стабильно, нежели полагание, под которым подразумевается простая фиксация того или иного обстоятельств без твердой уверенности, что дело обстоит именно так, обстояло так раньше и будет обстоять так в дальнейшем.¹⁴⁷ Кроме того, убеждение предполагает специфически-индивидуальную когнитивную перспективу, т.е. попросту говоря, наличие конкретного наблюдателя. Трансцендентальному субъекту, как совокупности всех возможных позиций наблюдения и обобщения всех возможных наблюдателей, убеждений как раз и не требуются. Ведь ему изначально было бы известно все во всех контекстах и исходя из всех наблюдательных перспектив. И поэтому любое полагание у него автоматически превращалось бы в убеждение, а последнее оказывалось бы избыточным. Убеждение, как специфически-индивидуальная когнитивная перспектива, указывает на особый пункт наблюдения, из которого словно простирается некий луч, высвечивающий лишь (определенный этой позицией) фрагмент некоторого мира. Это не абстрактное безличная информация о чем-то, вроде колец на дереве, до того как его спилили и посчитали кольца. Речь идет о функционирующем сознании – наблюдателе, с ограниченными когнитивными способностями, причем именно эта *ограниченность* и делает необходимым наличие убеждения в истинности своего высказывания - как

¹⁴⁶Все, что произносилось бы, интерпретировалось бы с точки зрения *внутренних* установок общения, т.е. в контексте характеристик участников и самого характера обсуждения, но не *внешних* обстоятельств, как это имеет место в пропозициональных установках надежды, страха, угрозы: «я хочу, чтобы», «я надеюсь на то, что», «я боюсь, что ...» и т.д.

¹⁴⁷ Уже применительно к *стабильности* знания возникает проблема – в данном случае пространственно-временного – контекста того или иного познавательного высказывания, как условия его принадлежности тому, что называется знанием. Ниже мы увидим, что именно выбор контекста познавательного высказывания определяет эту самую принадлежность. Если высказывание стабильно – значит, оно является знанием, *пока* оно стабильно, и именно там, где оно рассматривается как стабильное.

компенсации его контингентного - т.е. лишь случайно, лишь время от времени и лишь в некоторой точке пространства – актуализирующегося взгляда на мир.

Итак, *трехэлементная, стандартная структура знания* казалась почти обоснованной и почти очевидной. Но несмотря на таковую очевидность уже до парадоксов Геттиера, разрушивших эту модель, в трех-элементной структуре стандартного понятия знания наметились несообразности и разрывы.

Проблемы стандартного определения знания

Проблемы стандартного определения, могут быть сведены к двум важнейшим. С одной стороны, каждый признак знания (обоснованность, убежденность, истинность) требует еще и *дополнительного знания* о том, что эти признаки фактически наличествуют, и это дополнительное знание, будучи знанием, должно в свою очередь требовать этих признаков, что очевидно ведет в дурную бесконечность.

С другой стороны, оказалось, что одним этим трехэлементным понятием знания нельзя охватить одновременно два различных типа знания – знание *достоверное* и знание *вероятное*. Если знание достоверно, то его обоснованность уже подразумевает и истинность, как и наоборот. Один из признаков оказывается избыточным. Рассмотрим более детально проблемы, с которыми сталкивается уже стандартное определение¹⁴⁸:

А. Случай надежного информанта. Допустим, существует студент, который отвечает на вопросы экзаменатора исключительно правильно, но неуверенно, однако при этом всегда выбирает один из вероятных для себя ответов, которые, в конечном счете, все-таки оказываются правильными. В этом случае становится ясно, что к фактическому знанию, о том, что битва при Калке была 1223 году, должно быть прибавлено и знание о том, что об этом известно с достоверностью, а не предположительно. Лишь это добавочное знание о том, что я знаю, может быть названо убеждением в собственном знании. Но и это знание убежденности в своем знании остается таким же знанием, что требует дополнительного убеждения в убеждении и т.д. Итак, к знанию утверждения добавляется знание об убеждении в этом утверждении.

В. Случай расиста. Утверждение некоего расиста о том, что стрельбу в Вашингтоне устроили афроамериканцы, несмотря на его истинность, вытекает не только из знания фактов, но одновременно и добавочным образом – из предубежденности этого гипотетического расиста. Чтобы бы быть знанием, это утверждение должно быть не только истинным, но и *адекватно* обоснованным. Очевидно, его расовые предрассудки

¹⁴⁸ Примеры позаимствованы из: Thomas Grundmann. Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie. Tübingen. 2008.

таким надежным основанием суждения выступать не могут. Обоснованность, гарантирующая стабильность знания, требует помимо знания о некотором утверждении, еще и знания об основаниях знания некоторого утверждения. Данный расист должен был бы знать еще и те основания, которые заставляют его принимать фактическое положение дел за истину. Без особенного дополнительного знания о причинах и основаниях обоснованного суждения мы лишаемся признака обоснованности, и знание не может быть атрибутировано этому расисту. И здесь, в свою очередь, проявляется дурная бесконечность, ведь знание обоснования требует нового обоснования и нового знания об этом обосновании.

Другими словами, чтобы приписать знание самого простого суждения человеку, приходится приписывать ему *очень много* знания, а именно – и знание о собственной убежденности, и знание о том, что основания являются достаточными и необходимыми для обоснования суждения. А иначе под него подпадают истинные, но необоснованные суждения, а также суждения истинные, но в которых у этого человека нет подлинной убежденности.

Кроме того, различие между вероятностным («все лебеди – белые») и достоверным («мыслю, следовательно, существую», « $2+5=7$ ») требует двух концептуализаций знания, и как следствие – утверждения о двух типах знания. Причем в одном случае для определения его понятия оказывалось достаточно зафиксировать два элемента. Достоверность делала истинность избыточным, или в каком-то смысле выступала ее синонимом, поскольку $2+5=7$ известно с достоверностью, то признак истинности оказывался избыточным для определения этого предложения в качестве знания. Вероятностное же знание требовало включения истинности, как *особого* признака знания, поскольку всегда могло оказаться, что найдется черный лебедь, и соответственно, знание утверждения «все лебеди – белые» перестанет являться знанием.

Именно второй тип знания оказывался в какой-то степени ближе к действительности, учитывал ее незаконченный, не сформировавшийся до конца характер. Он должен был тем или иным образом включать в себя временной фактор, а именно, будущие изменения, и то, что являлось знанием, знанием быть переставало бы. Даже в области математики, если вспомнить Фреге, геометрия должна была быть выведена из области априорных суждений, в отличие от арифметики, и согласовываться с действительностью, т.е. фактическим пространством, которое могло оказаться и неевклидовым.

Итак, основная проблема в определении знания до парадоксов Геттера состояла в том, что, во-первых, не удавалось получить общего определения для знания достоверного

и для знания вероятного. Во-вторых, определение знания вело в дурную бесконечность, и каждый из признаков знания, в свою очередь, должен был быть признан знанием, а значит, в свою очередь, требовал таких же признаков. В-третьих, знание редуцировалось исключительно к знанию в узком смысле – к тому, что охватывалось пропозициональной установкой «я знаю», в то время, как иные формы презентации знаний («я чувствую, что», «я спрашиваю о том, что», «я надеюсь на то, что» и т.д.) не рассматривались как формы знаний.

Однако после появления парадоксов Геттиера оказалось, что и в области вероятного знания, т.е. знания, не истинного во всех возможных мирах, нельзя пользоваться стандартным трехэлементным понятием знания.

Семантический контекстуализм и решение парадокса знания

В ответ на публикацию Геттиера последовали новые определения знания, добавлявшие к этому понятию новые признаки, сужая тем самым его объем – выводя изпод этого понятия случаи Геттиера, а именно – случаи «знания неизвестных истин». Однако в ответ на каждое такое решение возникала новая парадоксальная ситуация.

Напомним, Смит приходит к *обоснованному* и *истинному убеждению*, которого он в сущности *не знает*, которое, однако, отвечает всем трем заданным признакам знания.

Как объяснить появление такого рода неизвестных некоторому сообщаемому, но истинных и обоснованных убеждений или предложений? Наблюдаемый мир оказался не совсем таким, как его описывал Смит, и поэтому его высказывание не является знанием. Но число возможностей (или возможных миров) у мира «выпадать»¹⁴⁹ таким или иным способом оказывается в данном случае ограниченным настолько, что даже ресурс незначительно языкового обобщения¹⁵⁰ оказывается достаточным, - чтобы (случайно) включить в том числе и неожиданные и не подразумевавшиеся высказывающим ситуации.

Возможности мира быть таким или другим оказываются существенно ограниченными языком, и лишь внутри этих возможностей мир может быть таким или другим, давать работу Джонсу или Смицу.¹⁵¹ Истинность предложения не гарантирует его

¹⁴⁹ Я пользуюсь выражением Витгенштейна, которое мне кажется очень удачным. Мир есть все, что «выпадает» (DieWeltistalles, wasderFallist) таким или иным способом: как подброшенная вверх монета «выпадает» орлом или решкой. Мир *ограничен* двумя логическими (языковыми) возможностями – быть таким или другим, но фактически он в каждом случае *уже* этих возможностей.

¹⁵⁰ И Смит очевидно делает – пусть и неправомерное – обобщение, отвлекаясь от конкретного лица, получающего должность.

¹⁵¹ Очевидно и то, что понятие *знание* («знает, что...») оказывается ненасыщенной двухместной функцией (в смысле Г. Фреге, т.е. оно должно в качестве аргументов включать не только свой контент («Джонс получит работу»), но и самого знающего, и соответственно выглядеть примерно так: Знает (X,Y). Свой полный смысл (= «насыщение») это понятие или двухместная функция получает, если определено не только знание, но и знающий. Парадокс появляется только тогда, когда мы сравниваем знание Смита (X) и знание *некого более осведомленного наблюдателя*, который знает, что

(определяемую самим внешним миром, а не возможностью языка угадывать истину) известность. Требовался учет внешнего фактора (внешнего мира). Ведь последний, хотя и ограничен языком (и именно *поэтому* всегда может случайно «совпасть» с предложениями о нем), но все-таки имеет внутреннюю автономию если не от границ языка, то от конкретных предложений по поводу обстоятельств этого мира.

Повторимся: именно ограниченность мира языком создавала возможность случайных совпадений относительно *произвольно формулируемых языковых выражений* с истинными положениями дел, хотя (почти) ничего в самом мире к этим предложениям *фактически* не подводило. Исходя из этого задача нового определения знания подразумевала включение *нового признака знания*, который бы исключил те возможные ситуации, в которых язык уже в силу своей «пророческой силы» без видимых на то оснований «угадывает» фактические положения вещей.

Итак, задача нового определения знания состояла бы в том, чтобы учесть ситуации, где предложение о мире лишь случайным образом совпадает с тем, как обстоят дела в этом мире. Истинность предложения не должна была быть *случайной*, а значит, внешний мир должен как-то *воздействовать* на предложение, приводить к тому, чтобы структура предложения отвечала структуре описываемого обстоятельства – и именно в силу этого воздействия, а не случайным образом. Внешний мир должен был «генерировать» знания, и этот процесс – каузальной – генерации должен был бы, по мысли теоретиков, войти и в само определение знания.

По этому пути пошел Э. Голдман, связав этот процесс генерации знания с каузальными – материальными – процессами *переноса* свойств неких внешних обстоятельств на свойства предложения, что подразумевало образование последовательностей причинно связанных событий, начинающихся во внешнем мире и через физические и физиологические процессы каузирующих конечные – отражающие эти события - формулировки. Это, однако, тотчас привело к новым парадоксам, о которых мы скажем ниже.

Первоначально же возникло искушение применить более простое и казавшееся очевидным решение. Ввести в определение знания (помимо признаков убежденности, истинности и обоснованности) простую оговорку: о том, что обоснование не должно базироваться на ложных посылках. Например, на той контрфактической посылке, что «Джонс с 10 центами получит должность», которая собственно и подводила к истинному выводу «Человек с 10 центами получит должность», но сама как посылка являлась

«знает» Смит, и то, как действительно обстоит дело. Этим более осведомленным наблюдателем, конечно, может стать и сам Смит, но уже в следующий момент времени.

ложной. Воспроизведем пример такого парадокса в незначительно модифицированном виде¹⁵²:

На Садовой улице Екатерина обращает внимание на старинный дом 19 века и формулирует соответствующее суждение: «этот дом является старинным». Данное высказывание не является выводимым, и поэтому полностью соответствует новому «нестандартному определению» знания, ведь оно не вытекает из каких бы то ни было (в т.ч. ложных) посылок. Но является ли оно знанием? В соответствии со стандартным определением статус знания зависит от того, является ли оно *истинным* и *убедительно-обоснованным*. Допустим это все три признака действительно имеют место. Но, предположим, все *остальные* старинные здания на Садовой улице давно снесены и заменены новоделами со стилизованными под старину фасадами.

В этом случае суждение Екатерины, фактически безусловно истинное, знанием как раз и не является. Ведь и в данном случае мы сталкиваемся с совершенно случайным утверждением, которое фактически никак не обосновано. Ведь его обоснование, а именно тот факт, что оно *выглядит старинным* таким обоснованием (во всяком случае, применительно к Садовой улице в целом) служить как раз и не должно. Ведь старинный экстерьер как раз и не служит обоснованиям применительно ко всем *остальным* случаям на данной улице: прочим «домам-новоделам» со стилизованными под старину фасадами.

Нестандартное определение знание, требующее *исключения неистинных посылок*, оказалось не в силах предотвратить появление соответствующих ему контрфактических случаев: убедительных, истинных, обоснованных – и при всем этом не являющихся знанием – предложений. При этом нестандартное решение – добавление четвертого признака – все-таки подразумевало, что этот признак (*выводимости из непременно из истинных посылок*) будет относиться к самому предложению или высказыванию.

Следующее (*постнестандартное*) определение знания требовало добавления к его понятию признаков, относящихся не к *самому* формулируемому высказыванию, а к контексту этого высказывания, к внешнему миру, который теперь понимался как *порождающий знание фактор*. Применительно к определению знания это указывало на требование, чтобы в него каким-то образом каждый раз встраивались иные возможности наблюдения, иные перспективы: должны были учитываться как раз *возможности ошибиться* с некоторых других углов зрения (при рассмотрении прочих домов на Садовой улице – в нашем примере). Другими словами, приниматься во внимание должны были контрфактические ситуации в некоторых других возможных мирах, в которых

¹⁵² Goldmann, A. Discrimination and Perceptual Knowledge // The Journal of Philosophy у3, 1976, p. 771-791.

актуального наблюдения не происходило и которых само *высказывание-под-вопросом* непосредственно не касалось и не реферировало.

Лишь такое сопоставление актуального высказывания с высказываниями лишь возможными, и их конвергенция (на предмет общего значения – истинности), делало бы актуальное высказывание знанием. Если бы истинными были произнесенные Екатериной (или любым другим наблюдателем) высказывания о всех других домах на Садовой, зафиксировано их общее значение (истинности), тогда бы и актуально-высказанное предложение Екатерины было бы знанием. Здесь мы сталкиваемся с тем, что ниже будет обозначено как «семантический контекстуализм».

И конечно, возникало искушение предложить такое определение, которое бы учло все эти иные когнитивные перспективы наблюдения и вытекающие из них прочие контекстуально-определенные возможности заблуждения. Но чье тогда это было бы знание? Конкретного человека Екатерины или все-таки некоторого всеведующего трансцендентального существа, способного взглянуть на мир сразу на все возможные объекты одновременно со всех возможных точек зрения?

Постнестандартные определения знания

В примерах Геттиера речь идет о наблюдателе, представляющем собой некое неполноценное, ограниченное существо. Оно всегда ощущает некоторый недостаток информации, и хотя и произносит истинные высказывания, но обладая оно большей информацией, от данного высказывания оно возможно бы и воздержалось. И именно из констатации этого несовершенства наблюдателя проистекает возможность подправить определение знания через учетывание информационного дефицита ограниченного в своих возможностях человека – как конечного наблюдателя, осуществляющего восприятие из конкретной пространственно-временной позиции.

Чтобы учесть все возможные коррекции за счет притока новой информации, понятие знание попробовали дополнить признаком «неоспоримости» (*indefeasible knowledge*)¹⁵³, а значит – включить в определение фактор времени (вспомним, что уже Платон в «Меноне» указывал на необходимый для знания признак *стабильности*), исключив возможность в будущем наличия тех или иных контрфактических наблюдений. Должно быть известно, что данная позиция наблюдения – есть *вечная* и *локально-оптимальная*, т.е. не требует уточнения или коррекции с других пространственно-

¹⁵³ Lehrer K. Theory of Knowledge. London 1990.

временных позиций наблюдения (т.е. лучше информированных или лучше расположенных наблюдателей).

В этом случае под знанием могло бы пониматься *истинное, обоснованное, неоспоримое убеждение*. Это новое условие исключало знание Смита о том, что человек с 10 центами получит должность, поскольку одна из посылок «Должность получит Джонс» – неважно, изначально или впоследствии, – могла быть оспоренной. Другими словами, мог бы существовать лучше информированный наблюдатель, который знал бы, что Смит был не прав в отношении Джонса, и мог бы его при случае разубедить. И в случае знания Екатерины, конечно же, имелись наблюдатели, которые прекрасно знали что «старинность» Садовой улицы – всего лишь видимость и стилизация.

Казалось бы проблема определения знания решена! Однако не заставили себя долго ждать новые «геттиеро-видные» примеры: т.е. примеры *очевидного незнания, всецело подпадающие под предложенное определения знания*. Требование учета чужих когнитивных перспектив может и выполняться, а знание при этом все-таки отсутствовать¹⁵⁴.

Каузальная связь между знанием и его содержанием – экстерналистский признак знания

Изобретатель «каузального» определения понятия знания Элвин Голдман предложил дополнить стандартные признаки убежденности в высказывании и его истинности третьим, заменив им прежний критерий обоснованности. Соответственно, знание понималось как *истинное убеждение, полученное вследствие каузального воздействия на человека некоторым внешним обстоятельством (или фактом), которое выступает в этом смысле причиной убеждений в некотором суждении, и только в случае наличия такой причинной связи содержание суждения может рассматриваться как «производитель истинности» этого суждения*.

Как следствие, уже далеко не всякий факт, соответствующий высказыванию о нем, делает это истинное высказывание знанием. Применительно к парадоксам Геттиера это означает, что высказывание Смита «человек с 10 центами получит должность» имело *фактическую* предпосылку: реальные перспективы Джонса: скажем, мнения, которые Смит фактически *слышал* о Джонсе от начальства! Это фактическое положение дел в

¹⁵⁴ Примеры разрешения парадоксов и вытекающие парадоксы см.: Антоновский А.Ю. Семантический контекстуализм и проблема нестандартного определения знания // Эпистемология и философия науки. М. 2010. № 4. С. 101-118.

процессе его физиологического восприятия и перекодирования в мозге, и сгенерировало, в конечном счете, суждение «Человек с 10 центами получит должность».

Мы, конечно, возразим, что вовсе не это фактическое обстоятельство является «производителем истины» суждения Смита! Содержание суждения, т.е. фактическое положение дел, соответствующее суждению, действительный факт получения Смитом с его собственными 10 центами желанной должности - это одно. Но вовсе не он каузально генерирует суждение. Фактическая «причина» или «генератор» суждения представлен совсем другими фактами: скажем, услышанными Смитом мнениями начальства о Джонсе. Поскольку же «производитель истины», согласно третьему критерию знания, должен быть и ее фактически-физическим генератором, то высказывание Джонса не может рассматриваться как знание.

В целом, в подходе Голдмана мы сталкиваемся со старым сенсуализмом в новом облачении. Из знания исключаются истинные убеждения, к которым ведут «непрямые» пути, скажем, интуиция (во всех ее смыслах от Декарта и Гуссерля до Бергсона) или априорные познавательные способности, безотносительно восприятия и возможных ошибок в его интерпретации. Кроме того, под вопросом оказались знание о достоверно известных будущих событиях, если будущее не понимать как каузальный фактор. Да и сам автор отказался от нее практически сразу.

Фатальным для этого подхода принято считать неполноту каузально определения понятия знания, поскольку оно исключает необходимо-истинные убеждения, математические истины, а значит, определение знание снова оказывается неполным. Необходимые истины (такие как « $5+7=12$ ») не нуждаются в каузальном воздействии, поскольку останутся истинными и в том возможном мире, где не будет сознания, способного их воспринять и проверить. Ведь в случае математических законов не существует таких контрфактических ситуаций, какие имеют место в отношении любого позитивного ненеполного утверждения, а значит – необходимое (математическое, формализованное, априорное, аналитические суждение и т.д.) знание – знание во всех возможных мирах¹⁵⁵.

И конечно это представление не выдерживает проверку в случае Екатерины и стилизованных под старину фасадов. Ведь в случае фактического восприятия Екатериной дома на Спасской как подлинного памятника старины, третий критерий знания

¹⁵⁵Необходимое знание, это своего рода Фреговские «мысли», которые в каком-то смысле объективны и не нуждаются в их индивидуации через их представление в сознании. И именно поэтому они лишены «каузальной силы», навеки оставаясь заключенными в границах «требующего признания третьего рейха» «Третьим рейхом» Фреге называл мир объективных мыслей самих по себе или смыслов (Sinn), отличный как от мира представлений (Vorstellungen), так и от мира предметов (Bedeutungen). Этот рейх требовал признания наряду с его сопредельными мирами. Frege G. Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 2 (1918/19). S. 58–77;

выполняется: «производитель истинности» и «генератор причинного воздействия» совпадают, дом *фактически* истинностным образом соответствует своему экстерьеру и каузирует восприятие Екатерины. Но знание мы все-таки не можем ей приписать, т.к. факта восприятия, генерирующего суждение об этом восприятии, все-таки оказывается недостаточно, поскольку оно не действует в отношении иных, всего лишь стилизованных под старину домов, расположенных по этой улице.

Знание в контр-фактических мирах: надежность, достоверность, сензитивность как критерии знания

Новые определения знания потребовали указания гаранта (warrant ¹⁵⁶), выступающим «производителем знания» - по аналогии с «производителем истины» (truth-maker) в корреспондентской теории истины. Должно было бы существовать некое обстоятельство во внешнем мире познающего сознания, которое само не являясь знанием, словно гарантировало бы, что некоторое высказывание принадлежит корпусу знания.

Слабость каузальной теории знания коренилась в кантовском представлении о пассивности субъекта, «аффицированного» (воспользуемся кантовским термином) вещью в себе. Именно объективность вещи в себе заставляла быть объективной и генерируемое ею знание. Основной парадокс, к которому приводил тезис Голдмана, состоял в следующем: мы не можем ничего знать о ключевом критерии знания – каузальности, или причинных связях между фактами и высказываниями. Потому что *само знание о каузальности как раз и не подпадает под его собственный критерий каузальности*: сам факт каузации уже ничем не каузирован¹⁵⁷. Именно этот внешне-неопределенный (т.е. не допускающий локализации в самом внешнем мире) статус причинения оказался фатальным для каузальной концепции Голдмана.

Можно было бы отказаться от тезиса о пассивности «аффицированного» «вещью в себе» субъекта познания (как это в противовес Канту предлагали Фихте и Саломон

¹⁵⁶Plantinga A. Warrant: The Current Debate. Oxford University. 1993

¹⁵⁷ Кант, как известно, признавал слабость своей доктрины, признающей априорность и, следовательно, лишь трансцендентальный характер каузальных отношений, с одной стороны, а с другой стороны, распространявший их действие и за пределы границ возможностей человеческого познания – в мир вещей в себе. Но он предпочитал оставить противоречие в своих определениях познавательных способностей, но не признавать идеалистичность своего подхода. Голдман в сущности сталкивается с той же проблемой – вводит параметр каузальности – «аффицирование миром вещей мира высказываний» как критерия знания о внешнем мире. Но *выводя каузальность за пределы самого знания*, он исключает тем самым из знания – априорные и необходимые утверждения, как раз и не нуждающиеся в каузальности как своем критерии (такие как: «каузальность определяет (каузирует?) критерии знания»). Всеобщие суждения о каузальной природе подлинного знания, очевидно, не могут опираться на –всегда остающимся вероятным – знание о взаимодействии вещей во внешнем мире. Итак: знание о каузальности есть знание необходимое и не подпадающее под понятие знания, которое через этот критерий каузальности только и образуется.

Маймон)¹⁵⁸ и признать его активность в конструировании своего собственного познания. Не фактическое положение дело должно было становится причиной высказывания о нем, но само высказывание должно было бы указывать на наличие какого-то внешнего обстоятельства (индикатора), гарантирующего то, что это убеждение является знанием. Результатом этого переформулирования становится концепция «надежности знания» или («релиабилитета»), подразумевающая наличие в самом знании метода (индикатора или инструмента) определения степеней надежности истинности этого знания. Применительно к парадоксу Геттиера это означает следующее. Вывод Смита, базирующийся на его представлении о перспективах Джонса, выглядит крайне ненадежным именно *методологически*, и вполне мог бы оказаться ложным. Достаточно помыслить себе некоторую чрезвычайно вероятную возможность (= «ближайший возможный мир»), в котором у Смита *всего лишь* не оказалось бы в кармане этих 10 центов. И в случае утверждения Екатерины о доме Садовой ее высказывание выглядит акцидентально-истинным, ведь уже самый ближайший возможный мир мог бы включать в себя все наличные обстоятельства (и почти не отличаться от мира реального), если бы референтом высказывания был бы соседний дом. И в этом ближайшем возможном мире ее высказывание уже не было бы случайно-истинным, поскольку оно вообще было бы ложным.

Итак, новое определение знания требовало указывать на некий *внешний* индикатор, который гарантировал бы надежный характер знания и тем самым исключал парадоксы случайно высказанной истинности. Таковых индикаторов может быть столько же, сколько может быть степеней вероятности знания: речь может идти о супернадежных, достаточно надежных и ненадежных индикаторах. Что же должно служить таким внешним гарантом или индикатором? Приведем, пример: предположим, Александр отчетливо видит перед собой лицо своей жены и делает соответствующий вывод: «вот моя жена». Выступает ли здесь внешним индикатором истинности суждения и надежности знания само его восприятие? Если мы воспользуемся вышеуказанным методом, то такое восприятие не является абсолютным инструментом достижения истинности и признания утверждения знанием, поскольку мыслимы возможные миры, в которых наличествовало бы и это восприятие, и суждение, но последнее оказывалось бы ложным. Это имело бы место, скажем, в уже ставшей почти бытовой ситуации «мозги в бочке» (Х. Патнем). Означает ли это, что индикатор восприятия должен быть исключен из гарантов надежности. Вовсе нет.

¹⁵⁸ Maimon S. Versuch über die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntnis und Anmerkungen (1790). Hamburg 2004.

Он лишь не является гарантом несомненной надежности знания (но нам ведь этого и не надо – мы ищем определение знания).

В зависимости от того, каким образом представлять себе эти возможные миры или возможные ситуации, можно выделить несколько типов гарантов истинности убеждений и соответственно – критериев знания. Речь может идти о несомненном, сенситивном, надежном знании. Рассмотрим все случаи по порядку.

Убеждение является *несомненным* знанием, если можно гарантированно утверждать, что не существует ни *одной* возможной ситуации, в которой это высказывание было бы аналогичным образом сформулировано, но при этом оказалось бы ложным. Это очень сильный критерий и он может быть отнесен, как правило, лишь к необходимому математическому знанию. Во всех же остальных случаях достаточно критерия восприятия, который так же допускает интерпретацию с точки зрения возможных миров.

Высказывание является *сенситивным* (т.е. восприимчивым и к другим возможным ситуациям) и может считаться знанием тогда, когда в каком-то ином, но похожем возможном мире, условия его возникновения (допустим, восприятие) не имели бы места, то и само это высказывание бы было ложным. Иначе говоря, убеждение является знанием, если оно сензитивно *не только к объекту своего восприятия, но и к другим возможностям*, где имеет место *контрфактическая* ситуация. Но как ограничить список возможных ситуаций, которые должны быть заранее известны?

В реестр похожих жизненных миров Александра входит и та контрфактическая ситуация, в которой его убеждение было бы ложным. Например, если жена Александра имеет абсолютного двойника, то Александр мог бы получить идентичное восприятие (что и в случае с женой). Но его утверждение было бы в этом случае ложным. Однако в этом случае и *его истинное утверждение в отношении воспринимаемой им жены* знанием бы не являлось. Сложность возникает, когда рассматривается вопрос не о наличии фактической ситуации (двойника жена), а возможной – контрфактической ситуации. Может его истинное убеждение («я вижу свою жену») с учетом возможной контрфактической ситуации претендовать на статус знания? В этом случае можно ввести понятие *надежного* знания. Это такое знание, где твердо известно, что отсутствуют *релевантные (!)* контрфактические возможные миры, в которых условие формулирования высказывания (восприятие) было бы точно таким же, а высказывание оказалось бы ложным.

Предельным случаем надежного знания было бы достоверное знание, где исключены абсолютно *все контрфактические миры*, а не только релевантные и

вероятные. В том числе кажущийся невероятным контрфактический мир *злого демона* или *циничного естествоиспытателя*, проецирующего искусственно созданный образ в мозг высказывающего, находящегося в питательном растворе. *Если включить эту невероятную и не релевантную контрфактическую ситуацию в список возможных миров, то суждение по поводу любого переживаемого восприятия уже не будет являться (абсолютно достоверным) знанием.*

Социальность знания и истины, социальная дифференциация и когнитивные стандарты наблюдателя

Мы подошли к ключевому вопросу этой части исследования. То, является ли то или иное суждение знанием, всегда зависит от того, какой список контрфактических возможных миров высказывающий (*или сообщество, для которого это высказывание предназначено*) полагают релевантным.

Проблема при таком понимании знания состоит в неопределенности (с т.зр. этого понятия) того, какие возможные контрфактические ситуации принимать во внимание, а какие нет. Должна быть решена *проблема релевантности контрфактических ситуаций*. Должны ли мы всегда учитывать ситуацию «злого демона» и расплачиваться за это непреодолимым скептицизмом в отношении достоверности знания? И в случае Екатерины - сколько домов должно быть действительно старинными (а не новоделами) в окружении дома, о котором она судит, чтобы признать ее истинное суждение в отношении самого этого дома? Достаточно ли 95 процентов, или 75? Или хотя бы больше половины?

Проблема релевантности контрфактических миров может быть решена через обращение к наблюдению второго порядка, *к стандартам того, кто приписывает знание*. Именно *когнитивные стандарты наблюдателя над наблюдателем* собственно и являются последним критерием релевантности тех или иных возможностей заблуждения, а следовательно, и того, является ли истинное утверждение наблюдаемого наблюдателя знанием! Другими словами, то, что в одной системе наблюдений (скажем, в системе науки) знанием быть признано не может, в другой таковым является. В перспективе научных наблюдений религиозные *предложения веры* не являются знанием, поскольку – с точки зрения научных перспектив наблюдения – религиозные предложения не учитывают контрфактические ситуации или возможные миры, где точно так же как и в действительном мире «наличествовали» бы чудеса и священные тексты (высказывания веры), но отсутствовал бы их сигнификат (например, самое большое существо в смысле Ансельма или самое совершенное существо, с точки зрения Декарта). Ведь и в этой

контрфактической ситуации эти высказывания веры произволись бы с такой же частотой, хотя и были бы ложными! Поэтому даже если предложения веры и являлись бы истинными, они бы не являлись знанием с точки зрения наблюдателя ученого с его строгими когнитивными стандартами, заставляющими его учитывать контрфактические ситуации. С точки зрения же самих религиозных наблюдений (теология) таковые контрфактические ситуации могут быть исключены как *нерелевантные* и, следовательно, предложения веры являются знанием (если, конечно, они являются истинными).

Другими словами, наука вовсе не утверждает о том, что бога в действительности не существует. Для этого у нее нет достаточных оснований. Да это и не является ее целью. Ее базовое утверждение состоит в том, что религиозные предложения не являются знанием с точки зрения науки. Поскольку если бы Бога не было (контрфактическая ситуация с точки зрения религии), то в специфических религиозных наблюдениях он бы, тем не менее, все равно продолжал *существовать*, поскольку сам список контрфактических ситуаций не выходит за пределы тех, что и определяются верой, священными текстами и чудесами. Отсюда странное следствие: если бы Бог существовал, религиозные высказывания все равно бы не были знанием, поскольку предложения веры являлись бы тогда акцидентально-истинными предложениям.

Фактически ответственным за знание в этой ситуации являются *дискриминационная способность*. Наблюдатель должен уметь различать фактическую ситуацию, в которой делается утверждение о том или ином событии, которое фактически имеет место. И возможную ситуацию, где событие бы не имело места, а утвердительно высказывание о нем все-таки было произведено. Наблюдатель наблюдателя должен зафиксировать в этом случае то, какое знание было бы приписано предложению в контрфактической ситуации (истина или ложь) и на этом основании может судить об обоснованности в отношении фактического, пусть даже и истинного, высказывания.

Итак, для решения проблемы знания требуется ограничить число (контрфактических) возможностей, которые мы учитываем при определении знания, - найти возможности исключить ситуацию злого естествоиспытателя как *нерелевантного* контрфактического возможного мира.

В этом случае приходится формулировать принципы релевантных и нерелевантных контрфактических ситуаций и включить их в определение знания.

Рассмотрим суждения особого типа, которые принято называть индексными или индексикальными¹⁵⁹. Они отличны от утверждений математики, истинных в любом возможном мире, поскольку принимают истинные значения лишь применительно к определенному *времени* высказывания («*Завтра* будет морское сражение» истинно в отношении определенного момента – некоторого «вчера»); или применительно к тем или иным *людям* (значение высказывания «я – философ», если философом является именно автор высказывания); или относительно выделенного места в пространстве («*здесь протекает река*»). Истинность таких утверждений, очевидно, задается фактическим контекстом высказывания.

Для решения вопроса об их познавательном статусе сначала придется определить условия истинности такого рода высказываний. Т.е. в указанных трех случаях требуется лишь задать пространственные, временные и личностные ограничения: ответить на вопросы контекста: где это «здесь»? кто этот «я»? когда наступает «завтра»? Причем в каком-то смысле речь идет о перформативных высказываниях: «здесь» и «завтра» заранее (т.е. до и вне акта высказывания) не определены. Слово «я» еще ничего не говорит о том, кто является этим «Я», до того, как им было сделано высказывание. Все эти слова не имеют смысла безотносительно к самому высказыванию, но словно «переменные» получают определенность в процессе артикуляции того или иного предложения. Последнее само решает, где локализовано это «здесь» и когда наступит «завтра». Как только такое предложение произнесено, тотчас возникает и его контекст (= познавательный масштаб), в котором оно будет истинным или ложным. И словно само собой определяется множество возможных миров, которые будут релевантными для того, чтобы признать это предложение знанием. Так, истинностное значение высказывания «эта улица длинная» - зависит от контекста, в котором фактически измеряется этот параметр. В городе с короткими улицами – улица, длиной в километр, будет длинной, и высказывание будет истинным. В городе с более длинными улицами, возможно, наоборот, это высказывание будет ложным. Мы, таким образом, учитываем «семантический контекст» высказывания, а значит – выбираем «когнитивный масштаб» высказывания, в зависимости от того, *где* производится данное высказывание! Условия истинности и вместе с тем приписывания знания и истинности варьируются вместе с контекстом. Определяя условия истинности, мы определяем и область возможных заблуждений, и в том числе такие ситуации, в которых заблуждения возможны и все-таки исключаются как нерелевантные (ситуация «злого демона» и «циничного естествоиспытателя»).

¹⁵⁹См.: DeRose, K. Contextualism: an Explanation and Defence. // E. Sosa (ed.). The Blackwell Guide to Epistemology. 1999. P. 187-205.

Всякая атрибуция знания должна быть восприимчивой к возможному контексту, т.е. «контекстуально-сенситивной».

Одно и то же высказывание («Я – преподаватель философии») является знанием и истинным не само по себе, а именно применительно к одному высказывающемуся *лицу* и не быть таковыми применительно к другому. Но ведь так же мы можем поступать и в отношении к проблемному высказыванию «я не являюсь мозгом в бочке». Этот когнитивный масштаб следует уже называть *социально-сензитивным*. В вопросе атрибуции знания и истины приходится учитывать социальное измерение, перспективу наблюдателя, его когнитивные стандарты и масштабы. Так, «скептик», философ, согласно своим когнитивным стандартам *сообщества философов* вполне возможно будет учитывать «возможности заблуждения» (сенситивный контекст) чрезмерно тщательно, выбрать максимально широкий когнитивный масштаб измерения «знания». И только ему может показаться релевантной контрфактическая ситуация «злого демона» или «циничного естествоиспытателя». С его точки зрения, высказывание «у меня есть рука» *не является знанием*, ведь ожиданиям *сообщества философов* не будет противоречить учет возможной ситуации, где мозг высказывающего возможно автономно функционирует в биологическом растворе под надзором циничного естествоиспытателя.

Другой наблюдатель, более прагматично настроенный психолог или социолог, скорее всего исключит такого рода широкий когнитивный масштаб как нерелевантный контекст для такого «скромного» высказывания («у меня есть рука»). В его когнитивном масштабе зрительное восприятие является фактически-принуждающим к тому, чтобы все-таки признать истинность предложения «у меня есть рука», и соответственно достаточным для приписывания статуса знания в отношении этого высказывания.

Итак, обладать «знанием» в одной наблюдательной перспективе не противоречит утверждению об отсутствии такого знания в другой наблюдательной перспективе. Решение проблемы лежит в *социальном измерении*, в учете того обстоятельства, *кто* и *кому* приписывает знание, какие когнитивные стандарты при этом выбираются. Речь, в конечном счете, идет о том, очевидном факте, что любое утверждение делается из определенной позиции наблюдения, определяемой как минимум тремя факторами – *кто*, *где* и *когда* делает утверждение, а значит – пространственно-временным и личностно-коллективным измерением коммуникации. В следующем разделе мы более обстоятельно рассмотрим проблему атрибуции знания в несколько ином контексте

Основные итоги и выводы третьего параграфа

В данном параграфе мы критически рассмотрены попытки сформулировать полное и непротиворечивое определение знания в контексте проблемы так называемого стандартного (трехэлементного) понятия знания и современные подходы по его дополнению и измерению. Нами проанализированы ресурсы нестандартного определения знания, дополняющего его новыми признаками надежности, достоверности, сензитивности. Показано, что они не разрешают означенный выше парадокс знания неизвестной истины. Нами предложено постнестандартное решение на основе концепции «семантического контекстуализма» и понятий «контрфактических миров». То, является ли то или иное суждение знанием, всегда зависит от того, какой список контрфактических возможных миров высказывающий (или сообщество, для которого это высказывание предназначено) полагаются релевантным. Показано, что лишь наблюдатель второго порядка способен различать фактическую ситуацию, в которой делается утверждение о том или ином событии, которое фактически имеет место, и возможную ситуацию, где описываемое в высказывании событие бы не имело места, а утвердительное высказывание о нем все-таки было произведено. Нами сделаны выводы о том, что социально-коммуникативные характеристики наблюдателя определяют его когнитивные стандарты, и как следствие – акцептацию высказываний в качестве знания. Нами утверждается, что обладание «знанием» в одной наблюдательной перспективе не противоречит утверждению об отсутствии такого знания в другой наблюдательной перспективе.

Параграф четвертый: научное знание в индивидуальной и в системно-коммуникативной перспективах

Если мы исходим из бинарной перспективы всякого наблюдения (перспективы участника коммуникации и той наблюдательной системы, в которую он включен), то почему бы не использовать эту оптику применительно к *научному знанию*? И действительно любое высказывание можно анализировать, с точки зрения, непосредственного обладателя знания, индивидуального сознания, как и с точки зрения социальной системы (скажем, социальной системы науки, образования и т.д.), которая использует и хранит знание, распределенное на огромное множество сознаний. Знание в первом смысле¹⁶⁰, формулируемое из некоторой индивидуальной позиции, представлено высказываниями, отвечающим критерию (1) истинности, (2) обоснованности и (3) убежденности.

¹⁶⁰Используем здесь одно из т.н. стандартных определений Родерика Чисхолма: *Chisholm R. Theory of knowledge. N.J.: 1966.*

Это определение, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность (с точки зрения самого высказывающего и высказывания), является исключительно комплексным, если его рассматривать структурно и функционально, т.е. исходя из его внешнего контекста и состава. Так, знание (belief) как необходимое дополнение к мотиву (desire) очевидно, выступает одним из двух условий действия¹⁶¹ и одновременно - условием коммуникации, а значит – является предметом интереса *социологии*. *Истинность* в ее функции критерия знания традиционно выступает предметом интереса философии (эпистемологии). *Обоснованностью* интересуется *логика и теории аргументации*. *Убежденность* как критерий знания – очевидно, представляет собой предмет интереса *психологии*. А то обстоятельство, что знание должно формулироваться как синтаксически правильно сформулированное *предложение*, требует *лингвистического* рассмотрения.

Итак, в системно-коммуникативной перспективе контекстуальный анализ любого утверждения (выявление условий его возможности) требует анализа языка, психических установок, возможных действий и коммуникаций, в которых оно применено, логической структуры утверждения и конечно – и не в последнюю очередь – самого предмета или темы высказывания, выступающего таким образом в роли truth-maker, т.е. фактора истинности, и в этом смысле – главного условия возможности знания.

Положение, однако, усложнилось, когда некоторые из перечисленных дисциплин вступили в спор друг с другом за эти условия познания как за свою исключительную прерогативу. Скажем, социология в лице ее *сильной программы* (Эдинбургская школа¹⁶²) посчитала, что традиционно философская проблема истинности должна исследоваться социологически. Ранее, как нечто само собой разумеющееся, принималось, что истинное знание понятно само по себе, поскольку истина и ложность устроены *асимметрично*. Подразумевалось, что истинность высказывания определяется предметом (в его роли truth-maker) и не требует выяснений *социальных условий ее возникновения*, в то время как знание ложное должно быть объяснено путем экспликации *социальных предпосылок* ложных суждений – идеологических, социальных или иных условий, препятствующих достижению истины. *Сильная программа* в социологии выдвинула тезис о симметричном характере истины, имея в виду, что и возникновение истинного знания, в свою очередь, должно получить социологическое объяснение. И действительно, истин много (и в перспективе – бесконечно много), но лишь очень немногие из них получают *институциональную поддержку, финансирование, публикуются в журналах, и встречаются*

¹⁶¹ Если кто-то *желает* пойти в театр, и *знает*, где он находится, то знание этих двух условий (как минимум, с точки зрения так называемой «народной психологии») абсолютно достаточно для объяснения *действия* – посещения театра.

¹⁶² Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago. 1991.

критику и одобрение коллег, и в конечном счете словно «искусственно отбираются» путем применения означенных «инструментов» отбора.

Итак, некоторое простое знание в перспективе того индивида, который осуществляет высказывание, превращается в сложнейшее утверждение с точки зрения его интегрированности в его внешний и внутренний контексты, с точки зрения *наблюдателей второго порядка*, анализирующих его высказывание с других системных позиций и перспектив. Из такой проблемопостановки вытекают следующие вопросы. Насколько равнозначны эти два модуса знания и насколько они совместимы друг с другом? Как вообще возможно что-то знать, приходиться к консенсусу, если всякое (синтаксически идентичное) высказывание обнаруживает разные контексты? Является ли то, что мы признаем знанием в первом случае, таким же знанием, исходя из более «высокой» перспективы наблюдения? То, что одному наблюдателю предстает как обычная вода – жидкая и смачивающая субстанция, в перспективе комплексного и системного наблюдения имеет внутреннюю молекулярную структуру, выражающуюся соответствующей формулой, включено в другие химические соединения и т.д. и т.п. Знание в первой перспективе наблюдение предстает как *незнание* в другой перспективе, а из противоречия следует все, что угодно, или, говоря словами П.Фейерабенда, *anything goes*. Где же тогда локализовано подлинное знание – в индивидуальной или системной перспективе наблюдения? Мы рассмотрим два ответа на этот вопрос, и воспроизведем две соответствующие возможности сформулировать начала *социальной теории знания*.

*STS – нормативные ограничения когнитивных процессов*¹⁶³.

СТС (Science and Technology Studies) комплексное современное течение в исследованиях социологии науки и техники. Одно из его направлений состояло в стремлении *совместить* означенные выше и принципиально различающиеся представления научного знания, выйти за пределы исключительно *однолинейной* (научной, предметно-ориентированной или экспертной) его презентации, скоординировать наблюдения ученых, т.е. тех, кто это знание создает, с когнитивными возможностями и интересами тех, кто этим знанием в конечном итоге пользуется.

Попробуем свести программу STS- очень селективно и произвольно – к ряду утверждений. Научное знание, с точки зрения разработчиков STS, предстает как *непрозрачное* для непосвященных, в этом смысле претендует на *элитарность*, а значит,

¹⁶³ Наиболее известные представители: С. Сисмондо, Т. Пинч, Г. Коллинз, С. Фуллер, Ч. Троп. Как пример, см. компендиум: The Handbook of Science and Technology Studies. Ed. by E. Hackett, O. Amstermanska et al. 3-th edition, the MIT PRESS 2008.

оказывается дефинитивно *недемократичным* и вместе с тем притязает на монополию в своих суждениях о соответствующей сфере реальности. Наука-де управляется экспертами, неспособными – публично и доступно – представить свои результаты и цели в распоряжение обывателя, политических институтов и массмедиа. Эксперты уклоняются от публичных отчетов¹⁶⁴ в отношении своих достижений и неудач. В этом наука существенно *отстает* от политики, которая когда-то в прошлом тоже управлялась экспертами, не обязанными представлять публичные отчеты, но демократические институты и требования публичности заставили политиков эту отчетность предоставлять.

Наложение такого рода внешнего контроля требовало отказа от Веберовского понимания науки, в частности от положения о том, что «достижение ученого возможно только через специализацию»¹⁶⁵. Наука должна все-таки выйти из состояния «блестящей изоляции» на некий глобальный уровень и превратиться в так называемую «ангажированную программу». Ученому вовсе не следует воздерживаться от оценочных суждений и страстей, и даже напротив – он должен предстать в дополнительной роли *активиста*.

Как следствие, приходится отказываться и от корреспондентской теории истины в пользу *конвенционализма*. Ведь истинность теории, по мнению разработчиков STS, определяется экспертной оценкой. А экспертная оценка, в свою очередь, детерминирована фактом инклюзии эксперта в замкнутое сообщество экспертов. Объективная истина, конечно, возможна, однако лишь там, где знание потеряло свою актуальность. Подлинная наука – эта сфера дискуссий и контроверз. Однако в условиях такого рода дискуссий именно социальные факторы (мнения экспертов, редколлегий рецензируемых журналов из международных баз научного цитирования, фондирование и гранты) имеют решающее значение в принятии решения о – *текущей* – истинности суждений и теорий¹⁶⁶.

В этой связи существенно меняется и представление о *природном* или «естественном» характере знания. Знание-де вовсе не должно как-то соответствовать и «следовать» за объектом, данным разным исследователям универсально в виде их идентичных переживаний (т.е. когнитивно и интерсубъективно). Знание, следовательно, не обязательно доказывается и обосновывается на основании универсального и принудительного пути рассуждения (метода), в которых внешний мир дан чувствам

¹⁶⁴ Наука в этом смысле должна включать в себя некую «Нижнюю церковь» (С.Фуллер) задача которой – представлять публичные отчеты своих достижений и рассматривать (и согласовывать) иные наблюдательные перспективы (прежде всего, конечных пользователей знания) как валидные и для самой науки. *Sismondo S. Science and Technology Studies and an Engaged Program // The Handbook of Science and Technology Studies. MIT PRESS. 2008. P. 18.*

¹⁶⁵ Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. 1990. С.707-735.

¹⁶⁶ Тезис Г. Коллинза состоял в том, что принадлежность к сообществу экспертов значит вдля решения научных контроверз гораздо больше, чем научный метод. *Collins H. M. Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. London. 1985.*

исследователей принудительно. Напротив, знание *изготавливается* в лабораториях в процессе экспериментирования. Но как тогда избежать произвола в формулировании познавательных утверждений? Что является *природным* ограничителем человеческого произвола? Именно лаборатория, по мнению адептов STS, есть коллективное и в этом смысле – такое же *естественное или природное* образование, каковым считался ранее окружающий мир. В каком-то смысле эксперименты и коллективы (лаборатории) даже оказываются «природнее» самой окружающей (т.е. не включенной в лабораторное экспериментирование) природы, поскольку там исследуемые феномены изолируются в их чистом или первозданном виде. Как следствие, меняется значение полюсов в отношении *искусственного/естественного*. То же, что прежде полагалось «искусственным» (созданное в лабораториях и сконструированное в научных исследованиях) порождает то, что раньше считалось естественным. В этом аспекте лекарства создают болезни (в прямом и переносном смысле), ведь классификации болезней отвечают методам лечения болезней, которые, как следствие, и определяют то, что следует лечить в качестве болезни.¹⁶⁷ Так, и климатологические прогнозы в некотором смысле создают погоду, поскольку исключительно благодаря климатологии и в ее рамках генерируются классификация на климатические зоны, что и позволяет затем и в самом мире обнаружить (сконструировать) климатические различия.¹⁶⁸

Означенный выше конфликт между требованием публичных демократических решений и элитарным характером научной экспертизы должен был, по мнению представителей STS, решаться через демократизацию экспертизы, публичный и политический контроль. В связи с этим были описаны интересные случаи участия ВИЧ-пациентов в экспериментах над ними, и в первую очередь в решениях о справедливом (с точки зрения пациентов, т.е. самих предметов исследования) распределении лекарств¹⁶⁹, что, конечно, ослабляло научные возможности сравнивать эффективность препаратов по степени их воздействия.

Уже здесь в этой попытке согласования двух наблюдательных перспектив (экспертной и системной, с одной стороны, и индивидуальной, с другой) просматривается идея наложить на когнитивные процессы нормативные ограничения, которые бы служили согласованию этих перспектив (консенсусу). Это идея нормативных ограничений апеллирует к традиционным средствам достижения консенсуса: прежде всего – к идее

¹⁶⁷ Ожирение не считалось патологическим состоянием, пока не возникли методы борьбы с ожирением. Другие примеры: Fishman J. Manufacturing Desire: The Commodification of Female Sexual Dysfunction // Social Studies of Science. 2004. №34. P. 187–218.

¹⁶⁸ Miller C. Climate Science and the Making of a Global Political Order / States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order. London. 1984. P. 46–66.

¹⁶⁹ Epstein S. Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge. Berkeley. 1996.

третейского судьи или суда присяжных, которые, не являясь специалистами (т.е. ограничены в их когнитивных возможностях), все-таки способны сопоставить предложенные контроверзы – тезисы экспертов (адвоката и прокурора), и могут нормативно (путем принятия обязательных к исполнению решений, ориентированных на право) определять истину. В этом смысле и наука не должна становиться здесь исключением: и в науке сложнейшие контроверзы и дилеммы могут быть вынесены на суд обывателей – laypersons, презентироваться в популярной форме и разрешаться публично на основе решений внешних по отношению к науке институций.

Перечисленные выше принципы существенно подрывали представление об автономном и обособленном характере научного знания. С одной стороны, в само научное сообщество теперь могли включаться те, кто должен быть исключен как не имеющие должных квалификаций. С другой стороны, и сами «предметы научного обсуждения» (пациенты в медицинских, биологических и др. исследованиях) в каком-то смысле получали статус исследователя, что нарушало базовый принцип наблюдения, где наблюдатель и наблюдаемое должны быть разведены в пространстве, а эффекты, вносимые наблюдателем, устранены из картины наблюдения.

Решение совместить такие столь разнонаправленные перспективы наблюдения предполагало формулирование нормативных основ научной экспертизы, что требовало включать в состав экспертов не-ученых, с принципиально иными – *стабилизирующими научный процесс* – мотивациями. Ведь последние в отличие от ученых, ориентированных исключительно на новое, неизвестное, любопытное, опасное (т.е. инновации), привносят в науку нормативные установки, предполагающие *устранение* всего опасного, рискованного, существенно выходящего за пределы привычных ожиданий, норм права, морали и т.д. (Всем известно о бесчисленных запретах на исследования и разработку ГМО, онкопотентных клеток, клонирование и т.д.). Предполагалось, что такого рода «совмещенное» или «усредненное» знание способно демократизироваться и популяризироваться и в конечном счете, - адаптироваться к когнитивным возможностям простого обывателя, что, как следствие, нейтрализовало бы парадокс *anything goes*. Таковая нейтрализация предполагала, что некая «гражданская эпистемология» в функции публичной экспертизы ограничит произвол исследователей.

Знание в акторно-сетевой теории

В роли эксперта, с точки зрения STS, мог выступать и простой сантехник, поскольку последний выступал конечным и в этом смысле более компетентным

пользователем знания (luser = local user). Программа STS представала своего рода вызовом в отношении традиционного представления о науке – как исключительно автономной, специализированной (М.Вебер), операционно-замкнутой функциональной системы (Н.Луман), ориентированной на когнитивные реакции в случае нарушения той или нормы (нормативного ожидания), а значит – ее пересмотра.

В качестве своего рода ответа на этот «нормативный» пересмотр принципов научного наблюдения может быть рассмотрена Акторно-Сетевая Теория, словно защищающая знание от нормативного контроля со стороны внешних для науки общественных инстанций путем введения туда новых нечеловеческих акторов. Задача виделась в том, чтобы обосновать знание так, чтобы оно, во-первых, не зависело бы от индивидуальных (а значит, локальных, случайных, контингентных) перспектив наблюдателя и, во-вторых, не зависело бы и от замкнутой в себе корпорации ученых, не способных и не желающих выставлять свои достижения на публичный и открытый нормативный суд. Но как это сделать, не прибегая к нормативным ожиданиям сантехников и водопроводчиков? С точки зрения АСТ, следовало «дать слово» не только пациентам и «люзерам» (что ограничило бы когнитивный произвол в отношении тех или иных норм со стороны ученых), но и шире – самим объектам исследования – микробам, лошадям и гравитации и т.д.

В работе «A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence»¹⁷⁰ Бруно Латур рассматривает случай эволюции лошадей, как она представлена в научных реконструкциях (с точки зрения ученого, руководствующегося «последними данными»). Эта эволюция, с его точки зрения, имеет очевидное направление – увеличиваются размеры тела, утоньшаются ноги, удлиняются зубы. Между тем, эволюция семейств и популяций лошадей, взятая сама по себе и в каждый свой конкретный момент, имела свой собственный конкретный вектор, – и к уменьшению, и к увеличению, и к утоньшению, и к утолщению органов. Исследователи, по мнению Латура, как правило, имеют дело с последней стадией эволюции и лошадьми последнего типа. Но ведь это никак не определялось линией развития самих многочисленных семейств и популяций лошадей. В этом смысле: *эволюции лошадей и эволюция знаний в отношении лошадей суть две разные и гетерогенные последовательности событий.*

И действительно эволюцию лошадей определяют случайные факторы развития: давление и разнообразие среды, случайные мутации. Между тем эволюция представлений о лошадях определяется собственными факторами, среди которых присутствуют ошибки в

¹⁷⁰См. Latour B. A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence / The Handbook of Science and Technology Studies. MITPRESS. 2008. P. 83-112.

интерпретации, коррекции коллег, давление времени и социального окружения, точность инструментов, поддержка институтов и финансирования и т.д. Однако эти две истории в некоторые моменты словно способны сопрягаться: так, некоторые «архаические» лошади с конкретными векторами своей эволюции «случились» к конкретным исследованиям и конкретным исследователям, как в свое время Ньютон «случился» к гравитации, а Пастер «случился» к микробам.

Пересмотр корреспондентской теории истины в пользу прагматизма и понятие сети

Из этого на первый взгляд невинного переопределения роли *объекта*, который теперь и сам может рассматриваться как некий «коммуникативный партнер», способный предложить собственные «пропозиции» в отношении себя, вытекают гравитирующие следствия в отношении *теории истины*. С точки зрения АСТ, не может существовать какого-то готового, финального знания, которое можно сравнить с самим феноменом на предмет соответствия. Имеют место постоянно подсоединяющихся друг к другу последовательности восприятий или опыта. А то, что мы считаем некоторым финальным образом объекта восприятия – это всего лишь результат «ретроактивной коррекции» (Г. Башляр). Латур использует прагматистскую теорию истины У. Джеймса.¹⁷¹ Корреспондентская же (= телепортационная) теория истины исходит из *одновременной* данности двух полюсов: субъекта (первого определения) и корреспондирующего ей и *уже* всесторонне данного объекта. В этом смысле эта теория никак не учитывает фактор времени и вытекающей из него принципиальной неполноты знания. Знание являет собой некий «путь объективности» (У. Куайн), но чтобы этот путь был направлен согласно означенным векторам требуется *сеть*, состоящая из нитей и узлов. Лишь в этом случае наше познание будет сколько-нибудь прочным, и в эту сеть можно будет «поймать» значимое знание, и как следствие, преодолеть радикальный разрыв между знанием и миром, словом и вещью – разрыв, прежде всего, в практиках их существования: ведь в одном случае речь идет о субсистенции (самореплицировании, самокопировании изучаемых объектов), в другом о – референции, указании на иное. «Нить познания» в случае исследования лошадей предстает как последовательность исследовательских операций: раскоп, транспортиция, чистка, описание, классификация, составление скелета

¹⁷¹ Допустим, нам явлен неясный образ пушистого зверя, а потом по мере приближения мы распознаем образ собаки и решаем, как будто бы она уже присутствовала и была распознана раньше – как объект, известный субъекту. На самом же деле этот финальный образ был сконструирован ретроспективно или ретроактивно так, *как будто* он уже был воспринят заранее.

и т.д. И эта последовательность радикально отлична от «нити эволюции» самих исследуемых животных: борьба за выживание, скрещивание, размножение.

И все-таки, как уже упоминалось, в некоторых регионах осуществляется *сцепление этих эволюционных линий или нитей*, образующих некие узлы сетей, в которых конкретный модус существования (субсистенции) лошади (например, фрагмента скелета) и сцепляется с нитью опытов палеонтолога-гипполога.

Так, акторно-сетевой подход убеждает нас, что научное знание все-таки способно сохранить автономию, поскольку имеет собственные вектора и внутренне согласованно наподобие знания математического. Оно лишь отчасти определяется внешним образом и лишь отчасти определяется характером (эволюцией) объектов самих по себе. При этом именно за счет своей автономии оно все-таки способно «встретиться» с реальностью, наподобие того, как разные геометрии «встречаются» с разными пространствами. Именно реальность все-таки *в некоторые узловые моменты и в некоторых точках сопряжения* выступает – пусть ситуативным – *стабилизатором знания*, ограничивает его от случайности и избавляет его от парадокса «anything goes»

Научное знание как выражение когнитивных ожиданий

И все-таки воспроизведенное выше отношение между когнитивными и нормативными отношениями к реальности представляются несколько более сложными, чем требование *нормативного общественно-политического контроля* над когнитивным поведением ученых (выдвинутое STS). Неочевидным представляется и требование отказаться от этого контроля в пользу *сетевой стабилизации* знания за счет введения нечеловеческих акторов: гравитации, микробов, лошадей и т.д. (выдвинутое АСТ).

Программы STS в существенной степени опирается на нормативную модель научной коммуникации. В интерпретации STS дело выглядит так, как будто научные суждения имеют дело (не только и исключительно) с *переживаниями* (= intersубъективно удостоверяемыми восприятиями) ученых, в которых внешний мир науки дан принудительно и универсально. Научные суждения, в интерпретации STS, имеют дело, скорее, *действиями и решениями*, а значит – требуют субординации действий, где одно действие вызывается другими действиями на основе коллективной обязательности, власти, т.е. нормативных, а не когнитивных ожиданий предполагающих принципиально иной формы (добровольной!) принудительности, опирающейся на общности (intersубъективности) восприятий ученых. С нашей точки зрения такая редукция научного знания к действиям не выдерживает критики, поскольку предполагает

редукционизм, сводя науку к принципиально иным формам (политической и правовой) коммуникации. Ведь в рамках политики и права всякое действие – на основе медиума власти – требует субординации действий *безотносительно переживаний действующих лиц*. Научное же знание, напротив, предполагает *когнитивные реакции на разочарования в ожиданиях*, в то время как все остальные типы (нормативного) знания требуют лишь укрепления нормы в случае разочарования в ожиданиях. Разочарование в утвердившемся знании в науке, в отличие политики и права, не укрепляет норму за счет элиминации источника аномии (*репрессивное право*), не компенсирует и восстанавливает «поврежденный» разочарованием порядок, а ставит дилемму выбора между нормой и противоречащим ей действием. В случае разочарования в ожиданиях в научной коммуникации ставится вопрос о том, что же в таком случае является неправильным, ложным, заблуждением: само правило, норма, закон, обобщение или противоположное ей действие (разочарование)? Система коммуникации оказывается перед выбором в вопросе о том, что привело к фиаско тех или иных ожиданий: либо не адекватна норма (научный закон или теоретическое положение), либо не соблюдены условия эксперимента (испортилась лакмусовая бумажка), а регулярность-под-вопросом следует все-таки оставить в силе (тезис Дюгема-Куайна).

В этом случае, в научной коммуникации парадокс *anything goes* разрешается путем различения нормативных и когнитивных реакций на разочарования в норме. Знание, таким образом, выступает неслучайным следствием выбора между возвращением к норме (право и политика) и ее когнитивным преодолением (наука). В следующем параграфе мы более обстоятельно рассмотрим более возможности системно-коммуникативного концептуализации научного знания и те преимущества, которые такое понимание дает нам в сравнении с подходами STS и АСТ.

Основные итоги и выводы четвертого параграфа

В данном параграфе мы анализировали бинарную наблюдательную перспективу в отношении научного знания, поскольку последнее может рассматриваться, с одной стороны, в контексте делающего высказывание индивида (с ограниченными когнитивными возможностями), с другой стороны, как знание, оценивающееся в самом широком контексте науки в целом. Были проанализированы решения (предложенные в STS и АСТ) вытекающей отсюда проблемы: является ли то, что мы признаем знанием в первом случае, таким же знанием, исходя из более «высокой» перспективы наблюдения. Сделан вывод, что 1. Решение STS, утверждающее необходимость «нормативного»

публичного и политического контроля над изготовлением научного знания, над «когнитивными» установками ученых, является неудовлетворительным в силу преобладания в науке именно когнитивных установок и ожиданий; 2. Что акторно-сетевой подход позволяет сохранить автономию науки, фиксируя, с одной стороны, ее «собственные вектора», а с другой стороны, «давая слово» сами реальным объектам, которые в некоторые узловые моменты выступают стабилизатором знания, ограничивает его от случайности и избавляет его от парадокса «anything goes».

Параграф пятый: о понимании в расходящихся перспективах научного наблюдения

В этом разделе мы продолжаем исследовать вопрос о социальном характере знания, но теперь в большей степени обращаемся к знанию научному. Нас интересует вопрос о том, возможно ли рассматривать научные исследования как обычную коммуникацию обычных людей, каковыми, безусловно, остаются ученые. Ведь всякое новое научное достижение некоторым знанием, но и некоторым запросом на контакт, предложением общения, приглашением к дискуссии, требует проверки другими исследователями, а значит, – и продолжения общения и образования коммуникативной системы. Если же исходить из различия наблюдательных перспектив и различий в средствах (медиа) наблюдения, то возникает проблема: как согласовать такие расходящиеся перспективы? Есть ли нечто общее в дивергирующих смыслах, атрибутируемых научным понятиям (неизменной массе Ньютона, и зависящей от скорости массы Эйнштейна)?

Здесь мы также подходим к ключевому для нашего исследования тезису о том, что при анализе научного знания (научных объяснений, специфичности научных законов в их отличие от акцидентальных генерализаций, как и в вопросе о критериях и оценках лучших или предпочтительных теорий и лучших понятий) должен быть предварительно осуществлен анализ «естественной» коммуникации и, прежде всего анализ процесса естественного понимания, а также тех повседневных установок, которые обеспечивают это понимание, включая сюда особые средства коммуникативных (повседневных) подтверждений и убеждений.

Лишь такой анализ «естественных идеалов хода вещей» дает ключ к анализу научного знания, в отношении которого пора отказаться от наивной установки, что сам предмет должен продемонстрировать истинность высказываний по его поводу и навязет

правильное понимание. Предметное измерение научной коммуникации должно быть дополнено социальным измерением, а также временным!

В этой связи мы формулируем социопистеомологический тезис, что коммуникативные стратегии, как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях по своей коммуникативной структуре (как последовательность этапов сообщение-информация-понимание) остаются идентичными. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают конечное понимание (как завершение элементарного коммуникативного цикла) и, как следствие, акцептацию запросов на контакты. Как раз в этом смысле нас будет интересовать сходство в процессе понимания, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных объяснений.

Требования понимания как экстерналистский фактор научного познания

Можно ли рассматривать научные исследования, в особенности, высокоабстрактные теоретические построения, как обычную коммуникацию обычных людей, каковыми, безусловно, остаются ученые – при всей их отличительности в эрудированности, образовании и установках?¹⁷² Ведь каждая новое теоретическое предложение, скажем, математическая теорема является не просто математическим предложением¹⁷³, но и некоторым запросом на контакт, предложением общения, приглашением к дискуссии, требует проверки другими исследователями, а значит, – и продолжения общения и образования коммуникативной системы. Как раз в этом смысле нас будет интересовать сходство в процессе понимания, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных объяснений. Мы пробуем объяснить генерацию и обоснование научного знания, имеющего своим источником свойства самого общения ученых, пусть даже свои высказывания, они, как им кажется, основывают на объективности предметных описаний и наблюдений.

¹⁷²Конечно, в качестве такого исследования можно рассмотреть Гуссерлевский проект феноменологической редукции явлений к структуре чистого сознания, где под последней могли пониматься и научные идеализации, от которых, по мнению мыслителя, неплохо бы вернуться назад «к вещам» и «жизненному миру». Но речь у Гуссерля идет о структуре (потока) сознания (и даже, скорее, восприятия, как условия для формулирования научных понятий), а вовсе не о структуре *общения*). «Мир, как он «реально существует» на деле, есть продукт конструктивного теоретизирования, исходным материалом которого являются объекты и смысловые связи повседневного опыта – жизненный мир. В то же время в ходе развития современной науки и ее философско-методологического осмысления значение жизненного мира как предпосылки и основания науки было забыто и мистифицировано». *Филатов В.П.* Естествознание и «жизненный мир»: проблемы феноменологической интерпретации точных наук // Вопросы философии. 1979. № 4.

¹⁷³ Уже языковая интуиция указывает на тождество омонимов «предложения» как высказывания и «предложения» как предложения к совместному решению.

Одновременно мы попробуем обосновать и второй социоэпистемологический тезис. Социальную реальность (общество, действия, коммуникации) следует понимать как «стандартный» предмет научного исследования, пусть, безусловно, и выказывающий специфичность, но, тем не менее, принципиально допускающий стандартные процедуры научных описаний, измерений, наблюдений, каузальный анализ, формализацию и теоретизацию. В сочетании с первым тезисом, второй тезис требует представлять науку как особую наблюдающую и коммуницирующую систему, обусловленную двояким образом: (1) определяемую как свойствами самой наблюдаемой реальности, предметами научных наблюдений, так (2) и свойствами наблюдателя, т. е. свойствами научного общения, которые, в свою очередь, эксплицируются самой наукой. В этом случае и сам этот наблюдатель, и наблюдение (=общение ученых, научная дискуссия) выглядели бы столь же доступными для полноценного научного анализа, как и предметы, наблюдаемые в ходе этого общения. Причем именно социоэпистемологическая фиксация такого добавочного фактора в генерации и обосновании научных идей делает возможным (хотя бы для некоторых целей анализа) выносить этот фактор за скобки и в каком-то смысле очерчивать рамки гипотетической «чистой науки», свободной от «возмущающих воздействий» наблюдателя (т.е. от свойств самого обсуждения, самореференции).

Итак, мы предлагаем такое понимание научной коммуникации, в котором последняя объяснялась бы не только внутренним образом, т. е. исходя исключительно из предмета научного интереса (внешнего мира научной системы коммуникации), но и добавочным образом детерминировалась бы ситуацией самого общения, а именно: требованиями понимания (или понятности предлагаемых идей), условиями взаимопонимания (или консенсуса в среде ученого сообщества), которые, очевидно, выглядят дополнительными по отношению к главному условию научности: истинности, непротиворечивости теоретических суждений, наблюдаемости вытекающих из теории практических следствий.

Впрочем, этот список добавочных условий научности следует дополнить и требованиями научного приоритета, научной честности (scientific self-policy в зарубежной философии науки), имеющих явный экстерналистский (коммуникативный) характер, не связанный очевидным образом с истинностью и новизной научных идей. Всякий раз, когда мы будем сталкиваться с такой сверх-сверхдетерминацией в генезисе научного знания, всякий раз, когда истина и новизна, как ведущие мотивации научного исследования, будут дополняться перечисленными дополнительными («экстерналистскими», социальными) каузациями, мы будем говорить о социоэпистемологии.

Об универсальном понятии понимания

Вышеозначенный подход заставляет отказаться от ставшего обычным различия *объяснения*, имеющего дело якобы исключительно с научными законами и воспроизводимыми наблюдениями, и *понимания*, характерного для повседневного общения, предполагающего вчувствование или реконструкцию скрытого субъективного смысла действий или их мотивов. Такое различие, конечно, можно проводить, но проистекает оно не из специализации научной коммуникации, будто бы требующей особых форм обоснования – объяснений. Объяснение является условием понимания, где бы последнее ни осуществлялось. А если такого объяснения не требуется, значит, оно принимается молчаливо и просто не требует вербализации.

Так, я понимаю (= объясняю себе), почему, стоя перед дверью, человек роется в кармане. Он ищет ключ. Для понимания этого обстоятельства мне не только приходится конструировать интерсубъективный смысл или мотив данного действия, общий для меня и другого в смысле А.Щюца или М.Вебера. Мне требуется полноценное рациональное объяснение, способное принимать и гемпелевскую форму *генерализаций* и *антецедентов*¹⁷⁴ (подробнее см. ниже). Очевидно, что понимание и в повседневности основано на объяснении.

Впрочем, с другой стороны, и в отношении научных теорий, законов и наблюдений нам не избежать выполнения определенных требований к пониманию. Ведь ученые, как минимум, должны понимать обращенные к ним суждения коллег. Понимание в этом смысле непременно представляет собой некоторый промежуточный этап и итог коммуникации, зависящий от некоторого контекста: например, личностных свойств участников коммуникации, конкретной ситуации, а также известности этих обстоятельств участникам общения. Я понимаю адресованную мне коммуникацию, если фиксирую связь (или различие) между (1) данным явно и отчетливо (и в этом смысле объективным и даже - материальным) сообщением, в фактичности которого не приходится сомневаться, и (2) извлекаемой из него информации, которая является моим личным достижением и моей личной реконструкцией интенций, скрытых от меня в сознании моего партнера.

Итак, понимание – это сравнение *фактического* и *латентного* на предмет их соответствия (или несоответствия). Мы говорим о понимании в тех случаях, если речь

¹⁷⁴ 1. Если X роется в кармане перед закрытой дверью, то он ищет ключ. 2. А роется в кармане перед закрытой дверью. 3. Заключение: А ищет ключ.

идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и кроющихся за ними мотивов сообщаемого, (2) о различении данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между *самореференцией* (тем, что в коммуникации относится к самому обсуждению) и *инореференцией* (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации)¹⁷⁵. И если такое различие отрефлектировано участником, предложение коммуникации может быть не только понято, но исходя из этого понимания принято (или непринято), что становится условием продолжения обсуждения и образования системы. Только благодаря пониманию возникает воспроизводящаяся система коммуникаций, ведь именно понимание провоцирует следующее сообщение, извлечение информации исследующее понимание (полный коммуникативный цикл).

Понимание, таким образом, всегда предполагает фиксацию различия явного (сообщения) и скрытого, которое должно быть «добыто» и «извлечено» из некоторого довольно широкого контекста (прежде всего, знания личности говорящего, ситуации, пространства-времени, в котором сообщение произнесено).

Правда, и *объяснение* апеллирует к контексту. Но этот контекст гораздо менее ситуативен, всегда абстрагирован от конкретных места и времени коммуникации, а также от свойств общающихся лиц. Объяснение – это некоторая редукция объясняемого явления к ранее известному, но главное – к воспроизводимому и повторяющемуся из раза в раз. Это известное часто (например, в схеме причинного объяснения К.Гемпеля¹⁷⁶) представляет собой некоторое условное или контрфактическое утверждение («если X, то Y»), дополненное указанием на прошлое событием А (антецедент) из множества X, которое объясняет событие В (эксплананс) из множества Y.

Объяснение, таким образом, представляет собой некоторый в большей степени *объективированный итог предшествующих коммуникаций* (в которых из раза в раз уже фиксировалось некоторое обобщение). Объяснение принимает форму объективного суждения, более не зависящего от структуры коммуникации, от коммуникативного контекста и знания участниками личностных свойств других участников, которые в случае понимания помогают участникам коммуникации различить и реконструировать латентные смыслы суждений, в их синтаксических формах – вполне очевидных.

¹⁷⁵ Понять высказывание «идет дождь» - значит подобрать к этому сообщению соответствующую информацию, т. е. решить, какой смысл *в большей степени* ему соответствует – утверждение о погоде (о внешней для коммуникации реальности – инореференция) или мотивирование собеседника остаться дома (вывод о характере самого обсуждения – самореференция).

¹⁷⁶ *Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation / Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. N.Y. 1965.*

Объяснение в большей степени ориентировано на синтаксис и форму, чем на разнообразие возможных семантик и контекстов.

Но зададимся вопросом, действительно ли в отношении научных фактов и регулярностей (как это имеет место в гемпелевском объяснении) нам непременно следует дистанцироваться от характера обсуждения проблемы, от свойств самого обсуждения? Если понимание в нашем смысле (как сравнение синтаксической формы суждения и семантики) есть фундаментальное и универсальное свойство всякой коммуникации, то *коммуникативный характер науки* в свою очередь должен был бы выказывать эту зависимость. И действительно – в науке мы тоже имеем дело с пониманием, например, когда сравниваем (логические) формы высказываний и отвечающие им множества значений или референтов. Обратимся к примеру Гемпеля,¹⁷⁷ который мы применим к случаю понимания.

Понять утверждение (1) «все вороны – черные», значит, во-первых, разобраться с тем, как обстоит дело с *формой суждения* (т. е. с самим сообщением или синтаксисом). Так, на этой стадии выясняется, что синтаксически первая форма эквивалентна двум другим, а именно: (2) «если не черный, значит не ворон», (3) «или ворон, или не черный»). Пока мы имеем дело исключительно с синтаксисом. Выбор нужного варианта синтаксической формы делает возможным обращение к соответствующему множеству референтов (т.е. выбор семантики), а именно: или (1) черных воронов, или (2) белых перчаток, (3) черных ботинок. Так, мы можем перебирать черных воронов в поисках нечерных экземпляров (первая форма), или перебирать нечерные предметы в поисках нечерных воронов (вторая форма). Мы *понимаем*, если имеем возможность соотносить *форму* (синтаксис) и ее значения (множества объектов), пока не встретим несоответствий, противоречий или аномалии – белого ворона.

И если обнаруживается *непонимание*¹⁷⁸, это явление можно назвать аномалией в куновском смысле слова. Аномалия не вписывается в известные, утвердившиеся регулярности. Таковой, например, является утверждение о существовании «яйценесущих млекопитающих». Ученый словно не понимает, как такое возможно, ведь это противоречит ранее утвердившимся и регулярно воспроизводящимся наблюдениям, которые приняли форму эмпирического закона. Также и данные об орбите движения Меркурия вступили в противоречие с законами Ньютона и оказались непонятными ученому.

¹⁷⁷ Там же. С.3-45.

¹⁷⁸ Непонимание выступает в двух смыслах: как неспособность соотнести суждение (понятие) и его смысл (когда мы не понимаем, почему мы не понимаем), и как фиксация некоторой аномалии, т. е. случая, противоположности утвердившейся в научном обиходе генерализации (белый ворон).

Непонимание (аномалия) может привести к разрыву общения, точно так же, как это имеет место в повседневной коммуникации. Фиксация аномалии в некоторых случаях приводит к отказу от утвердившихся регулярностей или закономерностей. Если ученый не понимает, как аномалия *встраивается в законы*, то зачастую предметом отклонения может оказаться и сама генерализация, что предполагает разрыв коммуникационных связей с сообществом ученых, придерживающихся этих «устаревших» генерализаций или парадигмы. Этот – относительно свободный – выбор ученых между сохранением аномалии за счет отказа от признания генерализаций или сохранением генерализаций за счет нейтрализации аномалии является универсальной характеристикой коммуникации, и представляет собой частную форму конфликта когнитивных и нормативных ожиданий: разочарование в ожиданиях всегда приводит либо к утверждению новой информации за счет отказа от нормы, либо к утверждению (и даже – укреплению!) нормы за счет нейтрализации аномального.

Специфичность научной коммуникации, как показала полемика К.Поппера и И.Лакатоса¹⁷⁹, пожалуй, состоит лишь в том, что в науке опровержение (разочарование в норме), не всегда означает отклонения опровергаемого. Так, наблюдение того, что движение Меркурия, опровергает и фальсифицирует законы Ньютона, не привела к отказу от ньютоновской механики. В науке нет такой *срочности* в принятии решения по поводу альтернативы действующей *нормы* и девиантного, как это имеет место в правовой или политической коммуникации. И именно потому, что нормативные и когнитивные ожидания в научном общении уравновешены, а разочарования в норме (генерализациях) в некотором смысле институционализированы и парадоксальным образом оказываются ожидаемыми и даже желанными.

Итак, мы пришли к выводу, что понимание и непонимание имеют *универсальный* характер, свойственны научной коммуникации, поскольку последняя (помимо специфических) выказывают и универсальные свойства общения.

Наблюдение и объяснение в науке и повседневности – релятивизм

Но как же обстоит дело с объяснением? Свойственно ли последнее исключительно научному дискурсу или может равным образом применяться к объяснению человеческого поведения и общения? И есть ли существенные различия между объяснительными процедурами в науке и объяснением в повседневной жизни? В классической форме проблема объяснения была поставлена Гемпелем и Оппенгеймом. Задаться вопросом о

¹⁷⁹Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 221.

том, почему случилось некоторое событие, равнозначно вопросу о том, в какие законы вписан этот случай, и какие предшествующие обстоятельства его вызвали¹⁸⁰.

Но является ли такой путь объяснения исключительным достижением научной коммуникации или же оно является общим свойством общения людей? Как, например, объяснить и, следовательно, понять социальное действие? Применительно но к социальному действию можно ли дать объяснение через генерализацию и предшествующее условие? Например, наблюдатель может объяснить действие лесоруба, вписав его в некоторую *генерализацию*: если требуются дрова для строительства или отопления, лесоруб рубит дерево. *Антецедент*: лесоруб нуждается в дровах для отопления. *Эксплананс*: лесоруб рубит дерево. Это обобщение (как минимум для наблюдателя действия) выступает аналогом научного обобщения.

Гемпелевское представление о научном объяснении подразумевало однозначную связь между генерализацией и наблюдениями (антецедентом и экспланансом), которые подводилось подтакое обобщение.

Однако однозначность такой зависимости была поставлена под вопрос В известном примере Фейерабенда (в его первой научной статье «Попытка реалистической интерпретации опыта»¹⁸¹) рассматриваются наблюдаемые цвета светящихся объектов (их объективные свойства – P1, P2, P3), которые соответствуют словам языка: *красный, белый, синий*. Наблюдатель может использовать эти слова независимо от того, наблюдает он эти свойства или нет. Но наблюдатель второго порядка¹⁸², например, ученый, наблюдающий и святающийся объект, и первого наблюдателя, способен зафиксировать зависимость изменения цвета от скорости движения источника света по отношению к наблюдателю. Т. е. с точки зрения наблюдателя второго порядка, цвет объекта уже не является некоторым стабильным объектным свойством, но оказывается характеристикой отношения *наблюдатель/объект*. О свойствах объектов самих по себе (недоступных наблюдению, вписываемого в ту или иную генерализацию), говорить, с точки зрения Фейерабенда, бессмысленно.

В этом смысле язык наблюдателя, объяснение и понимание наблюдаемых свойств, определено теоретизацией второго порядка, т. е. некоторой более высокой инстанцией суждения, которая способна выбирать между различными теориями и соответственно

¹⁸⁰ Почему погруженное весло выглядит согнутым? Объяснение предполагает, что во-первых, мы подбираем релевантные законы (закон рефракции, а также общее утверждение о том, *что вода плотнее воздуха*). Во-вторых, мы фиксируем предшествующие обстоятельства (антецедент): что, весло на самом деле является прямым, и что погружено в воду под определенным углом. Отметим несоизмеримость этих двух условий. Ведь одно из них указывает на конкретную временную каузальность *здесь и сейчас*, а другое – на идеальную, контрфактическую, абстрактную модель, которую и описывает – вечный! – закон.

¹⁸¹ *Feysabend P. K. An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience / Proceedings of the Aristotelian Society. 1957-58. Vol. 58. P. 143-170.*

¹⁸² Вводя фигуру наблюдателя второго порядка, мы модернизируем пример Фейерабенда.

различными языками. В целом, эта идея Фейерабенда ставит под вопрос общую интуитивную предпосылку в интерпретации объяснения. А именно, то представление, что объекты с воспроизводимыми свойствами, объективные наблюдения, должны служить основанием объяснения, так сказать, общим полюсом, с которым вынуждены соглашаться все наблюдатели, и который служит основой научной intersубъективности (предметное измерение коммуникации). Теперь объектные свойства вещей нельзя рассматривать как непреложный аргумент (Витгенштейн), к которому следует апеллировать в споре. Наблюдательные высказывания теперь не могут зависеть от единой, выделенной, индивидуальной позиции наблюдателя, так как всегда может обнаружиться и другой наблюдатель, который бы фиксировал *контингентность* связи *наблюдатель-объект*.

Правда эта связь между генерализацией и наблюдением не так проста и в случае объяснения обычного поведения. Действительно ли теория (некоторое множество генерализаций) в этом случае однозначно определяется наблюдаемыми свойствами? В приведенном выше примере слесорубом наблюдатель может интерпретировать действие лесоруба и как рубку для отопления, и как рубку ради физического пражнения. Этот анализ зависит от того, в каких системных отношениях находятся наблюдатель и исполнитель действия, связаны ли они общей деятельностью или же являются независимыми друг от друга действующими. Наблюдатель повседневности характеризует свои объекты наблюдения, исходя из собственных «теорий» (генерализированных различий), определяемых принадлежностью к некоторой социальной позиции, принадлежности к некоторой обособленной коммуникативной сфере¹⁸³.

Такое представление о *релятивности* свойств действий (и других форм социальности) можно понимать как частный случай общей установки современной философии науки в вопросе о «паразитировании» фактов над теориями (Фейерабенд).

Социоэпистемология может позаимствовать этот общий тезис Фейерабенда. Всякое наблюдаемое явление дано с помощью посредника – след (дым от огня, след в пузырьковой камере). Граница между наблюдаемым и не-наблюдаемым постоянно *осциллирует* – в зависимости от контекста наблюдения. То, что в одном (теоретическом) контексте является наблюдаемым (например, наблюдаемый в микроскоп вирус, приобретающий «наблюдаемость» в результате подсоединения к нему тяжелых молекул)

¹⁸³ Так, для священника все человеческие действия подразделяются на греховные и свободные от греха. И в этом смысле, он использует генерализацию, согласно которой, все существа делятся на греховных и безгрешных (людей и ангелов). Врач же будет склонен подразделять все человеческие на полезные и вредные для здоровья. И здесь определяющей классификацией является генерализированная дистрикция *болезнь/здоровье*, характеризующая именно наблюдательную позицию врача. Одно и то же действие – например, принятие мясной пищи во время поста, будет рассматриваться как *полезное/вредное* или как *греховное/не-греховное*. У действия тоже не может быть «объективных» свойств, независимых от наблюдательных перспектив, в которых оно может рассматриваться.

в другом контексте может рассматриваться лишь как заместитель или *представитель* наблюдаемого. Для принятия решения о том, наблюдаем мы что-то действительно, или, скорее, нет, мы должны определиться с тем, в контекст какой дистинкции мы помещаем данное наблюдаемое явление¹⁸⁴. Так вирус под электронным микроскопом¹⁸⁵ мы будем склонны рассматривать как сам по себе недоступный для наблюдения в сравнении с алмазом, помещенным под электронный микроскоп. Ведь мы в последнем случае действительно *видим* фактическую микроструктуру алмаза, тогда как то, что мы фиксируем в качестве вируса, представлено в виде структуры присоединившихся тяжелых молекул, не являющихся действительными составляющими вируса. Однако, в отличие же от наблюдений небесных объектов посредством радиотелескопа означенный вирус под электронным микроскопом, скорее, можно рассматривать как наблюдаемый, поскольку форма присоединившихся к вирусу тяжелых молекул изоморфна форме самого вируса, тогда как данные радиотелескопа не являются такогорода *аналоговым изображением*.

Другими словами, за каждым наблюдаемым объектом обнаруживается структура дистинкций, контраст, ранее созданные классификации. Мы не можем договориться о том, что наблюдаем одно и то же, пока не договоримся, что используем общую «оптику» (формы, дистинкции, коды).

Научные генерализации и реальность

Гемпель признавал, что существует разновидность генерализаций, например, «законы-индикаторы» (indicator law), функция которых прямо не связана с пониманием и объяснением. Никакая подстановка наблюдений под такие законы не содействует объяснению. Гемпель приводит пример таких индикаций¹⁸⁶:

1. Все пациенты с пятнами Коплика на слизистой щек оказываются больными корью.
2. У Джонса выступили пятна Коплика.
3. Джонс болеет корью.

Очевидно, что первое утверждение является генерализацией, в которую осуществляется подстановка утверждений-наблюдений. Но эксплананс (болезнь) очевидно не получает здесь объяснения, т. к. такое объяснение должно апеллировать к

¹⁸⁴ Питер Ахинстайн называет это «контрастом» см. следующую сноску.

¹⁸⁵ Пример предложен Питером Ахинстайном: *Achinstein P. Concepts of Science*. Baltimore, 1968. P. 160–172.

¹⁸⁶ *Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation // Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science*. N.Y. 1965. P. 375.

некоторому прошлому, причинным образом объясняющему настоящее наблюдение (пятна Коплика не являются причиной кори). Напротив, antecedent (пятна Коплика) является *индикатором* и *предсказанием будущей* болезни. В этом случае, мы понимаем будущее, поскольку видим его приметы в настоящем. И мы понимаем настоящее, поскольку способны установить его референцию к будущим событиям. Такая *не объясняющая, но предсказывающая* теория не описывает реальных импликаций. Но ведь законы и не должны описывать реальность, а представляют ее некоторую идеальную модель. Это отношение подводит нас к классическому философскому вопросу о реальности и формах ее презентации (моделированию, отображению и т.д.). Причем этот вопрос может быть поставлен и в отношении *социальной реальности*. Рассмотрим более подробно отношение теоретической модели и означенных реальностей.

Считалось очевидным, что объяснение подразумевает реконструкцию импликаций, существующих в самой природе. Так, согласно закону идеального газа повышение температуры имеет своим следствием увеличение давления. Но чем удостоверено теоретическое описание, если оно описывает всего лишь поведение идеальной модели? Уилфред Селларс утверждал, что связь между моделью и реальностью состоит в том, что модель при некоторых условиях является еще и *тождественной* таковой реальности. Так, например, кинетическая теория объясняет, почему газ при умеренном давлении подчиняется закону $PV/T=k$. «Газ при умеренном давлении – пишет Селларс – действительно идентичен модели идеального газа – облаку молекул – точечных масс, на которых не сказывалось воздействие межмолекулярных сил»¹⁸⁷. Повышение давления приводит к увеличению расхождения между реальностью и моделью, но это расхождение может быть «исчислено» именно потому, что мы обладаем некоторой базовой идеально-реальной моделью. Этот пример показывает, что соответствие абстрактных описаний и реальности возможно потому, что реальность – пусть лишь в некоторых случаях – «ведет себя», точно соответствуя своему описанию.

Этот же вопрос можно поставить применительно к описанию коммуникации. Ведет ли себя общество в некоторых случаях как точно соответствующее своей идеальной модели? Насколько реальными могут быть общественные идеалы? Или нормы и ценности, как некое нормативное описание, предполагают идеализированность и как следствие несоразмерность социальной реальности? М.Вебер, как известно, в качестве таких дескриптивных ресурсов использовал так называемые «идеальные типы». Социальное действие в контексте такой идеальной типизации характеризовалось как целерациональное, ценностно-рациональное, эмоциональное и традициональное. Такого

¹⁸⁷ Sellars W. The Language of Theories. Readings in the Philosophy of Science. 1989. P. 345.

рода типизация, помимо чисто дескриптивных целей исторического анализа эволюции типов, помогала уточнить и понятие понимания. И действительно, мы способны понять некоторого Другого в том случае, если локализуем его действие в измерении соответствующего идеального типа, который таким образом выступают одновременно и как некоторая генерализация, и как причина действия. Так, в тривиальных случаях мы способны понять преступление, если объясняем его состоянием аффекта, а понять революционные действия можно, указав на приверженность их адептов ценностям справедливости. Но этот же инструмент, допускает и фиксацию отклонений от заданных стандартов. Так, мы фиксируем смешанные типы, где целерациональное поведение ученого, проводящего научное исследование, может отклоняться от стандартов таковой рациональности, получая аффективную мотивацию (любопытство, жажда успеха, честолюбие). Другими словами мы всегда констатируем приближение к некоторому идеалу поведения, который мы можем понять с нашей собственной позиции. Как всегда - *понять* такого рода поведения и действия мы можем, лишь *сравнив* на предмет адекватности фактические действия и генерализации, которые его описывают.

Вопрос состоял лишь в качестве таких генерализаций. Все ли они могут быть приняты в качестве такого рода средств понимания и объяснения? И – применительно к социальной реальности – всегда ли существует возможность зафиксировать «чистое» рациональное поведение, полностью соответствующее идеально-типической модели целерациональности и лишенное примесей всех иных мотиваций? Для ответа на этот вопрос о качестве генерализаций и о возможности чистых (а не просто модельных) форм их проявлений в реальности приходится обращаться к классической проблеме *подтверждения* обобщений или законов.

Проблема подтверждения: контр-фактические и акцидентально-истинные обобщения

Ища взаимопонимания путем убеждений других, мы привлекаем аргументы, подтверждающие наши утверждения. В такого рода коммуникации редко используются доводы, которые подтверждали бы и очевидные, и одновременно явно абсурдные утверждения. Это сделало бы понимание невозможным. Однако с точки зрения строгой научной логики и формально-логического синтаксиса, такая процедура подтверждения оказывается почти неизбежной. Именно на это свойство логического подтверждения

генерализаций указал Нельсон Гудмен¹⁸⁸. Так, наблюдение «эти изумруды – зеленые» подтверждает не только эмпирическое обобщение «все изумруды зеленые», но и странную генерализацию «все изумруды зелесиние», где предикат *зелесиние* обозначает свойство *быть зелеными* во время наблюдения, а в ненаблюдаемом состоянии *быть синим*.

Эта возможность продемонстрировала сомнительность до сих считавшегося самоочевидным критерия Жана Жоржа Пьера Никода¹⁸⁹. Выяснилось, что существуют логически обоснованные подтверждения «непонятных» обобщений, «закономерность» которых противоречит нашей интуиции.

Как же отличить подлинно-научные обобщения от разного рода *акцидентальных генерализаций*, впротиворечащих нашей интуиции. Идея Гудмена состояла в том, что найти способ различать между «законоподобными» и «акцидентальными» обобщениями. Последние, как оказалось, весьма восприимчивы к конкретным условиям, в которых они реализуются и не подтверждают аналогичные случая в иных пространствах и временах. Так, утверждение о том, что лед плавает в воде, применимо и к другому льду, и другой воде, и в прошлом, и в будущем, и в данной точке пространства, и в соседней, причем обусловлено не случайным и уникальным стечением обстоятельств, а неким глубинным, внутренним, структурным основанием, к которому можно было бы редуцировать такую «поверхностную» генерализацию. То, что один кусок льда плавает, связано с тем, что плавает другой, как и с тем, что все они обладают меньшей плотностью, чем вода. Напротив, суждение *этот изумруд является зелесиним* не подтверждает утверждение о том, что и другой такой же объект (в иных пространствах и временах) выказывает то же свойство.

Очевидно, что понимание и объяснение свойств и событий путем вписывания их в регулярности и закономерности может обеспечиваться, если последние будут подтверждены в их универсальности. При этом обычное подтверждение позитивными примерами (критерий Никода) теперь выглядело сомнительным. Однако то, что для развитых научных дисциплин выглядело достаточно скандальным, в проблематических науках, в особенности, в исторических, но также и географии, являлось вполне обычным. Это касалось различия между уникальными социальными констелляциями

¹⁸⁸ Гудмен Н. Новая загадка индукции // Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. Пер. с англ. А.Л.Никифорова. 2001. С. 73–74.

¹⁸⁹ Критерий Никода состоит в том, что подтверждение генерализации должно осуществляться подстановкой только позитивных суждений, т. е. суждений о тех объектах, о которых идет речь в генерализациях, а не других. Генерализация *все вороны черные* подтверждается наблюдениями воронов, а не каких-то других предметов. Хотя логически эквивалентной была бы процедура перебора всех остальных нечерных предметов в поисках белого ворона. См.: *Eells Ellery. Confirmation Theory. Nonprobabilistic approaches / The Philosophy of Science. An encyclopedia. Taylor & Francis. 2006. P. 146.*

(историческими эпохами, своеобразными культурами) и научными формализациями, описывающими нечтоинвариантно воспроизводящееся. Для обозначения первых Г.Риккерт вводит термин «идеографические» описания. «Мы исходим из того, – пишет Риккерт, – что есть граница всякого естественнонаучного образования понятий, т. е. исходим из индивида в самом широком значении слова, в котором (значении слова. – А.А.) оно обозначает всякое возможную как угодно уникальную и особенную действительность»¹⁹⁰. И далее: «...понятия о причинах в естественнонаучных каузальных законах не только общи, но зачастую и какой-либо естественнонаучный каузальный закон сам называется причиной. Так, например, утверждается, что закон падения есть причина ускорения падающего тела... Итак, если естествознание может рассматривать закон падения как «причину» ускоренного движения падающего тела или даже закон тяготения как причину закона падения, так как оно всегда имеет в виду связывать друг с другом лишь общие понятия, в исторической науке всякая попытка признавать при выражении какой либо однократной индивидуальной связи действующими причинами общие понятия или каузальные законы лишила бы нас возможности понять исторический процесс, так как вместо познания того, что некогда действительно было причиной, и действия, к которому мы стремимся, мы получали бы лишь общие отвлечения в понятиях и никогда не могли бы показать, благодаря чему произошли исторические события»¹⁹¹.

При более внимательном анализе, выясняется однако, что такие *исторические констелляции* не столь уж уникальны (ведь всегда есть возможность обобщить человеческое действие, сведя их к общему мотиву – «интересу эпохи» – М.Вебер), а научные «закообразные» обобщения не находят абсолютных логических подтверждений и как следствие, требуют обращаться к уникальному – некой индивидуальной традиции использования соответствующих слов или предикатов («track record» в смысле Гудмена, - см. ниже), лишь некоторые из (некие «entrenched predicates» (Гудмен), т.е. именно «зеленые», а не загадочные «зелесинии») могут быть востребованы в научном предприятии.

Итак, научная формализация в некоторых случаях может быть почти лишена конкретных (содержательных) пространственно-временных референций. Псевдонаучные или случайно-истинные генерализации чаще всего указывают на конкретные и уникальные регионы пространства и времени («Все мужчины в этой комнате – третьи сыновья»). Но как быть с тем, что очевидно научные законы могут выказывать те же свойства (Законы Кеплера предполагают конкретные пространственные временные

¹⁹⁰ Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 303.

¹⁹¹ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. 1997. С. 331.

референции – описывают конкретные формы движения по конкретным орбитам планет вокруг Солнца¹⁹²).

Приходится признать, что в этом смысле и естественнонаучные теоретические описания, и описания самых разных форм повседневности и социальности, как и исторические описания, могут быть в равной мере и обобщающими (номотетическими), и уникальными (идеографическими). Даже и в обычном общении «акцидентальные генерализации» (например, «все собравшиеся сегодня здесь – мужчины»¹⁹³), *обобщающие* уникальные ситуации или констелляции событий, уместны и понятны.

Всякая история того или иного сообщества уникальна, концентрирует вокруг себя специфические «интересы эпохи» и благодаря этому придает смысл (и в этом смысле – *обобщают*) человеческие действия. Именно эта (уникально-обобщающая и обобщающе-уникальная) характеристика сообществ, образующих свою уникальную историю, требует идеографических типов описания в смысле Риккерта. Понять человеческое действие – значит, соотнести действия с такими уникальными и одновременно «*всеобщими* (!) ценностями культуры» – религиозными, государственными, правовыми, научными и ценностями искусства (именно в таком порядке у Риккерта), к которым редуцируется объясняемое поведение и которые благодаря этому только и делают возможным понимание исторического процесса и саму историческую науку¹⁹⁴.

Мы приходим к выводу, что «акцидентальные генерализации» уникальных пространственно-временных констелляций имеют место и в гуманитарных науках, и в естествознании. Они не могут быть отброшены как препятствия для познания и понимания как некие «неподлинны» научные законы, но требуются для динамических, эволюционных, исторических описаний.

Впрочем, и сам Гудмен возвращается к «историзму», когда говорит о необходимости исследовать *историю* научных предикатов, как бы доказавших свою эволюционную успешность. Парадоксальным образом именно *апелляция к прошлому*, к устоявшейся и утвердившейся семантике свойств (где свойство *быть зеленым* несомненно оказалось практически более «успешным», чем – синтаксически, логически и теоретически безупречное, т.е. всегда подтверждающееся при наблюдении – свойство *быть зеленым*), в сущности, *традиция как некий уникальный процесс*, заставляет считать

¹⁹² Эта конкретность не противоречит тому, что законы Кеплера, применяемые к движению одной из планет, подтверждаются и подтверждают характер движения других планет.

¹⁹³ Это очевидно акцидентальная генерализация. Но ведь мужчины зачем-то собираются вместе, и с этим приходится считаться (например, их женам).

¹⁹⁴ У Риккерта такими медиа обобщения выступают «всеобщие культурные ценности» (allgemeine Kulturwerte). Исключительно культурные ценности делают возможными историю как науку». *Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg. 1896–1902. S. 580.*

некоторые свойства действительно общими, научно-генерализируемыми, а значит, обеспечивающими и понимание.

Синтаксический проект – автоматизация понимания

Итак, «синтаксический проект» подтверждения научных законов (К. Гемпеля и других логических позитивистов) потерпел фиаско именно потому, что оказался контринтуитивным, генерировал непонимание, связанное с появлением странных, но безупречных с точки зрения их подтверждаемости и генерализируемости свойств (типа *зелесиние*).¹⁹⁵ Синтаксический проект состоял в попытках предложить качественное и количественное обоснование для подтверждения законов, механизировать акцептацию законов и обобщений. Это сделало бы понимание событий и свойств неким автоматическим процессом. Понимание свойства или события не требовало бы в этом случае возвращения к истории слова, эволюции его семантики, воспоминаниям о том, как оно укоренялось и утверждалось в человеческом языке, традиции культуры, а значит – на этом основании – должно быть понятным. Так, критерий Никода предполагал возможность *количественного* (индуктивного) перебора наблюдений, подтверждающих обобщение. Но именно логическая форма (синтаксис) приводила к парадоксам, где возникали предикаты типа «зелесинего», и следовательно, любое позитивное подтверждение (зеленый изумруд) «научного» обобщения («все изумруды зеленые») приводило к подтверждению также и «случайных генерализаций», и «псевдонаучных генерализаций». Сомнительность *качественных* подтверждений научных генерализаций продемонстрировал знаменитый «парадокс ворона», допускающий возможность изучать изучать птиц, не выходя из кабинета.

Рассмотрим более обстоятельно вопрос о естественных (семантических) условиях понимания и ограниченности синтаксической интерпретации этого процесса.

Идеалы естественного хода вещей и понимание (стандартов) понимания

Вопрос понимания фундаментальным образом зависит от того, что может рассматриваться как *естественно-понятное* само из себя или само по себе, соответствует привычному ходу вещей и не требует объяснений через ссылку на некую форму или

¹⁹⁵ Поиск чисто синтаксических критериев качественного и количественного подтверждения предполагает, что находящиеся под вопросом гипотезы формулируются в терминах, допускающих перспективную оценку; и такие термины не могут быть эксплицированы только синтаксическими средствами. Hempel C. Aspects of Scientific Explanation. New York. 1965. P. 51.

универсальную формулу (синтаксис). Именно на этом фоне появляются аномалии, нечто неестественное и необычное, требующим домысливания причин своего появления. Конечно представления о «естественном порядке» постепенно менялись вместе с традицией человеческой мысли, а вместе с ними менялись запрос на понимание и объяснение.

Стивен Тулмин – в продолжение идей Гудмена об истории развития и утверждении «лучших» понятий – попытался реконструировать такие «идеалы естественного порядка природы», в контексте которых можно судить о том, что требует понимания и объяснения, поскольку отличается от нормального хода вещей. Но теперь речь идет, скорее, об эволюции понятий, изменении их семантики, а не об «успешной» истории «утвердившихся» лучших предикатов. Тулмин задается неким мета-вопросом о том, как меняются стандарты понимания. С его точки зрения, уже нельзя говорить о большей или меньшей успешности предиката (скажем, «зеленого», имеющего долгую и успешную историю). Ведь даже один тот же предикат в одном случае может требовать объяснения и дополнительных усилий для своего понимания, т. к. выступает аномалией, а в других случаях отвечает естественному порядку природы или «натуральному ходу событий» и в этом конформном статусе никак не рефлексировается: «Наши идеалы естественного порядка маркируют для нас те процессы в мире вокруг нас, которые требуют объяснения, противопоставляя их «естественному ходу событий»... Наше определение естественного хода событий тем самым дано в негативных терминах: позитивные усложнения производят позитивные эффекты, и скорее призваны объяснять отклонение от природного идеала, нежели конформное следование ему»¹⁹⁶.

Исследовать, с точки зрения Тулмина, требуется не предикаты, а *метаморфозы стандартов понимания* – и только в их контексте! – научные теории и понятия. Так, первый закон Ньютона требует объяснять *изменение* инерциального движения, а не само движение. Этот идеал противоречит аристотелевскому требованию объяснять само движение путем указания на движущую инстанцию, внешнее усилие – причину движения, осуществляемого благодаря ей вопреки внешним препятствиям. Смена аристотелевской теории движения ньютоновской и есть изменение стандартов понимания, и вместе с тем – представлений о естественном порядке вещей.

Такого рода стандарты часто со-определяются и некоторыми – традиционными – представлениями о социальном устройстве. В данном случае у этого представления о физическом движении обнаруживается некий «социальный коррелят» в повседневных представлениях о некоем «социальном движении», «коллективной жизни», которая, в свою

¹⁹⁶Toulmin S. Foresight and Understanding. London, 1961. P. 79

очередь, требует «организирующей и направляющей» внешней силы; как и о том, что свободное движение как физических, так и человеческих тел невозможно без насилия и принуждения¹⁹⁷.

Вопросы о понимании и объяснении возникает, если обнаруживаются аномалии – т.е. явления, противоречащие означенным «естественным идеалам». Как объяснить, например, что запущенное копьё продолжает движение и после того, как оно было отпущено метателем? Такое явление выглядит аномальным, и именно такие аномалии заставляют в конечном счете поставить вопрос и *о понимании самих стандартов понимания*.

Понять таковые мета-стандарты научного знания – значит попытаться представить это знание «очищенным» от контекста, доступное в «чистых», а не «социализированных» формах. Как же в этом смысле интерпретировать аристотелевское понимание движения? Понять аристотелевский идеал движения (инореференция!) означает понять, чем мотивировано (самореференция!) его представление о том, что именно движение требует объяснения; в то время как покой в рамках *естественного места* (= традиционных иерархий) является естественным состоянием или порядком природы, а любое по видимости автономное поведение или движение на самом деле предполагает скрытый источник или контролирующую инстанцию¹⁹⁸. И именно здесь возможно подключение социозпистемолога.

При этом социозпистемолог заявляет вовсе не о том, что какие-то новообразованные *формы социальности*, предполагающие автономию личности, порождают, среди прочего, и *новые физические* представления об инертности тела, его способности двигаться автономно, без приложения внешних усилий и внешнего источника. Напротив, тезис социозпистемолога состоял бы в том, что научное знание должно быть представлено как автономное от социальных предпосылок. Поскольку теперь появляется возможность показать (безразлично, воздействовали или нет соответствующие формы социальности на представления о физических явлениях), что представление о способности тела двигаться самостоятельно следует отличать от

¹⁹⁷ Социальная эпистемология «вскрывает» социальный характер этого типа знания, и этим словно пурифицирует науку. И речь вовсе не идет об утверждении тезиса сквозной социальности научного знания, и в этом смысле – о мнимой утрате в связи с этим его объективности. Социозпистемологический тезис, напротив, создает предпосылки для аккумуляции знания, свободного от социальных и культурных предпосылок. Ведь теперь (применительно к вышеозначенному примеру) мы знаем, что понятие *усилие*, как условия движения, не свободно от социоморфных коннотаций и в этом смысле может быть изъято из «более узкого» научного словаря. Но очевидно и то, что для этого изъятия как раз и требуется собственный социозпистемологический корпус нового метазнания, и именно знания о том, что знание не полностью свободно от социальных предпосылок. Это выводит дискуссию за Сцилу и Харибду экстернализма и интернализма. Знание может быть свободным от социальных условий, если в нем зафиксированы (и в перспективе элиминированы, хотя бы теоретически) некоторые внешние детерминации.

¹⁹⁸ Мнимая, с точки зрения Аристотеля, автономность движения летящего копья объяснялось им появлением воздушных завихрений, подталкивающих его сзади и восполнявших функцию *внешнего* источника движения.

представления об автономности личности (способности индивида принимать самостоятельные решения). Лишь подключение социоэпистемолога делает возможным, анализ этих взаимных метафор, и как следствие - выявление границ их взаимной аналогичности.

Различие в наблюдательных перспективах как основание понимания и непонимания

Такие конкурирующие картины естественного порядка задают различные контексты для интерпретации одного и того же события или явления. Но эти контексты не являются произвольными или контингентными. Задача социоэпистемолога – поиск их глубинных оснований, прежде всего, структур пространственно-временных координаций участников научной коммуникации. Им открываются противоположные наблюдательные перспективы, которые они не в состоянии согласовать друг с другом. Ведь чтобы встать на чужую наблюдательную позицию, и следовательно, понять точку зрения на мир Другого, приходится осуществлять некое гештальт-переключение между означенными идеалами. Встать на позицию Другого (другого «естественного идеала») – значит признать принципиально другой новый смысл понятий. Так, чтобы Ньютон смог принять новый (релятивистский) смысл понятия массы, ему бы пришлось отказаться от антропоморфного и антропо-размерного представления о пространстве, где позиция (и скорость) наблюдателя однозначно определена в рамках абсолютного пространства и абсолютного времени. Ему пришлось бы дистанцироваться от естественного и понятного для него мира абсолютных и нерелятивируемых величин, которые не меняются от изменения отношений объект-наблюдатель. Для этого ему пришлось бы отказаться от собственной позиции в мире, где рамки человеческого понимания (с его трехмерностью и конечностью) ограничивали возможности интерпретации макро и микрофеноменов.

О такого рода *гештальт-переключении* между *своими* и *чужими* наблюдательными перспективами (вслед за А.Куном) пишет Хэнсон. «Вообразите Кеплера, стоящего на холме и наблюдающего закат. С ним Тихо Браге. Кеплер видит солнце застывшим: а то, что движется, – это земля. Но Тихо, следуя Аристотелю и Птолемею, видит неподвижной землю, а все остальные тела, движущимися вокруг нее. Видят ли Тихо и Кеплер одну и ту же вещь на закате?»¹⁹⁹

Эта довольно стандартная ситуация взаимо(не)понимания описывает развитие научного знания, но характеризует сами основания человеческого восприятия. Так,

¹⁹⁹Hanson N.R. On observation. In: Philosophy of Science: An Historical Anthology. Blackwell. 2009. P. 4.

начинающий пилот во время первого полета в случае вращения самолета воспринимает Землю как вращающуюся вокруг него, т. е. воспринимает себя в качестве центра оси координат, тогда как пилот более опытный воспринимает Землю в качестве неподвижной, а себя и самолет – как совершающий вращательные движения. Речь идет о глубинных ориентациях в рецептивной схеме *Я/Другое*, реализующихся в самых обычных повседневных ситуациях.

Впрочем, и конкретные смыслы многих слов, самих по себе сохраняющих синтаксическую идентичность написания и произнесения (такназываемых, индексных выражений – *здесь, сейчас, затем, сзади, спереди, личные местоимения, понятно, естественно, прекрасно* и др.) меняют свои значения в зависимости от контекста: от того, кто их произносит, и не в последнюю очередь – от выбора в рамках выше означенного метаразличения: между тем, принимать ли себя в качестве неподвижного центра, или же считать таковым окружающий мир, а себя принимать в виде своего рода мобильной переменной. Все эти выражения получают свой смысл и значение только исходя из базового различия между тем, *кто* высказывается и считает ли он себя основным ориентиром или центром, или же таковым выступает внешний мир²⁰⁰.

Научные теоретизации и контрверзы могут возникать из повседневных, но фундаментальных коммуникативных трудностей и ориентаций. К индексным выражениям безусловно относятся и научные понятия, меняющие смысл в зависимости от того, в рамках каких стандартов понимания или «естественных порядков» они употребляются. Даже и научные (индексные) понятия всегда выполняют не только дескриптивную, но и некоторую коммуникативную функцию²⁰¹.

Тот же самый вопрос о *различающихся перспективах наблюдения* (как условиях взаимного непонимания) может быть поставлен и применительно к отношению между практикующими учеными и философами науки. В чем же принципиальная разность и схожесть их положения? Ученый создает идеальную модель, которую и описывают законы. Но ведь и философ науки примерно то же самое делает со своим предметом, наукой, а именно – создает ее идеальную модель, исходя из своей позиции наблюдателя науки. Именно из его (не менее научной) перспективы открываются разного рода

²⁰⁰ Так, в требовании «остановитесь *перед* этим автомобилем!» предлог *перед* может указывать и на место *вперед*, и на место *позади* автомобиля в зависимости от того, что считать ориентиром или центром отчета – само высказывающееся лицо или автомобиль.

²⁰¹ «Индексные выражения служат предпосылкой социальному сближению и доверительности. Типичные индексные или контекстуальные понятия – это, например, имена, специфические обозначения и профессиональные выражения, но также это все те понятия, которые использует рассказчик для указания на нечто иное. ... Они основаны на допущении, что все участвующие разделяют совместное знание. Индексные выражения впитывают другое и изменяют его в согласии с контекстом, который определил рассказчик. По существу, речь идет о том, чтобы посредством смысла, который конституировала одна сторона, нацелить людей на общее согласие». *Абельс Х.* Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 1. С. 98–124.

counterfactuals («зелесиние» свойства предметов), т. е. логические возможности подтверждения абсурдного, возможности практиковать орнитологию записьюменным столом, как это вытекает из парадокса ворона. И это существенно отлично от того, что «открывается» наблюдению практикующего ученого, не способного одновременно со своим предметом фиксировать средства и условия собственного наблюдения.

Философ науки создает идеальную модель наблюдаемого объекта и в этом смысле (как настоящий ученый-наблюдатель) вынужден и сам принимать решения о том, какие параметры или части науки (познания) включать в модель, а какие игнорировать как несущественные или неинтересные. Понимание философом науки и понимание ученого своего объекта различны, поскольку идеальные модели науки безусловно отличны от непосредственно осуществляющейся науки. Именно такой ответ можно дать на упрек Фейерабенда к традиционной философии науки и попыткам ее редукции к истории знания.

Фейерабенд, как известно, советуовал ученому не следовать никаким советам философа науки! (И этому совету должен следовать каждый ученый.) Но как же философия науки (низведенная Фейерабендом до уровня истории науки²⁰²) должна конструировать собственную область, выбирать существенные (т.е. некие внутринаучные) и отклонять – с ею точки зрения несущественные для истории науки – события и достижения, не используя специальные средства для такого отбора, т.е. некие избирательные схемы, и прежде всего, методологию *свое/чужое*? И если философ науки выступает в роле историка, то кому, как ни ему, принимать решения о том, по каким разделам, эпохам, дисциплинам, теориям и парадигмам упорядочивать и классифицировать материал? Сама история науки как фактический процесс вряд ли может помочь в силу ее неохватной комплексности. В любом случае в том числе и историку науки придется создавать модель истории науки, а следовательно, руководствуясь методологией и метотребованиями, заставляющими очень избирательно относиться к материалу.

Итак, именно различия наблюдательных перспектив (например, эпистемолога и практикующего ученого), представителей разных парадигм (например, Ego-центрированного наблюдения Тихо Браге и Alter-центрированного наблюдения Иоганна Кеплера) обуславливают взаимное непонимание. Они не могут прийти

²⁰² «Не существует, – пишет Фейерабенд, – идеи, сколь бы устаревшей и абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше познание. Вся история мышления конденсируется в науке и используется для улучшения каждой отдельной теории... Вся история некоторой области науки используется для улучшения ее наиболее современного и наиболее «прогрессивного» состояния. Исчезают границы между историей науки, ее философией и самой наукой, а также между наукой и не-наукой». *Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М. 1986. С. 125–46.*

квзаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измерениях, признают «естественными» разные порядки, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – эта обычная трудность, вызванная приверженностью различным полюсам базовых коммуникативных дистинкций (различением *я/другое, живое/неживое, движущее/движимое, людей/вещей* и т.д.).

Но насколько непреодолимыми является такого рода разрывы между идеалами естественного порядка? Новые возможности для поиска оснований *единства* понимания среди были обнаружены на уровне теорий среднего уровня, или на уровне конкретных законов. Ведь именно такие конкретные законы словно обладают большей «продолжительностью жизни», не меняются, несмотря на то, что теряют популярность и адептов «всеохватывающие теории» и парадигмы.

Опредметном и интегративном полюсах понимания

Мы вернулись к ранее заявленному тезису. Понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечивается через апелляцию к свойствам объектов, которые как бы принуждают к взаимному согласию по их поводу (предметное измерение научной коммуникации). С другой стороны, наука остается коммуникативной системой и всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций и амбиций конкретных исследователей, как реализация их честолюбивых замыслов и стремления к научному успеху, – т. е. самореференциально (иметь предметом интереса и индивидуальных мотиваций саму коммуникацию, а не ее внешний мир). Всякое научное предложение можешь замышляться, интерпретироваться и пониматься лишь как провоцирующее дискуссию, как вполне сознательное оострение проблемы, как осознанная идеализация реальности и существенное отвлечение от ее фактических свойств.

Причем именно научные теории делают возможным существенно абстрагироваться от предметного полюса в понимании научных предложений. Такой предметный полюс понимания (и как следствие – сам фундамент научного познания) не может основываться на (всегда теоретически нагруженных) фактических наблюдениях. Ведь с равной степенью убедительности можно обосновывать как базовый характер предложений наблюдения (Р.Карнап и Венский кружок), так и базовый характер теорий и их комплексов (П.Дюгем, У.Куайн, П.Фейерабенд). В ответ на эту дилемму *факта/теории* в

качестве промежуточного варианта (для естествознания Г.Фейглем и в социальных науках Р.Мертоном - «теории среднего уровня»²⁰³) было предложено рассматривать в качестве фундамента познания и (основания единства понимания) *эмпирические законы*. Именно они должны были выступить некими базовым единицами, атомами или неразложимыми частицами знания, обеспечивающими понимание и консенсус среди ученых, независимо от того, принимают ли они «охватывающие» теории. Ведь можно относительно свободно выбирать импонирующую теорию (волновую или корпускулярную в физике, функционалистскую теорию или утилитаристскую теорию в теоретической социологии), и подверстывать под нее подходящие наблюдения. Напротив, эмпирический закон, по видимости, обладает большей принудительной силой. Рассмотрим это более обстоятельно.

В повседневной коммуникации понимание *не может быть основано* на переносе – всегда гипотетических – единиц информации, поскольку участник коммуникации волен всякий раз выбирать собственную интерпретацию сообщения, считать информацией сообщения как само описываемое в нем событие во внешнем мире, так и рассматривать в качестве такой информации мотивацию, интенцию высказывающего. Всегда сохраняется возможность проинтерпретировать предложение «идет дождь» как попытку мотивировать собеседника остаться дома. Напротив, в научной коммуникации роль предметно-ориентированных интерпретаций (извлечений информации из научных предложений) сообщений значительно важнее. Возможно, в науке на уровне теорий среднего уровня и эмпирических законов мы действительно обнаруживаем базовые единицы знания, которые принудительным образом обеспечивают (взаимо)понимание, заставляют участников полемики признавать правоту оппонентов, указывающих на ту или иную эмпирическую регулярность:

«Должно быть ясно, – пишет в этом смысле Г.Фейгль, – что эмпирический «нижний уровень» законов редко подвергается сомнениям (*hardly ever questioned*). Я признаю, что в принципе допустимо, что астрофизические теории однажды предложат ревизию оптики, но я не впечатлен такими чисто спекулятивными возможностями, которые неумоимо изобретаются оппонентами эмпиризма с помощью шокирующе-абстрактной супер-софистичностью. ...Тысячи физических и химических (низкоуровневых) констант фигурируют в поразительно устойчивых эмпирических законах. Рефракция проявляется в бесчисленном числе прозрачных субстанций (разных типах стекла, кварца, воды, спирта), удельные веса, удельные температуры, удельные

²⁰³Парадным примером таких теорий среднего и нижнего уровня служат «теория девиантного поведения» и «теория референтных групп» (Мертон Р. Продолжение анализа теории референтных групп и социальной структуры / Референтная группа и социальная структура. М., 1991. С. 106–256.

теплоемкости, теплопроводимости, электроемкости и электропроводимости десятков тысяч субстанций, закономерности химических составов, законы обратных квадратов в распространении звука и света, подобно закону Кулона в отношении магнитных и электрических взаимодействий... даже ньютоновские законы обратных квадратов для гравитационных сил, законы Ома, Ампера, ...Фарадея, и так далее, все продолжают использоваться и необходимы для проверки теорий более высокого уровня»²⁰⁴.

Этим аргументом можно ответить и на аргумент Фейерабенда о том, будто синтаксическая форма указанных законов и терминов, входящих в эмпирические законы, может оставаться неизменной, но их смысл меняется-де в зависимости от вхождения в те или иные «высокие теории». Так, масса в законах Ньютона, как известно, не меняется от скорости, что отличает смысл этого понятия от ее релятивистской интерпретации. Апеллируя к идее Фейгля, можно в ответ указать на то, что наблюдаемые факты зависят от теорий с точки зрения этих теорий, но *в самой практике ученых* именно теории оцениваются на предмет их соответствия эмпирическим обобщениям. В этом смысле, релятивистская механика подтверждается практически лучше, чем механика Ньютона. Опираясь на Фейгля, мы можем заключить, что если в самом *предметном мире* обнаруживаются веские основания (эмпирические обобщения), принуждающее к взаимопониманию, то в этом смысле наука действительно существенно отличается от всех других типов коммуникации, произвольно флуктуирующих между самореференциальными и инореференциальными интерпретациями коммуникативных сообщений.

К предметному единству расходящихся наблюдательных перспектив: идея референциальной эквивалентности

Именно этот аргумент развивает И.Шеффлер в своей концепции «референциальной эквивалентности»²⁰⁵ различающихся перспектив наблюдения (Тихо Браге и Кеплера). С точки зрения структуры коммуникации, у любого суждения о предмете обнаруживаются, как минимум, два значения или смысла. Один – референциальный или объединяющий сообщество ученых, принуждающих их соглашаться друг с другом (можно назвать его значением понятия) и другой (собственно смысл), допускающий дискуссию и провоцирующие непонимание в научную коммуникацию. Так, мы можем судить о планете Венера как о планете Венера, равной самой себе и сохраняющей собственную

²⁰⁴ Feigl H. 'Empiricism at Bay?' // Boston Studies in the Philosophy of Science. XIV. P. 48.

²⁰⁵ Scheffler I. Science and Subjectivity. Indianapolis. 1967.

идентичность и утром, и вечером. Но мы можем судить о планете Венере как данной одному наблюдателю утром, а другому наблюдателю – вечером. В этом случае мы к понятию Венеры (в перспективе реализизма) добавляется некий – внешний – признак ее особенной *данности* в наблюдении (конструктивистская перспектива). Именно смыслы суждений разъединяют коммуницирующих наблюдателей и препятствуют взаимопониманию.

Шеффлер рассматривает и менее тривиальный гипотетический случай. Допустим, Ньютон и Эйнштейн обсуждают ускорение электрона в синхротроне. Их суждения в отношении электрона являются *референциально-эквивалентными*, ведь они имеют перед собой некоторый общий предмет суждения – электрон. Однако это понятие оказывается концептуально расщепленным, т. к. в разных случаях проявляет различную семантику. Возникает вопрос, можем ли найти основания, которые убедят нас в адекватности того или другого смысла и тем самым можем согласовать наши различающиеся наблюдательные перспективы? Согласно Шеффлеру, мы должны говорить об «удобстве» той или иной семантики в конкретной ситуации. И в этом смысле использование гештальт-анalogии, согласно которой Тихо Браге якобы видит нечто отличное от того, что видит Кеплер (см. выше), представляется скорее неадекватным. Разные классификации, по мнению Шеффлера, еще не свидетельствуют о *различности самих* классифицируемых объектов и свойств. Различаясь по смыслу, они все еще остаются «референциально-эквивалентными».

И действительно, для одних исследовательских целей было бы достаточно одного (скажем, ньютоновского) понятия массы, и в этом случае ее более точное измерение (в соответствии с релятивистским пониманием) было бы избыточным, и в этом смысле бессмысленным расходом измерительных мощностей. Для других целей, требуется некоторое другое, более точное ее измерение. Следовательно, нужно лишь подобрать критерии адекватности для выбора того или иного смысла синтаксически-тождественного и референциально-эквивалентного научного понятия.

Итак, взаимопонимание и согласие (понимание как консенсус) возможно не только по поводу объекта (референта), но и по поводу выбора его смыслов, его семантики. И именно смысл(концепт) для референта определяет выбор подходящей теории,обеспечивающий большой предсказательный успех. Концептуально различия тем не менее характеризуют не разные предметы, но все-таки относится к одному референту, и именно поэтому может быть сравнена, в первую очередь на предмет адекватности и удобства в конкретной ситуации исследования! И именно поэтому мы можем говорить о понимании одного и того же предмета или референциально-

эквивалентного понятия, что вместе принуждает нас к согласию по его поводу. Если бы мы говорили о разных референтах и разных понятиях, то взаимопонимание было бы невозможным.

Таким образом, идея «референциальной эквивалентности» в каком-то смысле спасает идею рациональности науки и научного прогресса. Для расчета траектории ракеты – понятным образом – ученый выбирает птолемеевскую (геоцентрическую) концепцию, а для расчета орбит и периодов движения планет – столь же понятным образом – геоцентрическую. Один и тот же объект в разных обстоятельствах может концептуализироваться по-разному – и более или менее четко. И предсказательный успех поведения объекта в его различающихся концептуализациях, как и приближение к нему, могут быть большими или меньшими. В любом случае обнаруживается объектно и объективно заданная мера, или предметно определенный эталон, который Шеффлер называет «yardstick of descriptive adequacy». Поэтому концепты, т. е. когнитивные достижения ученых, все-таки могут получать объективную оценку, несмотря на то, что являются делом выбора, т. е. результатом собственной активности ученых, их относительно свободного конструирования. В этом смысле мы понимаем друг друга, если учитываем то, каким исследовательским масштабом приближения руководствуется ученый, когда выбирает соответствующие концептуализации.

Основные итоги и выводы пятого параграфа

Нами был выдвинут тезис о том, что при анализе научного знания (научных объяснений, специфичности научных законов в их отличие от акцидентальных генерализаций, как и в вопросе о критериях и оценках лучших или предпочтительных теорий и лучших понятий) должен быть предварительно осуществлен анализ «естественной» коммуникации и, прежде всего, анализ процесса естественного понимания, а также тех повседневных установок, которые обеспечивают это понимание.

Было разработано универсальное понятие понимания, характерное как для науки, так и для других форм общения. Понимание – это сравнение фактического и латентного на предмет их соответствия (или несоответствия). Мы говорим о понимании в тех случаях, если речь идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и кроющихся за ними мотивов сообщаемого, (2) о различении данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между самореференцией (тем, что в

коммуникации относится к самому обсуждению) и инореференцией (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации).

Был сделан вывод о том, что подлинность научных генерализаций удостоверяется их контрфактичностью, т.е. тем обстоятельством, что в некоторых случаях они могут быть почти лишены конкретных (содержательных) пространственно-временных референций. Напротив, псевдонаучные (случайно-истинные) генерализации чаще всего указывают на конкретные и уникальные регионы пространства и времени («Все мужчины в этой комнате – третьи сыновья»), хотя научные законы зачастую выказывают свойства и акцидентальных генерализаций. В этом смысле и естественнонаучные теоретические описания, и описания самых разных форм повседневности и социальности, и исторические описания могут быть в равной мере и обобщающими (номотетическими), и уникальными (идеографическими).

Утверждается, что понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечивается через апелляцию к свойствам объектов, которые как бы принуждают к взаимному согласию по их поводу (предметное измерение научной коммуникации). С другой стороны, наука остается коммуникативной системой и всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций и амбиций исследователей, т. е. самореференциально – имеет своим предметом саму коммуникацию, а не ее внешний мир.

Сделан вывод, что выбор теорий и их интерпретаций во многом зависит от различия наблюдательных перспектив. Именно такие различия обуславливают взаимное непонимание. Ученые не могут прийти к взаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измерениях, признают «естественными» разные порядки, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – эта обычная трудность, вызванная приверженностью различным полюсам базовых коммуникативных дистинкций.

Параграф шестой: о теоретической форме социального знания

В этой части исследования мы обратимся к специфичности социального знания. Обращение к этому связано с особенностями нашего – системно-коммуникативного и социоэпистемологического – подхода, предполагающего две референции в теории

коммуникации: знание и общество. Эти два полюса теории требовали от нас экспликации социального содержания процесса научного познания, коммуникативных элементов и структур в понятии знания, ограничений, накладываемых на познание со стороны различных видов нормативности (консенсуса, социального контроля и т.д.) Однако такая би-полярность коммуникативной теории предполагает и симметричную возможность – возможность применять познавательные процедуры, утвердившиеся в развитых формах познания, к анализу самой коммуникации. В этой связи мы ставим вопрос о том, может ли социальная или коммуникативная теория выказывать *инвариантные или универсальные формы* (свойственные также и естествознанию), или же она обладает неким неустранимым своеобразием как в отношении предмета исследований, так и в отношении методов?

Ниже мы еще раз возвращаемся к ключевому для нас методологическому понятию *формы*. Благодаря этому понятию мы покажем существенные различия в теоретическом и дисциплинарном статусе социально-гуманитарных и естественных наук, попытаемся найти факторы, определяющие различность этих дисциплин. В более конкретном смысле это означает решение вопроса о том, может ли общество как референт социальной теории фактически наблюдаться как некоторый *единый пространственно-временной объект*, примерно так же как наблюдаются объекты естествознания, или же оно является референтом теоретического термина, не подразумевающего возможности *непосредственно* наблюдать данный объект. Ниже мы обосновываем вывод, что есть весомые основания рассматривать *общество* как понятие, конструируемое в рамках теоретической модели *эмерджентизма*. Для обоснования этого тезиса мы сопоставим *редукционистский характер естествознания и эмерджентистский характер социальной теории*.

Разность дисциплинарного статуса гуманитарных и естественных наук очевидна. Но что определяет фундаментальную различность? Может ли общество как референт социальной теории фактически наблюдаться как некоторый единый пространственно-временной объект, примерно так же как наблюдаются объекты естествознания, или оно является референтом теоретического термина, не подразумевающего непосредственного наблюдения? Или оно является конструируемым понятием (с референтами наподобие кварков или электронов в физике), получающим свой смысл лишь в рамках теоретических моделей, коррелят которых бесполезно искать в соразмерной человеческим чувствам реальности?

Принято считать, что структура естествознания предполагает методологический редукционизм. В самых общих чертах последний утверждает, что внутренняя структура того или иного объекта или явления, описываемая теоретически, конституирует и дает *причинное* объяснение наблюдаемым макрофеноменам, определяет макро-характеристики этих объектов. В социальной теории дело представляется несколько иным. Социальные теоретики склонны связывать с базисным (причинным и объяснительным) уровнем утверждений некоторые макроструктуры (некие глобальные социальные системы политики, экономики, религии), которые иногда «невидимой рукой», а иногда вполне явным образом «сверху» определяют конкретные действия индивидов, осуществляющиеся на так называемом микросоциологическом уровне.

Такое отношение между «высокими теориями» социального порядка и эмпирическим уровнем конкретных и доступных наблюдению действий, т.е. некоторой «редукции наоборот», принято называть эмерджентизмом²⁰⁶. Его суть в том, что постулируются некоторое множество латентных причин (невидимая рука рынка (А. Смит), производственные отношения (К. Маркс), общественный договор (Т. Гоббс), символические медиа коммуникации (Н. Луман, Ю. Хабермас и т.д.), которые не могут быть объяснены редукционистски (Кто и когда заключал *общественный договор?*), однако сами вполне могут служить в качестве объяснения или фигурировать в качестве причины в отношении наблюдаемых явлений – обычных действий людей.

Наблюдение в естественных науках: аналогии между законами и причинные связи между уровнями наблюдения

Выделим несколько важных положений, к которым пришли философы науки, описывая функционирование теоретического знания в естественнонаучной теории. Затем попробуем выяснить, обстоит ли дело схожим образом и в социально-гуманитарном теоретизировании. Традиционный взгляд на теорию и подтверждающие ее наблюдения выглядел так: теории предстают как множества общеутвердительных высказываний, которые затем за счет подстановки некоторых частных констант и переменных частного характера получают выражение в более конкретных манифестациях: законах – столь же общеутвердительных высказываниях, но с более узкой предметной областью или «универсумом рассуждений».

²⁰⁶ Людвиг фон Бергаланфи в общей теории систем систематически представляет эмерджентистский подход применительно к живым системам. Bertalanfy L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y. 1968.

При этом отношение между теоретическим и эмпирическим описаниями различными философами науки интерпретировались по-разному. П. Дюгем назвал это отношение *репрезентативным*²⁰⁷. В том смысле, что теория (например, молекулярно-кинетическая теория газов) *лишь представляет* (но не объясняет!) экспериментально найденные зависимости или законы (в данном случае – экспериментально обнаруженные корреляции между давлением, температурой, объемом). Дюгем, как известно, оспаривал позицию Кельвина, о том что *понимание* макропроцесса есть *визуализация* глубинных механизмов. Такой визуализацией должна была служить молекулярно-кинетическая теория с ее моделью упругих столкновений точечных масс. Но эта теория действительно не могла объяснить, что ощущение теплого является результатом упругих столкновений молекул о стенки. Ведь эти *индивидуальные* удары молекул (и скорости индивидуальных молекул) действительно никак не фиксируются, не наблюдаются – именно как удары молекул – на макроуровне, не имеют своих (*индивидуально-соответствующих* им) коррелятов в мире человеческих ощущений и наблюдений.

Вопрос о характере связи теории и (экспериментальных) законов решался теоретиками по-разному. Один из известных подходов (начало которого принято связывать с именами У. Хьюэлл²⁰⁸ и Д. Гершеля²⁰⁹) усматривал искомую связь между теорией и законами в общей для них *математической* форме. Именно поэтому отношения между ними можно было назвать дедуктивными или формально-аналогичными. В систематической форме концепцию формальной аналогии развивал Н.Р. Кэмпбелл²¹⁰.

Например, уравнение теплопроводности Фурье²¹¹ $\lambda \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \right) = \rho c \frac{\partial \theta}{\partial t}$ делает возможным установить температуру в любой точке любого материала. Но для каждого вещества это общее (квази априорное) уравнение – именно благодаря своей математической *форме* - принимает соответствующие конкретные выражения (экспериментальные законы), в зависимости от плотности, удельной теплоемкости конкретного вещества или материала. Эти экспериментальные законы (описывающие теплопроводящие свойства металлов, газов, жидкостей и т.д) являются *формально-аналогичными*, в том смысле, что все они аналогичным образом дедуктивно выводимы из

²⁰⁷ Дюгем П. Физическая теория. Её цель и строение: Пер.с фр. КомКнига. 2007.

²⁰⁸ Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю // Эпистемология и философия науки. 2014. т.Т. 41, N 3.

²⁰⁹ Herschel J. F. W. A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. London. 1830.

²¹⁰ Campbell N. R. Foundations of Science. New York. 1957.

²¹¹ θ - абсолютная температура, λ – теплопроводность материала, ρ – плотность материала, c – удельная теплоемкость материала, t время, x, y, z – пространственные координаты точки на бесконечно длинном фрагменте материала.

вышеозначенного «универсального» уравнения или теории. В этом смысле такого рода законы представляют собой *анalogии*.

С этой точки зрения, *единство* знания действительно вытекает из способности формулировать априорные суждения, организующие эмпирическое знание. На первый взгляд все действительно выглядит так, будто *сходство математической формы* между выражениями-анalogиями позволяет судить о связях познаваемой реальности. Однако эту, по сути своей кантианскую идею поставил под вопрос К. Гемпель. Гемпель указал на бессмысленность как минимум некоторых «формальных аналогий», в которых *схожесть математической формы законов* не сопровождалась никакими фактическими аналогиями среди соответствующих этим законам наблюдаемых явлений.²¹² И действительно закон

Ома $i = \frac{V}{R}$, и закон идеального газа $P = k \frac{T}{V}$, имеют аналогичную формально-

$$\textcircled{1} \propto \frac{\textcircled{2}}{\textcircled{3}}$$

математическую структуру. Но эта формально-математическая аналогия ничего не дает понимания действительного сходства «аналогичных» законов, как и описываемых ими феноменов. Разве на этом основании мы можем заключить, что оба закона «концептуально интегрированы» в некоторое целое (по аналогии с «концептуальной интеграцией», обеспечиваемым уравнением теплопроводности Фурье). Искать следовало связь, во-первых, между связями (или аналогиями) на теоретическом уровне и, во-вторых, между связями на уровне непосредственных наблюдений.

Именно такой поворот придает этой дискуссии Мэри Хессе. Чтобы «спасти» *единство* познания, предлагалось различать между лишь поверхностными «формально-математическими аналогиями» и фактическими «*материальными аналогиями*»²¹³ Согласно Хессе, аналогии (а вместе с ним и вопрос о единстве знания) вытекают вовсе не из формальной структуры теории, а из *принципа причинности*. Разные сферы реальности (например, феномены звука и феномены света) организованы сходным образом, поскольку имеют общую *функциональную, – и значит, причинно-следственную, структуру*. Это предполагало, что теориям надлежит включать в себя такие законы, которые должны быть похожи не столько своей математической формой (формально-аналогичны в смысле Кэмпбелла и Гемпеля), сколько выказывать аналогии в визуализируемых ими *каузальных связях* в их теоретических моделях.

²¹² Hempel C. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. New York: Free Press, 1965.

²¹³ Hesse M. Models and Analogies in Science. University of Notre Dame Press, 1966.

Так, и в теории распространения звука, и в теории распространения света, можно зафиксировать не столько формально, сколько *каузально-аналогичные* регулярности. Скажем, очевидной является аналогия между законом отражения звука (эхо) и законом отражения света (отражение в зеркале); или характерным и для звука, и для света законами уменьшения интенсивности пропорционально дистанции распространения; также громкость звука в каком-то смысле аналогична яркости света; различения в высоте тонов аналогичны различениям цветов; и в целом волновая природа света аналогична волновой природе звуков, распространяющихся как звук в среде (воздухе или воде) или как свет «в эфире» (чтобы под ним не понимать).

Более сложным представлялась связь между законами и фактическими наблюдениями. Законы описывают *воспроизводимые* каузальные взаимодействия, однако законы не доступны непосредственному наблюдению. Ведь наблюдать могут только конкретные причины и следствия. Законы же формулируют обобщения на некотором ненаблюдаемом уровне, устанавливая отношения между переменными некоторой *модели*, только часть понятий которой можно перевести на язык наблюдений, указав соответствующие явления. Скажем, такая теоретическая величина (микро-параметр), как средняя кинетическая энергия молекул, действительно может интерпретироваться как непосредственно наблюдаемая и ощущаемая и измеряемая макро-реальность – температура. Здесь действительно можно утверждать об отношении *идентичности* ненаблюдаемой теоретической реалии и наблюдаемого чувственно-данного явления. Однако другие переменные модели (в частности, конкретные скорость или импульс конкретной молекулы - не обнаруживали своего коррелята в наблюдаемом мире).

Причинные связи наблюдаемого и ненаблюдаемого

Ряд теоретиков обратились к другим возможностям соотнести ненаблюдаемую теоретическую реальность и наблюдаемые эмпирические явления. Такое отношение можно интерпретировать *каузально*, так как будто теоретически описываемые микропроцессы причинным образом *порождают* наблюдаемые макроявления. Так, давление, измеряемое и фиксируемое на соразмерном человеческим чувствам макро-уровне может пониматься не столько как проявление или *манифестация* микропроцесса (модальное отношение), сколько как его *следствие*, поскольку оно действительно является результатом воздействиями молекул газа на стенки сосуда на микроуровне.

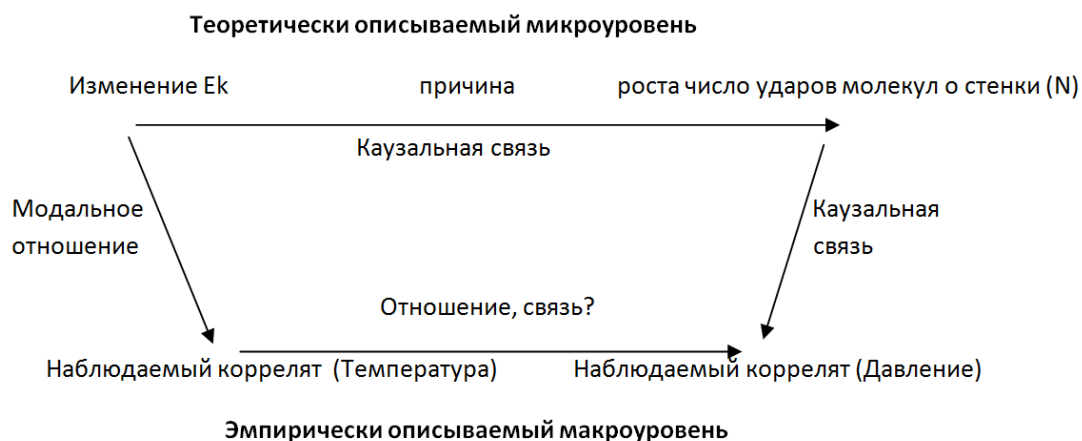
Эти два отношения (между теорией и законами, с одной стороны, и законами и наблюдениями с другой стороны) наглядно можно представить себе следующим образом (см. табл. 1).

Классическая схема описания иерархии уровней научного знания выглядит так (Norman Campbell. Foundation of Sciences, 1919).

Уровень	Содержание	Примеры
Уровень теорий	Дедуктивно системы высказываний, связывающие <i>микрпараметры</i> (скорость, импульс, массу молекулы) с <i>макропараметрами</i> (давлением, температурой, объемом)	МКТ. Давление – есть результат ударов молекул о стенки (осн.уравнение). $P = 2/3 E_k * N.$ Температура – есть мера средней кинет. энергии $E_k = 3/2kT$
Уровень законов	Инвариантные связи между научными понятиями (V, T, P, const)	Закон Гей Люсака: $P \sim T$, если $V - \text{const}.$
Определение значений научных понятий	Высказывания, которые приписывают значения научным понятиям	«V = 60 литров», «T = 273 K», «P = 2 Atm.
Экспериментальные данные наблюдений	Утверждения об указателях приборов	«Стрелка прибора указывает на 20»

Но мы позволим себе использовать более простую схему, сведенную к двум уровням – ненаблюдаемому уровню теоретических описаний и уровню наблюдаемых коррелятов этих описаний.

Упрощенное двухуровневое представление связи ненаблюдаемого теоретического уровня и уровня наблюдений в теории газов



Эта схема наглядно показывает, что изменение некоторого теоретически постулируемого и непосредственно *ненаблюдаемого параметра* (в данном примере, средней рост скоростей молекул, импульсов, и как следствие возрастание средней кинетической энергии молекул) причинным образом генерирует изменение другого теоретически постулируемого и непосредственно *ненаблюдаемого параметра* (числа ударов о стенку). Эта верхняя горизонтальная связь, очевидно, является каузальной: чем выше скорость, тем больше ударов.

На нижнем, экспериментальном и наблюдаемом уровне мы фиксируем горизонтальную связь между величинами температуры и давления. Эта связь (до привлечения в качестве объяснения молекулярно-кинетической теории) выглядит обычной временной регулярностью в смысле Юма. Но, конечно, хотелось бы найти более релевантную, скажем, причинную или структурную связь между этими величинами. Такое объяснение возможно только через *редукцию* к некоторому теоретическому, глубинному, непосредственно ненаблюдаемому уровню. В конечном счете, такая редукция к глубинным (и в этом смысле – теоретическим, ненаблюдаемым причинным связям) делает возможным причинное объяснение на уровне наблюдаемых феноменов.

Этот упрощенный экскурс в структуру естественнонаучного знания, позволяет нам предложить несколько выводов о характере связи ненаблюдаемого (теоретического) и экспериментального (наблюдаемого) уровней в естествознании. Эту связь мы можем затем сравнить с различием аналогичных уровней в рамках *социальной теории*.

Некоторые важные черты организации естественнонаучного знания:

1. Ненаблюдаемые и теоретически описываемые явления могут иметь свой наблюдаемый коррелят (таково отношение средней кинетической энергии и температуры). Вопрос состоит лишь в *характере отношения* с такого рода коррелятом.

2. Это отношение может быть *причинным* (экспериментально измеряемое давление является фактическим следствием ударов молекул)

3. Это отношение может быть *модальным* (в случае, если наблюдаемое есть не следствие, а *форма проявления* или *модус существования* ненаблюдаемого. Температура – это данный в наблюдениях *способ представления* ненаблюдаемых феноменов (скоростей, импульсов молекул).

4. Отношение между зависимостями на ненаблюдаемым и наблюдаемом уровнях может описываться как формально-математическое (модальное – П. Дюгем, Н.Р. Кэмпбелл) или как причинное (функциональное или материальное – М. Хессе, Р.Харре).

Теперь зададимся вопросом о том, какой характер отношений реализуется между уровнями наблюдения и переменными в социальной теории. Воспроизводят ли они означенную выше инвариантную структуру научного знания или выказывают специфичность?

Наблюдение в социальной теории

В контексте вышеизложенного возникает вопрос: как иерархизирована социальная теория в том, что касается соотношения *наблюдаемых и ненаблюдаемых (теоретических) уровней анализа*. И является ли общество, его состояния и проявления ненаблюдаемыми коррелятами теоретического описания – в том же смысле, как это имеет место в естественнонаучной теории, когда у индивидуальных скоростей молекул газа, хотя такая переменная необходимо присутствует в теории, отсутствуют наблюдаемые корреляты?

И действительно социальная теория сталкивается с подобным обстоятельством, поскольку нет никакой возможности непосредственно измерить главный параметр социального состояния: интеграцию, сплоченность или солидарность общества в его сколько-нибудь широком представлении. (Никто не будет спорить, что групповая сплоченность может описываться и измеряться²¹⁴). Можно наблюдать степень сплоченности отдельных групп, а о сплоченности общества в целом можно судить исключительно по косвенным данным, например, по сравнительной частоте аномии (суицидов, криминальных актов, эмиграции – Э. Дюркгейм) в данном обществе в сравнении с его прежним состоянием, или же в особенности по реакциям на представителей чуждых сообществ²¹⁵ .

²¹⁴ Характерный пример исследования групповой сплоченности см.: *Бараин Р.Э.* Нормативные и социальные предпосылки реализации политики мультикультурализма в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012 Ноябрь-Декабрь. № 6 (112). С. 5-15.

²¹⁵ *Бараин Р.Э.* Фигура Другого как значимая составляющая российской/русской идентичности // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2012. №1(107), январь-февраль

Такие *косвенные* методы фиксации явным образом ненаблюдаемых состояний приводит социальную теорию к недопустимым (по крайней мере, в классических формах теоретизирования) утверждениям. Так, возникает эффект *двойной детерминации* в объяснении общественных явлений. Ведь каждое проявление аномии (суицид, эмиграция, преступление²¹⁶) получает в качестве *причинного объяснения* помимо непосредственно предшествующего события (действия или разочарования) некоторое дополнительное и в этом смысле *избыточное* причинное объяснение – состояние недостаточной социальной сплоченности, сделавшее возможным этот конкретный акт. Итак, приходится констатировать, что наблюдать общество (как бы его ни понимать) приходится исключительно по его следствиям или эффектам, в то время как само оно, как конкретный пространственно-временной объект, ускользает от наблюдения. Последнее обстоятельство требует рассмотрения проблемы *социальной каузации*, которая, возможно, является системообразующей для социального познания и социальных наук. Рассмотрим более детально проблему *каузального анализа общества*.

Социальная реальность: причины и законы

В отечественной социальной теории каузальный анализ общества и возможности экспликации на этой основе социальных закономерностей или регулярностей является чем-то само собой разумеющимся. Парадный пример представляет собой т.н. «деятельностный подход» в социальной теории, ведущим представителем которого является К.Х. Момджян. «... наличие у людей свободной воли ничуть не мешает существованию универсальных законов человеческого поведения, которые должны быть *открыты* номотетическим обществознанием и *использованы* обществознанием идеографическим. ... Если, объясняя уникальные причины Французской революции, вы не будете знать общесоциологические законы «революции вообще», ваш анализ едва ли будет убедительным. Единичные и неповторимые события не могут быть редуцированы

²¹⁶ Эти действия безусловно локализованы в некотором локальном пространстве-времени, т.е. вызваны каким-то непосредственными причинами (конкретными, разочарованием, банкротством, нервным потрясением). Но поскольку они предполагают выход за пределы локального пространства (эмиграция) и индивидуального времени (суициды), допустимо рассматривать их как каузальные следствия ненаблюдаемых макро-факторов, а именно, изменившейся степени сплоченности данного сообщества. Для этого, безусловно, следовало бы указывать не на сами действия (ведь последние - результат иных, предшествующих обстоятельств), а на меняющуюся статистику, на удельную частоту данных событий в разные эпохи. Скажем, разочарование способно повлечь суицид независимо от специфики исторической эпохи (= того или иного уровня солидарного состояния общества в целом), однако удельная частота суицидов в разные эпохи указывает на различающиеся состояния таковой солидарности и интегрированности сообществ. Общество (социальные связи больших масштабов), таким образом, допускает не прямое наблюдение. Линия Дюркгейма формирует традицию исследования макрофеноменов. Напротив, анализ микрофеноменов стал основным для другой линии теоретической «понимающей социологии».

без остатка к стоящим за этими событиями структурам, - *универсальным законам общественной жизни*, но они не могут быть поняты без обращения к этим структурам. Думаю, что их существование объясняется двумя причинами. Первая – это наличие универсальных законов человеческого поведения существенно ограничивающих свободу воли, мешающие ей превратиться из свободы в произвол. Назову некоторые из таких «дисциплинирующих» человека факторов, ограничивающие его выбор предзаданными вариантами. Первое. Никакая свобода воли не позволяет нам «отменять» присущие объективные предзаданные цели существования, присущие не только человеку, но и всем живым организмам, способным к поведению. Речь идет об инстинктивном у животных и *инстинктоподобном* у человека (термин Маслоу) *влечения* к сохранению факта и (или) качества жизни. Речь идет о присущих всему живому информационных импульсах самосохранения, имеющих дефицитный или бытийный характер. Всякое живое существо стремится обеспечить свое биологическое выживание и одновременно сделать его комфортным, минимизируя страдания и максимизируя удовольствия (в широком понимании удовольствия). ... Второе. Если вам предписано стремление к сохранению факта и качества своей жизни вы не можете игнорировать условия, при которых эта цель становится достижимой. Иными словами, вы не можете игнорировать такую важнейшую детерминанту поведения, каковой является система видоспецифических и исторически неизменных для ставшего человека *потребностей*.»²¹⁷

И все-таки, ориентируясь на подходы, которые мы обсуждали в главе посвященной пониманию в научной коммуникации, мы не считаем эту аргументацию валидной. Представим некоторые контраргументы. Идея К.Х. Момджяна, если представить ее в едином тезисе, сводится к следующему: общество, как бы его ни понимать, не может быть выведено из сферы, которая регулируется законами, не уступающим в своей универсальности, принудительности и объективности классическим физическим законам. Этот тезис можно было бы назвать *аномальным социомонизмом: монизмом*, в том смысле, что общество не представляет какой-то *параллельный мир*, существующей наряду с физическим и свободным от каузирующих импульсов, исходящих из физического мира. За связь с этим миром отвечают базовые потребности и коррелирующие с ними интересы²¹⁸;

²¹⁷Момджян К.Х. Номотетическое познание в общественных и гуманитарных науках // Эпистемология и философия науки. М. 2015. № 3.

²¹⁸ Речь идет *социо-монизме* с целью отличить от более узкого *ментального монизма* в теории сознания (вариант теории тождества²¹⁸), который настаивает на том же тезисе *каузального единства и причинной замкнутости мира* применительно к человеческому сознанию. Как пример: Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press. 1980.

Аномальность социо-монизма связана с тем, что социальные законы (выражающие связь – *причиняющая реальность/результатирующее социальное действие*) все-таки не являются жесткими настолько, чтобы на их основе (т.е. на основе контрфактической связи: *если А, то В*) можно было со *сто процентной достоверностью* предсказывать и объяснять событие В, если известно событие А. Ведь «единичные и неповторимые события не могут быть редуцированы без остатка к стоящим за этими событиями структурам, - *универсальным законам общественной жизни*, но они не могут быть поняты без обращения к этим структурам»²¹⁹. Это ключевое положение указывает, что социальная теория не может редуцироваться к физической реальности. В этом состоит *аномальность* социального. Но тем не менее социально значимые события должны быть включены в физическую онтологию необходимых причинно-следственных связей²²⁰.

Преимущества такого подхода очевидны. Социальные события (социальные действия, коммуникации, формулирование идей, потребности и интересы) не выводятся за пределы физической, и значит – каузально-закрытой системы. Ведь в противном случае к – не нуждающейся в дополнительных каузациях (т.е. закрытой) – системе физических движений и изменений в пространстве и времени добавлялись бы какие-то *избыточные* причины – гипотетические социальные факторы, находящиеся вне физического пространства и времени. Но ведь все физические движения и изменения, не исключая фактические (т.е. материально выраженные) действия и сообщения, должны с достаточной убедительностью объясняться предшествующими физическими движениями и изменениями!

Несмотря на всю свою привлекательность, подход обнаруживает явную противоречивость. Неясно, как можно совместить социомонизм и аномалии? Или другими словами: как возможны причины и следствия, лишенные атрибута жесткой повторяемости и универсальной воспроизводимости, что и принято называть законами? Возникает классическая проблема: возможна ли причинно-следственная связь, не вписанная в – объясняющий его – универсальный закон²²¹.

²¹⁹ Там же.

²²⁰ В этом аномальный социомонизм ничем не отличается от аномального ментального монизма, признающим что ментальные события вступают в причинно-следственные интеракции с физическими событиями (желание пойти в театр есть причина физического посещения театра, а посещение театра есть причина переживания удовольствия от просмотра постановки). Но эти объективные причинно-следственные связи не «покрываются» жестким универсально-воспроизводящимся законом.

²²¹ Здесь очевидна связь с известной дискуссией вокруг т.н. covering law model of explanation К. Гемпеля. Сам Гемпель допускал иные – не причинные (индикационные, структурные) законы. Можно согласиться, что не все законы основаны на регулярном воспроизводстве причин и следствий, но с тем, что не все причины и следствия есть выражения закономерности, согласиться уже труднее.

Как же совместить принцип причинности, подразумевающий *номологизм* (*номотетичность* в терминологии К.Х. Момджяна и В. Виндельбанда²²², на которого он опирается), с возможностями аномалий (желание и возможность пойти в театр *не во всех случаях* приводит к посещению театра, наличие революционной ситуации *не во всех случаях* приводит к революции). Но как переубедить практикующего ученого и философа науки, убежденного в том, что везде, где имеет место причинность и (ничто не препятствует ее реализации), реализуется и универсальный закон, всегда выполняющийся при наличии такого рода причины и отсутствии помех?

Первый контраргумент: причинный анализ общества не должен предполагать редукционизм к животной природе

Но что же выражает этот необходимый характер социальных законов и в чем выражается связь общества с физической (психофизической) реальностью? Как ни странно, на этот статус, согласно К.Х. Момджяну, претендует не собственно социальная регулярность. На первом месте оказываются некие квази-биологические императивы: «*влечения*»²²³. Конечно, с этим спорить сложно. Общество действительно может интерпретироваться посредством *органицистской метафоры*, и ему, как своего рода организму, действительно присуще свойство эквифинальности (Л. Бераланфи). Но все-таки это не объясняет, почему на статус *ведущей* социальной регулярности возводится то, что лишено *специфически-социального* содержания и характерное для *биологических систем*?

На наш взгляд, такая редукция социальности к биологически определенным «*влечениям*» происходит из самой (очевидно, восходящей к идее «социальных фактов» в смысле Дюркгейма²²⁴) структуры аргументации автора. Эта аргументация состоит в следующем: именно то, что находится *вне* сознания и сформировалась *раньше* него (структуры родства, социальные иерархии, грамматика языка, нормы морали и т.д. и т.п.), с необходимостью приобретает эту объективность (читай, способность детерминировать локальные события в локальном пространстве-времени индивида). Что способен предпринять индивид вопреки «социальным фактам», если его индивидуальное влияние

²²²Windelband W. *Geschichte und Naturwissenschaft*. Straßburg. 1904.

²²³ «Никакая свобода воли не позволяет нам «отменять» присущие объективные предзаданные цели..., присущие не только человеку, но и всем живым организмам... Речь идет об инстинктивном у животных и *инстинктоподобном* у человека (термин Маслоу) *влечения* к сохранению факта и (или) качества жизни. ... о присущих всему живому информационных импульсах самосохранения, имеющих дефицитный или бытийный характер. Всякое живое существо стремится обеспечить свое биологическое выживание». Там же.

²²⁴ Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1991. Антоновский А.Ю. Начало социозпистемологии: Эмиль Дюркгейм // Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. С. 142-155.

не выходит за пределы локального пространства-времени его жизни? В случае же, если его индивидуальное воздействие (тексты, решения) и выходят за эти пределы, то оно и само утрачивает индивидуальность и приобретает свойства *социального факта*.

Но так ли проста природа каузации? Действительно ли дистинкции *внутреннее/внешнее* и *раннее/позднее* (Д. Юм, отчасти И. Кант) лежат, как полагал Э.Дюркгейм, в основе дистинкции *причина/следствие*? Действительно ли базовые влечения, потребности и интересы получают каузальную силу и принудительность в силу того, что в своем пространстве-времени выходят за пределы локальности конкретного индивида? Отрицательно отвечая на этот вопрос, сформулируем второй критический аргумент:

*В мире самом по себе нет однозначно определенного разделения на внутренние и внешние детерминации или каузации без учета наблюдательных перспектив того или иного наблюдателя. Поэтому и рассмотрение внешней причинности как основание для социальных законов не может быть принято без оговорок.*²²⁵ Рассмотрим этот аргумент более подробно.

Второй контраргумент: причины и следствия суть атрибуции, а не бесспорные данные наблюдения

Безусловно, внешний мир конкретного индивида (человеческая природа, потребности, интересы) возникли *до* и *вне* всякого конкретного индивида и представляют гораздо более обширное поле в пространстве-времени. Именно поэтому индивид вынужден с этим считаться. Однако это обстоятельство никак не ограничивает последнего в его свободном *приписывании каузальности* своим и чужим действиям и детерминациям. И сам индивид, и наблюдатель свободны истолковывать то или иное действие либо как свой личный выбор, либо как давление социальной среды (как следствие социального контроля), либо как следствие своих биологически заданных установок, скажем, страха, инстинкта самосохранения. И дело не в том, что таких объективных каузаций (а значит, законов!) не существует, а в том, что нет никакой возможности однозначно удостовериться в истинности тех или иных приписываемых каузаций.

Закономерности поэтому приходится искать не в самих каузациях, а в типичном приписывании (или распределении) причин. Так, преподаватели склонны приписывать

²²⁵ Внутренняя жизнь сознания детерминирована раздражениями из внешнего мира, но эти раздражения (то, что переживается как *внешний мир*) присутствуют именно и только *внутри* сознания. То что определяется как внешнее, уже таким образом находится внутри сознания, неважно имеет ли это форму активируемых нейронных ансамблей или феноменологических переживаний.

успехи студентов своему мастерству (исчислять каузацию *внешним* образом), а *неуспехи* исчисляют интерналистски, т.е. их причины *самим* ученикам (биологически определяемой неспособности овладеть знанием, с чем преподаватель, очевидно, ничего поделать не может, несмотря на все свое мастерство и т.д.). Другой пример. Задумаемся, в чем причина криминальных актов, скажем, поджогов? Поджог в (ближайшей и внутренней) перспективе наблюдения самого поджигателя будет рассмотрен преступником как его личный мотив, *одновременный* самому действию преступника (определяется как детерминированных неким *настоящим* намерением, одновременным поступку). В перспективе полицейских, расследующих поджог, этот акт уже будет определен как обусловленный преступными установками и габитусом, сформировавшимся в среде взросления и воспитания (в некотором *прошлом*) или, возможно, как генетически определенный (т.е. в свою очередь каузирован прошлым). Но в перспективе инопланетян это поджог детерминирован в принципиально иной наблюдательной перспективе – тем обстоятельством, что на этой странной планете Земля есть – поддерживающий горение – кислород.

*Ни в одном из приведенных примеров не существует когнитивных ресурсов, позволяющих установить жесткую, ведущую или решающую каузальность*²²⁶.

Третий контраргумент: кибернетическая иерархия уровней общества не предполагает классических физических законов

Второй критический аргумент мы связываем с тем, что общество не может быть рассмотрено как закрытая физическая система с однонаправленными детерминациями от причины к следствию. Общество устроено кибернетически, т.е. некоторым круговым образом, на основе позитивных и негативных обратных связей: противоположных, но равноправных в своих причинно-следственных статусах *энергетических* и *информационных* потоков.

Как функционирует эта (в наиболее абстрактном виде, конечно) круговая модель взаимных причинений? Энергетический поток или канал воздействий направлен от биологических диспозиций (витальных потребностей), через установки и целедостижения

²²⁶См. также работу пионера в теории атрибуций Фрица Хайдера: *Heider F. The Psychology of Interpersonal Relations*. New York. 1958. Хайдер попытался установить типические распределения причин поведения в объяснениях индивидами своих действий. Всякий раз индивид и наблюдатель атрибутируют причины актуального поведения либо диспозиции (свойства личности, мотивы, установки), либо ситуации: ситуативному давлению окружающей среды, божественной воле, социальному контролю, культурным нормами и ожиданиям других и т.д. При этом сами индивиды, по мнению Хайдера, склонны преувеличивать роль внутренних факторов (личных диспозиций), а наблюдатели склонны гипертрофировать значение внешних детерминаций. Какую-то объективную причинность поэтому зафиксировать в такой ситуации затруднительно, даже если допустить ее наличие.

личности и социальные нормы к культуре, как некому конечному резервуру стандартов поведения, норм и ценностей. И обратный информационный канал (управление) определяет движение от норм культуры (своего рода программ), манифестирующихся затем в социальных ролях (манифестациях программ), индивидуальных целях и мотивах и наконец в физическом движении рук и ног. Как задать причинно-следственные связи в этих противоположно направленных цепях каузаций?²²⁷

В обоих случаях речь идет о каузациях «снизу» и «сверху»: снизу – импульсы, ирритации из внешней среды, дающие энергию «социальному движению»; сверху – научение, информационное обеспечение, целевые, ролевые, культурные ориентиры. В этой структуре нет места классическим причинно-следственным отношениям, а следовательно – и номотетическим корреляциям. Все кибернетические уровни служат условиями или ограничителями возможности для других, но не выступают в виде номотетической (однонаправленной от следствия к причине) связи.

Это демонстрируют уже самые простые иллюстрации. Служит ли алгоритм или программа причиной функционирования автомата? Или же специфическая машина (например, газировочный автомат) требует для себя (т.е. каузирует!) специфической программы по корреляции поступающих денег и выдачи кока-колы? В мире систем, в кибернетическом мире противонаправленных потоков энергии и информации нет детерминаций в стиле закона Бойля-Мариотта, по которому уменьшение объема газа (причина) необходимо и однонаправленно каузирует увеличение давления (следствие). Но в кибернетических описаниях все теряет причинно-следственную однозначность: температура ли (т.е. внешний фактор по отношению к термостату) является причиной переключения режимов термостата? Или само автоматическое переключение режимов термостата (внутренний фактор) является причиной изменения внешней среды и температуры?

Но ведь применительно к обществу мы можем задаться аналогичным вопросом. Потребности и интересы, как «энергетические», т.е. движущие или мотивирующие

²²⁷ В этом контексте, потребности и интересы, могут рассматриваться как то, что поставляют некую энергию в распоряжение индивидов, мотивируя их к реализации одних действий и отказу от других. Тем самым задаются и ограничительные рамки индивидуального выбора, но этот выбор всегда осуществляется *внутренним* образом. Проблема в том, что рамки, накладывающие ограничения на действия и мотивы, нельзя признать *законом*, простом потому что такие ограничения законами не являются. Ведь, в конечном счете, всё накладывает ограничения на всё. Тот реестр целей и индивидуальных мотиваций, который задается наличием потребностей и интересов, в свою очередь служит энергией (т.е. физическим условием, без которого фактического движения и изменения не произошло бы) для исполнения *социальных ролей*. Чтобы роль (скажем, преподавателя) нормально проигрывалась, она должна получить импульс в целевой структуре сознании индивида. Но социальная роль не является последним следствием, а выполняет такую же энергетическо-двигательную функцию в отношении культурных стандартов, норм, ценностей. Одни нормы и ценности институционализируются (обуславливаются, «движат») посредством и в виде социальных ролей; другие, более не воплощаемые в соответствующих ролях, в конечном итоге отмирают. Впрочем, сказывается и обратное воздействие культурных норм и ценностей, легитимирующих те или иные социальные роли, которые, в свою очередь, ориентируют цели и мотивы индивидов, которые и со своей стороны служат информационным ориентиром для движения человеческих органов. Этот процесс тоже может описываться как информационная каузальная связь.

факторы, безусловно, служат условием (ограничителем) реестра возможных действий, мотивов, целей. Но и обратная причинность столь же реальна: информация (идеи, нормы, ролевые стандарты) неслучайным образом канализируют социальную энергию (потребности, интересы и вытекающие цели и мотивы).

Социальные регулярности – контрфактические или акцидентально-истинные?

Что же можно спасти? Какой род регулярных, пусть и не универсальных, законов возможен в человеческом общежитии? Такого рода регулярности можно было бы назвать квази-законами, суть которых состояла бы в ограничении случайностей без установления жестких связей. К таковым можно отнести, например, принцип двойной контингенции.²²⁸ К таким квази-законам можно отнести и законы общей теории эволюции (мутации-селекции-закрепления признаков), применимые и к эволюции самых разных форм социальности²²⁹. Несмотря на регулярное воспроизведение этих эволюционных стадий, такая регулярность не отменяет общего случайного направления эволюции, «подобной видеофильму, который при каждом новом просмотре завершается по-разному»²³⁰.

Все такого рода квази-законы, безусловно, выполняют роль ограничителя случайностей (возможных действий, переживаний, ожиданий, коммуникативных сообщений и т.д.), но они, очевидно, не являются номотетическими законами рода «для всех X, если X обладает свойством А, то X также обладает и свойством В». Дело в том, что законы естествознания контрфактичны, т.е. представляют собой условные высказывания, истинные независимо от фактических – реализующих эти законы – обстоятельств²³¹. Так, закон «Все соединения бария горят зеленым пламенем» будет действовать независимо от того, поджигаем мы это соединения или нет. Оно *должно* гореть зеленым пламенем (во всех возможных мирах и регионах пространства-времени), так это вытекает из атомной структуры его соединений.

Социальные законы же не являются *контр-фактическими*, ведь они зависят от того, что *фактически* имеет место в данном пространстве и данном времени. Протестантская

²²⁸ ПДК предполагает ограничение вероятности в случае «встречи» двух и более случайных событий: если два корабля встречаются в узком заливе, чтобы разойтись, им следует маневрировать в разных (а не общем) направлениях. То же относится к координатам свободных индивидов. Parsons T., Shils E. *Towards a General Theory of Action*. New York, 1951

²²⁹ Таковой генерализацией может выступить последовательность трех эволюционных стадий: изменчивости (случайных мутаций – трансформаций институтов, ролей, норм, понятий и т.д.), внутреннего и внешнего отбор-селекция (тех или иных «более удачных» институтов и т.д.) и наконец, закрепление этих форм социальности в взаимно-устойчивых системах разделения труда и коммуникаций (общества). Более детально об этом см.: Луман Н. Эволюция. М. Логос, 2005; Антоновский А. Ю. Системно-конструктивистское понимание эволюции / Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005

²³⁰ Gould S. J. *Wonderful Life*. New York. 1990. P. 47.

²³¹ Дискуссию о контрфактичности подлинных научных законов и случайной истинности акцидентальных генерализаций см.: Nagel E. *The Structure of Science*. New York. 1961. На русском языке: Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Пер. с англ. Куслий П.С. Челябинск. 2010.

этика необходимо порождает капитализм, являясь ограничителем возможностей развития хозяйства, но только при данных условиях, в данном регионе и данную эпоху. Эта связь является причинно-следственной, истинной, но при этом – акцидентально-истинной²³². И в этом смысле утверждение К.Х. Момджяна о принудительной силе потребностей и интересов в отношении идей, решений и т.д., действительно является необходимым ограничителем случайного выбора индивида, но оно не является контрфактическим, а значит, *номотетическим* законом.

Ненаблюдаемость и историчность

Впрочем, обнаруживаются и другие основания усомниться в возможности наблюдения общества с помощью законов, как впрочем, и в возможности наблюдения общества как некой всеохватывающей тотальности. Такой исключительно теоретический (т.е. непосредственно-ненаблюдаемый) характер объекта-общества вытекает из его *историчности*. Социальные теоретики не сразу осознали необходимость сформулировать условия возможности существования общества, условия возможности сохранения социального порядка. Это было связано, прежде всего с тем, что *в отличие от других гипотетических и теоретических объектов* (атомов, молекул, генов и т.д.) применительно к объекту-обществу не нужно было задумываться о том, *где и когда* оно имеет место. Ведь общество всегда находится перед глазами как некий очевидный, наглядный, полностью определенный и ограниченный объект – как племена, государства, с интуитивно понятными *пространственно-временными* характеристиками – границами и датами смерти. Общества в этом смысле представляли аналогами биологических организмов, могли рождаться и умирать. Социальное состояние определялось политическими границами в пространстве, а прекращение социального состояния во времени (или смерть) являлось следствием завоеваний. Так исчезли государства Урарту и Шумер.

Однако, начиная с 20 века, теоретики задумываться над условиями сохранения и исчезновения общества. Возникло понимание, что невозможно зафиксировать некий изначально данный и структурированный, а главное – *внешний* для наблюдателя объект-общество, о смерти и границах которого нужно судить, находясь за его пределами – на позициях внешних наблюдателей. Возникло осознание, что в условиях нового – мирового – общества (ставшего возможным вследствие общедоступности средств коммуникаций)

²³² Т.е. не необходимой в смысле С.Крипке: Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982

о смерти и жизни общества, т.е. о прекращении коммуникаций, в свою очередь приходится судить только в рамках коммуникаций. Возникает парадоксальная ситуация. Обществу, как множеству всех возможных коммуникаций, приходится словно изнутри судить о своем собственном возникновении или смерти. О том, сохраняется ли и воспроизводится прежнее общество, или же коммуникации приобрели принципиально и качественно иной характер, а значит, одно общество сменилось на другое, - о всем этом может судить лишь само общество. Используя несколько устаревшую организмическую метафору, можно сказать: общество само решает *живо* оно или уже нет. Любое утверждение о характере (прекращении, смене, модернизации) коммуникаций – и само будет коммуникацией.

Это общее замечание о характере наблюдений социальных состояний следует конкретизировать.

Три попытки связать каузально уровни социального познания

Как же решить проблему связи ненаблюдаемого макроуровня и наглядного, эмпирически фиксируемого микро-уровня – уровня конкретных действий и коммуникаций? На мой взгляд, было предпринято как минимум три *систематических* попытки установить связи теоретического знания и подтверждающих его наблюдений. Речь идет о неоутилитаристском (М. Вебер, Дж. Коулман), функционалистском (Т. Парсонс), коммуникативистском (Н. Луман) подходах к построению социальной теории.

Гипотеза Вебера состояла в том, что некое теоретическое понятие (в данном случае – протестантизма как системы религиозных действий, ожиданий, образцов поведения, религиозных предписаний и установок) описывало некоторый непосредственно ненаблюдаемый феномен, особенную конфессию как социальную макросистему, которая причинным образом порождает другой ненаблюдаемый макрофеномен – капитализм (как систему идеальных действий, образцов поведения, направленного на – *оптимальное по времени* – накопление капиталов и монетизацию собственности с целью дальнейшего приобретения собственности)²³³.

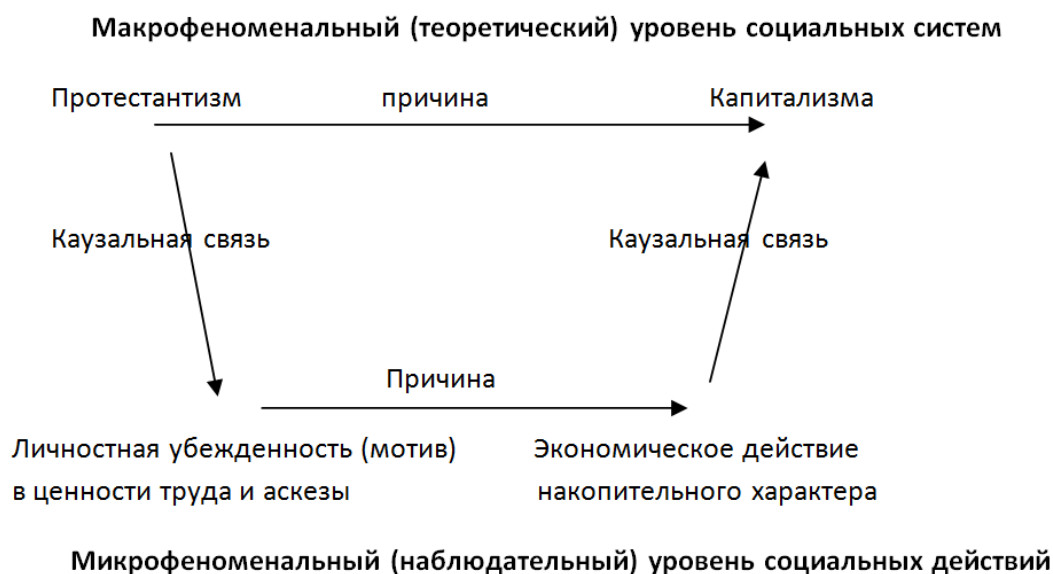
Оба эти каузально-сопряженные феномена, очевидно, как таковые недоступны непосредственному наблюдения. Ведь наблюдаться (т.е. фиксироваться в пространстве и времени посредством органов чувств) могут лишь конкретные действия людей, где у

²³³ Вебер, как известно, начинает определение капитализма «документально», цитируя соответствующий документ эпохи Б. Франклина: «Помни, что время — деньги; ... Помни, что кредит — деньги. ... Помни, что деньги по природе своей плодородны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить деньги, их отпрыски могут породить еще больше ... Тот, кто изводит одну монету в пять шиллингов, убивает (!) ... целые колонны фунтов». *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.

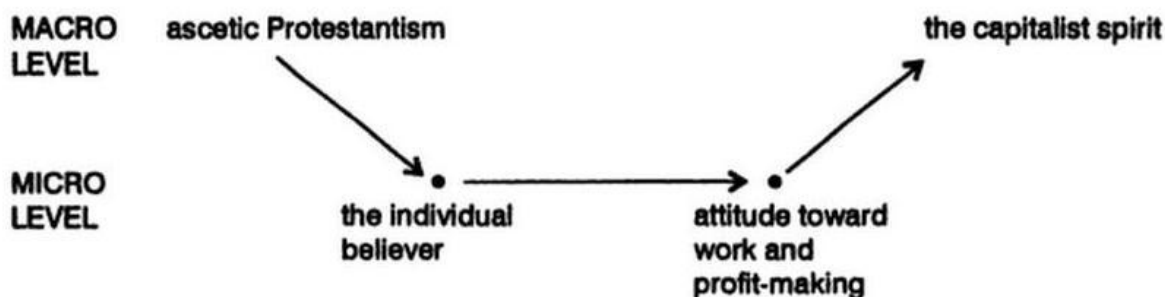
каждого действия, как у конкретного события, наличествует собственная причина – некоторое непосредственно предшествующее микро-событие (например, предыдущее действие или психическое желание совершить действие), но не какая-то глобальная и комплексная макрос-система религиозных представлений и предписаний.

Как же в этом случае обосновать, что у некоторого конкретного действия (скажем, у конкретного акта накопления) есть и некоторая дополнительная, «высшая» причина? Например, протестантизм как социальная система религиозных установок и предписаний выступает причиной соответствующих аскетических и накопительных действий (помимо, вне и наряду с конкретными мотивациями, порождающими проистекающие из них действия?) Но постулирование такой избыточной причины, как и в случае вышеозначенного подхода Дюркгейма, нарушает принцип закрытости физической картины, предполагает сверх-детерминизм? Ведь всякий конкретный акт накопления объясняется соответствующим мотивом как смыслом и причиной данного действия.

Для решения этой проблемы Дж. Коулман предложил свою схематическую интерпретацию Веберовской гипотезы.²³⁴



²³⁴ Представленная ниже схема несколько модернизирует оригинальную схему Дж. Коулмана. Coulman J. Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322.



Протестантизм как культурно-религиозный *макрофеномен* – интернализуется (в свою очередь, *каузально*, т.е. посредством чтения религиозных трудов, школьного и семейного воспитания) в сознании или психике некоторого актора, превращаясь из абстрактной культурно-религиозной ценности в некоторую практическую интернализованную установку сознания (предрасположенность действовать определенным образом), психическую диспозицию, желание или потребность в аскетической жизнедеятельности, получившую название «внутримировой аскезы»;

Эта психическая установка *причинным* образом вызывает к жизни экономическое действие: производство и продажу товара, с последующим накоплением денег, не растрачиваемых на внеэкономические нужды (поскольку это противоречило бы установке аскезы). Эти экономические действия ведут к аккумуляции некоторого массива аналогичных экономических действий, где одно экономическое действие (продажа), ориентированное на накопление капитала (и последующие покупки), предполагает другое экономическое действие покупки, сходным образом, ориентированное на накопление капитала, т.е. денег, а не собственности.

В конечном счете: причинно-следственные микро-связи мотиваций и действий (причинная связь аскетических психо-установок и накопительных действий) объясняют первоначально *неявную* (вспомним здесь макро-связь температуры и давления!) каузальную макро-связь: причинно-следственную связь протестантизма и новообразующихся рынков товаров, капитала и труда (т.е. капитализм).

В подходе Дж. Коулмана действительно снимается дилемма *эмерджентизма/редукционизма*. Ведь здесь эмпирически доступный наблюдению уровень действий и переживаний рождает макроэффекты. И напротив, недоступные непосредственному наблюдению макрофеномены (социальные макросистемы) причинным образом порождают микропроцессы. Причем эффекта порочного круга (как и двойной или сверх-детерминации) не возникает, поскольку имеет место цепь качественно различающихся разноуровневых, но каузально связанных феноменов и процессов. Эффект сверхдетерминации отсутствует, поскольку каждое конкретное следствие предполагает конкретную причину, а феномены макроуровня (протестантизм и капитализм) каузально связаны между собой тогда и только тогда, когда явления микромира (действия и переживания) в свою очередь образуют каузальные связи.

(Не)наблюдаемое в структурном функционализме

Структурный функционализм в свою очередь был ориентирован на установление связей между теорией действия (микросоциологический уровень объяснения поведения) и теорией социального порядка (уровень макросистем). Теория действия, как главной единицы анализа и одновременно элемента социальной жизни, может некоторым образом схематизироваться (см. схему ниже). Чтобы действие – как микрофеномен – получило актуализацию, должны быть осуществлены предпосылки: запущены непосредственно-ненаблюдаемые макропроцессы легитимации социальных ролей и институционализации норм и ценностей, реализовались *скрытые* в сознании мотивы и цели. Анализ системы действия для наблюдаемого феномена задает некие ненаблюдаемые измерения. Причем эти измерения, понимаемые как функции, будучи описаниями «причин» конкретных действий, одновременно описывают уже не само действие, а социальный порядок – т.е. макроструктуру общества.

У Т. Парсонса наблюдаемый микрофеномен (конкретное действие) получает определенность лишь благодаря непосредственно ненаблюдаемым процессам – причинным условиям возможности действия, образующих своего рода систему отсчета (“frame of reference”) для действия и выступающими эквивалентами пространства и времени в физике²³⁵. Речь идет, прежде всего, о целях и средствах, нормах, ценностях, социальных ролях, в сумме образующих измерения или пространство действия.

Но нормы и ценности – как очень отвлеченные императивы, своего рода программы не существуют исключительно сами по себе. Для этого они слишком абстрактны. Они представлены в своих воплощениях – в социально-ролевых манифестациях (социальных ролях преподавателя, бизнесмена, ученого и т.д.) Но и социальные роли, в свою очередь, не даны как конкретные и наблюдаемые реалии, но проявляются лишь в своих каузальных эффектах: конкретных индивидах, мотивированных играть определенные роли. Но ведь и сами мотивы и цели индивидов не доступны «невооруженному наблюдению», но воплощены в поведении – физических движениях организма, телесных формах, движениях тела. Здесь, на уровне организмов человеческих индивидов, мы, наконец, мы хотя и «встречаемся» с наблюдаемой реальностью, но только на этом уровне мы уже покинули сферу социального. Итак, чтобы анализировать наблюдаемое действие на микро-уровне, приходится гипостазировать макро-процессы (интернализацию норм, личностные идентификации, мотивации ролевого

²³⁵ «Эти внутренние черты схемы действия, называемые «системой отсчета» не конституируют «данные» какой-то эмпирической проблемы действия; они не являются «компонентами» конкретной системы действия. Они в этом аспекте аналогичны системе отсчета в физике. ... Невозможно говорить о физическом процессе в других терминах (помимо пространства и времени)... Аналогично невозможно говорить о действии в терминах цели и средства... Различие между системой отсчета действия и конкретными данными – жизненная необходимость». Parsons T. Structure of social action: a study in social theory... New York. 1937. P. 732.

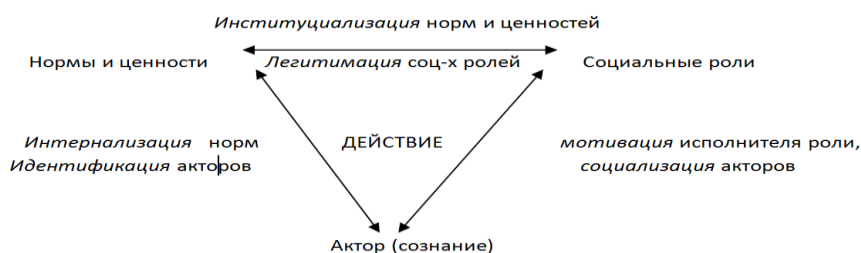
поведения, легитимации социальных ролей в культуре, институционализацию культурных норм и ценностей в социальных ролях, – в сумме составляющих систему отсчета или измерение, через которые определяются действия)²³⁶. Но эта система отсчета действия, выступая условием наблюдения на микро-уровне (конкретного действия), и сама может наблюдаться на макро-уровне социальных систем.

Макросоциологический уровень наблюдения

На уровне социальных макросистем или процессов описываются условия возможности (функции) социального действия, под которыми понимаются четыре фундаментальных процесса – адаптации к внешней природе, целедостижения, воспроизводства нерелексивных стандартов (например, грамматика, правила этикета и т.д.) ролевого поведения и само ролевое поведение, в котором все эти функции и интегрируются в единство. Эти процессы образуют четыре «точки референции» и четыре «структурных компонента социальной системы»²³⁷.

Очевидно, что теория социальных макросистем имеет своим референтом не фактически наблюдаемое действие (микрообъект анализа), а коммуникации – т.е. некоторый обмен действиями или, скорее, правила такого обмена, которые как таковые никак не присутствуют в обозримой и доступной наблюдению форме, являются дефинитивно-латентными. Но именно благодаря этим ненаблюдаемым установкам со стороны макросистем действия получают конкретность - специализируются по функциям социальной системы: приспособления (экономические действия), целереализации

²³⁶ См. примерную схему «системы отсчета действия», как она представлена в «Структуре социального действия»



(1937).

²³⁷ См.: Parsons T. The Social System. Glencoe. 1951. P. 24-104. Позднее эти представления о макро-условиях действия конкретизированы в виде знаменитой AGIL-схемы. См.: Parsons T., Smelser N.L. *Economy and Society*. London. 1956.

Латентные ориентиры действий

Интеграция

Попечительство (коммуникация посредством апелляции к ценностям и нормам)	Общностные связи посредством <i>влияния</i>
Экономика (обмен действиями-транзакциями посредством <i>денег</i>)	Политика (обмен действиями-решениями посредством <i>власти</i>)

Адаптация

Целереализация

(политика), интеграции (сообщества людей), воспроизводство стандартов (норм и ценностей в воспитании, образовании, право).

Полнота и непротиворечивость функционализма - связь теории и наблюдений в концепции эталонных переменных

Принято считать, что Парсонс не мог связать анализ макросистем с микросоциологическим анализом конкретного действия, управляемым или каузально связанным с конкретной мотивацией. Четыре типа абстрактных символических медиа и по совместительству эффекты макропроцессов, а именно, *деньги, власть, влияние и приверженность ценностям*, не охватывали все действия, все многообразие доступных наблюдению деятельности реальной реальности. В каком-то смысле это теоретическое описание действительно выглядело непротиворечивым, поскольку всякая системная коммуникация выводилось из некоторого единого условия – ориентации на соответствующее символический медиа (деньги, власть, влияние, ценности) делающих возможным и вероятным общение. Но это описание, очевидно, являлось неполным, в частности, не описывало *домодерные* формы общения и поведения. Новые возможности связать *наблюдаемую* реальность и ее *теоретическую модель* были представлены в новом теоретическом подходе, который, исходя из ограниченного числа теоретических «эталонных» переменных, смог описать многообразные формы поведения, включая и переходные типы обществ.

Теория четырех функций социальных макросистем, как уже сказано, не описывала исторические различия и специфичность конкретных действий, как и их генезис. Теоретические переменные (функции AGIL) давали возможность выявить эмпирическое многообразие наблюдаемых и специализированных действий. Эта теория выдерживает тест на law-likeness. Парсонсу пришлось изобрести ad hoc теорию эталонных переменных действия, лишь слабо связанную с его четырьмя фундаментальными функциями, но в качестве компенсации допускающей представление самых разнообразных форм эмпирической реальности. Итак, все возможное поведение может ориентироваться на следующие альтернативы²³⁸.

Аффективность (0) /аффективная нейтральность(1) . Действие (бюрократа) может быть нейтральным в отношении к Другому, но в домодерном обществе действие предполагали чувства и аффекты

²³⁸Parsons T, Shils E.A. Toward a General Theory of Action. Harvard University Press. 1951. p. 76-88.

Самоориентация (0) / коллективизм (1). Действия актора осуществляются в личных или коллективных интересах .

Универсализм (0)/партикуляризм (1). В отношении действий одних Актор относится равно, в отношении действий других (собственного клана, единомышленников) выказывает пристрастность.

Родовые (приписываемые) свойства (0)/ достижения(1) . Оценивать действия других можно исходя из врожденных свойств (происхождение, красота), а можно - из личных достижений, личного успеха партнера)

Диффузность (0) / специфичность (1). Роли могут быть специфичными (действия продавца), а могут быть диффузными (действия отца)

Означенные эталонные теоретические ориентиры действия задают *возможные рамки эмпирического наблюдения* 32-ух возможных обществ. Эти пять теоретических переменных определяют некоторый реестр конкретных теоретически возможных способов или ориентаций действий от (0,0,0,0,0) до (1,1,1,1,1) по каждому из эталонов. В каждой из пар альтернатив первая ориентирована на исключительно традиционные признаки (аффективное, коллективистское, партикуляристское, аскрипционное, диффузное), второе же характеризует общество модерное (нейтральное, самоориентированное, универсалистское, ориентированное на успех, специализированное). Все остальные действия и результирующие массивы действий (общества) являются переходными. Исследователю остается лишь «выйти в поле» и определить, с каким из конкретных реализаций или манифестаций теоретически возможных обществ он имеет дело, к примеру, с обществом 01010 или все-таки с обществом 01011? Очевидно и то, что некоторые логически-возможные комбинации переменных могут не актуализироваться в эмпирической реальности.

Итак, достоинство функционалистской теории состояло в ее «экономичной» связи теоретического и эмпирического уровней. Незначительного числа теоретических переменных и оказывалось достаточным для описания большого числа эмпирических следствий или фактических наблюдений. Недостаток этой *ad hoc* теории в том, что она оказалась концептуально неинтегрирована с другими: прежде всего, с теорией социальных систем, их функций и символических медиа.

Системно-коммуникативный подход в иерархизации уровней социальной теории

Своеобразный способ связать уровень теоретического описания коммуникативных макросистем и эмпирической микросоциологии предложил Никлас Луман.²³⁹ Базисное утверждение состояло в том, что на уровне анализа конкретного действия практически любая ситуация может описываться всего лишь *двумя переменными-дистинкциями*: дистинкцией *действия/переживания* и дистинкцией *Эго/Другого*. Очевидно, что социальное действие (как самостоятельный и абстрактный объект анализа, рассматриваемый как бы безотносительно к тому, кто его совершает) само по себе лишено способности воспринимать окружающий мир. Но для того, чтобы оно состоялось, должно как-то «учитываться» состояние *внешнего* по отношению к действию предметного мира. За эту функцию отвечает (*дополнительная и внешняя* по отношению к действию) способность сознания – воспринимать, переживать и желать. Поэтому переменная *переживание* должна быть отличена от переменной *действие*. Переживание (= ментальный акт), безусловно, является следствием и причиной действий, но тем не менее (по крайней мере в современных обществах) должно пониматься как элемент некой автономной (субъективной) реальности или автономной истории переживаний.

С другой стороны, любое социальное действие не осуществляется вне наличия хотя бы двух коммуницирующих друг с другом людей, один из которых (Эго) своими действиями (и переживаниями сознания) специфическим образом реагирует на действия (и переживания сознания) некоторого Другого.

Две вышеуказанных теоретических переменных любого общения (*Эго/Другой* и *действие/переживание*), описывающие возможности коммуникации на микро-уровне анализа задают номенклатуру ключевых типов коммуникации, средств-символов и мотиваций, и как следствие типов макросистем коммуникаций – на ненаблюдаемом теоретическом уровне описания макросистем коммуникаций. Если реконструировать эти представления методом перекрестного табулирования, то схема уровней наблюдения (взаимных перспектив *Эго* и *Альтера* в отношении возможных *комбинаций действий и переживаний* друг друга) выглядит так:²⁴⁰

		<u>Эго Переживает</u>	<u>Эго Действует</u>
Другой переживает		<p><u>Истина и Ценности</u></p> <p>В науке переживания <i>Эго</i> (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого <i>Другого</i>. Ценности должны удостоверить общность чувств членов сообщества</p>	<p><u>Любовь</u></p> <p><i>Эго</i> своими действиями пытается вызвать переживания <i>Другого</i>.</p>
	Другой	<p><u>Деньги-Собственность, Искусство</u></p> <p>Действия <i>Другого</i> (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных</p>	<p><u>Власть</u></p> <p>Действия <i>Другого</i> влекут действия <i>Эго</i>, если они регулируются властью. Личные</p>

Эта схема позволяет вернуться к классическому пониманию организации научного знания, свойственному для развитых (физических) теорий. На микро-уровне (уровне переживания Другого) постулируются ненаблюдаемая, но лишь теоретически-полагаемая реальность – скрытое от наблюдателей человеческое сознание, которому вменяются набор гипотетических установок и мотиваций. Комбинации переживание/действие с другой теоретической переменной *Эго/Другого* позволяет сконструировать все возможные (и фактически наблюдаемые коммуникации современного общества). Связь теории и подтверждающих теорию наблюдений является наиболее экономичной (малое число переменных делает возможным широкий наблюдательный обзор). Ниже мы, опираясь именно на эту схему наблюдения социальной реальности, предложим эпистемологические выводы, которые вытекают из такого рода схематизации.

Основные итоги и выводы шестого параграфа

Опираясь на системно-коммуникативный и социоэпистемологический подход (предполагающий две референции в теории коммуникации: знание и общество) мы рассматриваем общее и различие в теоретических формах естественно-научного и социального типов знания. Была поставлена и рассмотрена проблема: способна ли социальная или коммуникативная теория выказывать инвариантные или универсальные формы (свойственные также и естествознанию), или же она обладает неким неустранимым своеобразием как в отношении предмета исследований, так и в отношении методов? В этой связи обосновано, что структура естествознания предполагает методологический редукционизм, в самых общих чертах последний утверждающий, что внутренняя структура того или иного объекта или явления, описываемая теоретически, конституирует и дает причинное объяснение наблюдаемым макрофеноменам, определяет макро-характеристики этих объектов. Между тем, социальная теория, напротив, связывает с базисным (причинным и объяснительным)

уровнем утверждений некоторые макроструктуры (социальные системы политики, экономики, религии).

В связи с этим формулируется утверждение о том, что наблюдать общество приходится исключительно по его наблюдаемым следствиям или эффектам, в то время как само оно, как конкретный пространственно-временной объект, ускользает от наблюдения. В связи с этой гипотезой ставится и рассматривается проблема социальной каузации и их обобщений в социальных законах. В качестве решения был обоснован вывод, что в мире самом по себе нет однозначно определенного разделения на внутренние и внешние детерминации или каузации без учета наблюдательных перспектив того или иного наблюдателя. Утверждается, что закономерности поэтому следует искать не в самих каузациях, а в типичном приписывании (или распределении) причин; показано, что общество не может быть рассмотрено как закрытая физическая система с однонаправленными детерминациями от причины к следствию, поскольку общество устроено кибернетически, т.е. некоторым круговым образом, на основе позитивных и негативных обратных связей.

Невозможность явного различия уровня теоретических (номотетических) законов общества и фактических эмпирико-феноменальных описаний социальных процессов ставит проблему установления связи ненаблюдаемого макроуровня и наглядного, эмпирически фиксируемого микро-уровня (уровня конкретных действий и коммуникаций). В связи с этим обосновывается вывод о необходимости использования системно-коммуникативистского подхода к формулированию социальных законов, предполагающий классическое понимание организации научного знания, свойственному развитым (физическим) теориям. На микро-уровне (уровне переживания Другого) постулируются ненаблюдаемая, но лишь теоретически-полагаемая реальность – скрытое от наблюдателей человеческое сознание, которому вменяются набор гипотетических установок и мотиваций. Комбинации переживание/действие с другой теоретической переменной Эго/Другого позволяет сконструировать все возможные (и фактически наблюдаемые коммуникации современного общества).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы начали наше рассмотрение, обращаясь к теории коммуникативных медиа, которые позволили нам проанализировать теоретико-познавательные свойства коммуникации; были

рассмотрены подходы теории коммуникативных и социальных систем, прежде всего, понятия коммуникативных медиа как методологических оснований социальной философии науки. Особое значение в этой связи предавалось так называемым медиа распространения коммуникации: языку, письменности, печатным и электронным и социально-сетевым средствам коммуникации. Их рассмотрение дало возможность сформулировать эпистемологические следствия из теории коммуникации и прийти к утверждению о том, что дистинкция знания и незнания образует ось коммуникативной дифференциации как в традиционных, так и современных обществах. Используя системно-коммуникативную методологию мы обратились далее к генезису коммуникативного медиа истины, специфичности научной системы коммуникации, роли коммуникативного понимания и объяснения в рамках данного типа коммуникации, и социальных каузаций в структуре научного знания. При этом особое внимание мы уделили исследованию теоретической формы социального знания, которую мы охарактеризовали при помощи понятия эмерджентизма, отличая его от редукционизма естественнонаучных дисциплин.

Используя коммуникативный подход к анализу структуры научного знания, мы также остановились на конкретном вопросе о том, возможно ли рассматривать научные исследования как обычную коммуникацию обычных людей, каковыми, безусловно, остаются ученые. Ведь всякое новое научное достижение некоторым знанием, но и некоторым запросом на контакт, предложением общения, приглашением к дискуссии, требует проверки другими исследователями, а значит, – и продолжения общения и образования коммуникативной системы.

Все это в комплексное и синтетическое рассмотрение эпистемологического содержания понятия коммуникации дало нам возможность сформулировать социоэпистемологический тезис об особом родстве коммуникативных стратегии, как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают понимание и, как следствие, акцептацию запросов на общение.

Завершая наше исследование, мы позволим себе сформулировать ряд выводов, сквозным образом обосновывающихся в нашей работе.

Мы пришли к выводу, что понятия коммуникативных *медиа* и *формы* должны рассматриваться как методологические инструменты анализа познания и коммуникации и служить основаниями системно-коммуникативной теории в целом. В расширенном виде они позволяют сформулировать также начала теории психических систем (первый параграф первой главы), и в более узком виде применяются для анализа научной коммуникации. Оба феномена (описываемыми этими понятиями) в своей эволюции

образуют диалектические переходы (второй и четвертый параграфы первой главы): новые *формообразования* в рамках ранее утвердившихся медиа решают одни интеграционные проблемы, но одновременно генерируют новые конфликты и вызовы, требующих новых формообразований.

Анализ формообразования коммуникативных медиа используется как теоретический ресурс социальной теории, поскольку позволяет классифицировать общества по медиа-коммуникативным признакам: как предтрадиционные, или общества общего *незнания*, традиционные или основанные на устной речи и интерактивном удостоверении *общего знания*, общества модерна или основанные на информационной природе коммуникации (телекоммуникативных медиа письменности, печати и электронных средств), в которых за функции познания отвечает специально обособленная для этой функции коммуникативная система науки.

Вышеозначенная методология позволила нам (1) реконструировать магистральный путь развития коммуникации: в направлении от *интеграционно-ориентированной* коммуникации к коммуникации *информационной*; (2) эксплицировать условия понимания коммуникации и как следствие этого понимания – определить эволюционирующие условия акцептации или отклонения коммуникации; (3) эта эволюция состоит в особом пути объективации общения: если в традиционных обществах акцептация коммуникации зависит от тех контекстных значений, которые некоторый запрос на контакт получает в *пространственно-временным* и *коллективно-личностном* измерениях (т.е. зависят от непроговариваемых, но очевидных контекстов, от того, кто, где и когда осуществляет сообщение), то в современном обществе означенный контекст существенно редуцирован к предметному измерению коммуникации: к тому, о чем собственно сообщается в данной коммуникации. Однако новейшие формы и медиа коммуникации (социальные сети) разрушают и предметное единство коммуникации.

В нашей работе мы пришли к заключению, что коммуникация является формой познания, поскольку представляет собой *наблюдательную* (= избирательную, дискриминационную, когнитивную) активность. Всякое обсуждение предстает в виде актов выбора (= познания) темы, времени, места, участников коммуникации. Однако этот структурный изоморфизм коммуникации и познания претерпевает трансформации. Первоначально коммуникация выступает формой познания, поскольку представляет собой наблюдение в его самом широком смысле, а именно – одновременным процессом *обозначения/различения* (обсуждением одной темы и отклонением всех остальных предметов обсуждения). Позднее коммуникация приобретает изоморфность познанию в

более узком смысле: принимает формы, совпадающие в своих основных этапах со стандартным определением (по)знания: элементы коммуникации (сообщение, информация, понимание) воспроизводят структурные элементы знания (полагание, обоснование, истинность). В последнем случае коммуникация переориентируется в своих ключевых мотивах: ориентир «*солидарного/не солидарного*» поведения меняется на ориентир «*известное мне/неизвестное другому*».

Коммуникация рассматривалась в данной работе в дименсиональном (= измерительном) контексте, т.е. определяется в пространственно-временном, предметном, коллективно-личностном измерениях, образующих гиперпространство коммуникации. Эти измерения или горизонты коммуникации меняют свое относительное значение в процессе эволюции коммуникации.

Мы показали, что адекватный анализ научного знания (научных объяснений, специфичности научных законов в их отличии от акцидентальных генерализаций, как и в вопросе о критериях и оценках лучших или предпочтительных теорий и лучших понятий) осуществляется через его сопоставление с «естественной» коммуникацией, через экспликацию существа естественного понимания и его предпосылок. Мы вынуждены отказаться от наивной установки, согласно которой лишь сам предмет научного интереса должен гарантировать истинность высказываний по его поводу и навязывает правильное понимание. Утверждается, что предметное измерение также и *научной* (как и всякой другой) коммуникации должно быть дополнено социальным и временным измерениями. Для этого разрабатывается *универсальное понятие понимания*, характерное как для науки, так и для других форм социальности. Таковое понимание определяется нами как процесс сравнения *фактического* и *латентного* на предмет их соответствия (или несоответствия): понимание имеет место в тех случаях, если речь идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и скрытых за ними мотивов сообщающего, (2) о различении данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между *самореференцией* (тем, что в коммуникации относится к самому обсуждению) и *инореференцией* (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации).

Было обосновано, что понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечивается через апелляцию к свойствам объектов, которые словно принуждают к взаимному согласию по их поводу (предметное измерение научной коммуникации). С другой стороны, наука остается коммуникативной системой и

всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций исследователей, как реализация их честолюбивых замыслов и стремления к научному успеху, – т. е. самореференциально (иметь своим предметом саму коммуникацию, а не ее внешний мир). Отсюда следует, что выбор теорий и их интерпретаций во многом зависит от различия ориентационных наблюдательных перспектив участников научной коммуникации. Ученые не могут прийти к взаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измерениях, признают «естественными» разные порядки хода вещей, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – эта обычная трудность, вызванная приверженностью различным полюсам базовых коммуникативных дистинкций (различением *я/другое, людей/вещей* и т.д.).

Мы пришли к утверждению, что системно-коммуникативистский подход делает возможным установления связей и различий между уровнями эмпирического наблюдения и теоретическими переменными в социальной теории. Этот перепад уровней выказывает существенные отличия от организации научного знания в развитых (физических) дисциплинах, требующих *редукции* регулярностей феноменального уровня к скрытым на микро-уровне (теоретическим) зависимостям между переменными. В социальной теории редукция к ненаблюдаемой (теоретико-гипотетической) реальности предстает дополняется реконструкцией *эмерджентных* эффектов коммуникации на макроуровне.

Библиография

На иностранных языках

1. *Achinstein P.* Concepts of Science. Baltimore, 1968. P. 160–172.
2. *Ashby, W. R.* An Introduction to Cybernetics. London, 1956; *Ashby W. R.* Requisite Variety and its Implications for the Control of Complex System // *Cybernetica*, 1958, № 1.
3. *Backer D.* Form und Formen der Kommunikation. Suhkamp. 2005.
4. *Baecker D.* Kommunikation. Reklam. 2005.
5. *Barth Fr.* Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea. New Haven. 1975. P. 35.
6. *Bertalanfy L.* General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y. 1968.

7. *Block N.* Troubles with Functionalism // Perception and Cognition. Minnesota Studies in Philosophy of Science. Vol. 9. Minnesota. 1978. P. 276.
8. *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. Chicago. 1991.
9. *Bourdieu P.* Le Sense Pratique. Paris. 1980. P. 278.
10. *Braithwaite B.* Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law in Science. Cambridge 1968;
11. *Campbell N. R.* Foundations of Science. New York. 1957.
12. *Chisholm R.* Theory of knowledge. N.J.: 1966.
13. *Collins H. M.* Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. London. 1985.
14. *Coulman J.* Social Theory, Social Research, a Theory of Action // American journal of Sociology. 1986. № 91. P. 1322.
15. *Davidson D.* 1980, *Essays on Actions and Events*, Oxford: Clarendon Press.
16. *Davidson D.* Essays on Actions and Events. Oxford. 1980.
17. *Davidson D.* Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford. 1984
18. *Dennett D.* True Believers: The Intentional Strategy and Why it Works / *Dennett D.* The Intentional Stance, Cambridge MA. 1987. 14–35.
19. *DeRose K.* Contextualism: an Expanation and Defence. // E. Sosa (ed.). The Blackwell Guide to Epistemology. 1999. P. 187-205.
20. *Dewey J.* Experience and Nature. Chicago. 1925. P. 135.
21. *Eells Ellery.* Confirmation Theory. Nonprobabilistic approaches / The Philosophy of Science. An encyclopedia. Taylor & Francis. 2006. P. 146.
22. *Epstein S.* Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge. Berkeley. 1996.
23. *Feigl H.* ‘Empiricism at Bay?’ // Boston Studies in the Philosophy of Science. XIV. P. 48.
24. *Feyerabend P. K.*. An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience / Proceedings of the Aristotelian Society. 1957-58. Vol. 58. P. 143–170.
25. *Fishman J.* Manufacturing Desire: The Commodification of Female Sexual Dysfunction // Social Studies of Science. 2004. №34. P. 187–218.
26. *Foerster H.* (Fd.) Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication. Reprint Minneapolis: Future Systems, 1995.
27. *Foerster H.* (Fd.) Cybernetics of Cybernetics: The Control of Control and the Communication of Communication/Future Systems, 1995; Hayles, N. K. Boundary Disputes:

28. *Foerster H.* Observing Systems. Seaside, CA: 1981;
29. *Foerster H.* Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. Springer. 2002.
30. *Foerster H.* v. Objects: Token for (Eigen)Behaviours // Observing Systems. Seaside Cal. 1981. P. 274-285.
31. *Foerster H.* Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993.
32. *Frege G.* Begriffsschrift. Berlin. 1879.
33. *Frege G.* Der Gedanke. Eine logische Untersuchung // Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 2 (1918/19). S. 58–77;
34. *Frege G.* Der Gedanke: eine logische Untersuchung. in: Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus I. / *Frege G.* Logische Untersuchungen. 3. Aufl. 1986
35. *Gettier E.* Is justified true belief True Belief Knowledge? // Analysis. 1963. P. 121-122.
36. *Glaserfeld E.* v. Radical constructivism. A Way of Knowing and learning. Routledge. 1996.
37. *Glinga W.* Muendlichkeit in Afrika und Schriftlichkeit in Europa: Zur Theorie eines gesellschaftlichen Organisationsmodus // Zeitschrift fur Soziologie. 1989. № 19. S. 89-99.
38. *Goldmann A.* Discrimination and Perceptual Knowledge // The Journal of Philosophy y3, 1976, p. 771-791.
39. *Gould S. J.* Wonderful Life. New York. 1990. P. 47.
40. *Grundmann T.* Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie. Tübingen. 2008.
41. *Guenther G.* Beiträge zur Grundlegung einer operationsfaehigen Dialektik. 3 Bde. Hamburg/ 1976, 1977, 1980
42. *Günter G.* Cognition and Volition: a Contribution to a Cybernetic Theory of Subjectivity / *Günter G.* Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik. Bd. 2. Hamburg. 1979.
43. *Haarmann H.* Universalgeschichte der Schrift. Frankfurt. 1990.
44. *Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Suhrkamp, 1962.
45. *Habermas J.* Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt/M. 1981.
46. *Hanson N.R.* On observation. In: Philosophy of Science: An Historical Anthology. Blackwell. 2009. P. 4.
47. *Harman G.* Thought. Princeton University Press. 1973.
48. *Heider F.* Ding und Medium. Berlin. 2005.
49. *Heider F.* Social Perception and Phenomenal Causality // Psychological Review 51 (1944).

50. *Heider F.* The Psychology of Interpersonal Relations. New York. 1958
51. *Hempel C.G.* Aspects of Scientific Explanation // *Hempel C.G.* Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. N.Y. 1965. P. 375.
52. *Hempel, C.* *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science.* New York. 1965.
53. *Herschel J. F. W.* A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy. London. 1830.
54. *Hesse M.* *Models and Analogies in Science.* University of Notre Dame Press, 1966.
55. Homeostasis, Reflexivity, and the Foundations of Cybernetics // *Configurations*, 1994, № 3; Lasker, G E. (Ed.) *Applied Systems and Cybernetics.* Vol. II. New York. 1981;
56. *Hooker C., Nagel E.* An introduction to logic and scientific method. 1934.
57. *Jacobson R.* Semiotik: Ausgewahlte Texte. Frankfurt. 1988. S. 427-436.
58. *James W.* *Principles of Psychology.* Chicago. 1952. P. 187. Именно этот «раскол», как и мотив поисков средств по его преодолению, во многом, как мы увидим ниже, определяют всякую концептуализацию коммуникации.
59. *Klein P.* A proposed definition of propositional knowledge. // *The journal of philosophy*, № 16, 1971. p. 471-82;
60. *Lasswell H.* Propaganda, communication and public order. Princeton, 1946.
61. *Latour B.* A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence / *The Handbook of Science and Technology Studies.* MIT PRESS. 2008. P. 83-112.
62. *Lehrer K.* Theory of Knowledge. London 1990.
63. *Levet J.-P.* Le vrai et le faux dans le pensee grecque archaique: Etude de vocabulaire. Paris. 1976. Vol. 1.
64. *Loewenthal L.* Humanität und Kommunikation (1969) / *Literatur und Massenkultur.* Suhrkamp. 1980. S. 358.
65. *Luhmann N.* Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realitaet // *Soziologische Aufklärung.* Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven. Westdeutscher Verlag, 1991
66. *Luhmann N.* Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp. 1996.
67. *Luhmann N.* Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Suhrkamp. Bd. 1-5. 1994.
68. *Luhmann N.* Wissenschaft der Gesellschaft. 1992, S.170.
69. *Maimon S.* Versuch über die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntnis und Anmerkungen (1790). Hamburg 2004.
70. *Martinet A.* Elements of general linguistics. Chicago. 1982.

71. *McLuhan M., Fiore Q.* The Medium is the Mass Age: An Inventory of Effects. Bantam. 1967. P. 69.
72. *Mead G. H.* The Objective Reality of Perspectives / Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy. New York. 1926. P. 75-85.
73. *Mead G. H.,* Mind, Self & Society From the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago. 1934.
74. *Mead G.H.* Philosophy of Act. Chicago. 1938;
75. *Merton R. K.* Manifest and Latent Functions// Social Theory and Social Structure. Free Press. 1957.
76. *Miller C.* Climate Science and the Making of a Global Political Order / States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order. London. 1984. P. 46–66.
77. *Muller K. E.* Das magische Universum der Identitaet: Elementarformen sozialen Verhaltens: ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt. 1987.
78. *Muller W.* Raum und Zeit in Sprachen und Kalendern Nordamerikas und Alteuropas // Anthropos. 1963. № 57. S. 568-590;
79. *Myers F. H. W.* Human Personality and its Survival of Death. London. 1903.
80. *Nagel E.*The Structure of Science. New York. 1961.
81. *Nagel E.* The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. 1979
82. *Ogden C. K., Richards I. A.* The Meaning of Meaning. New York. 1923.
83. *Parsons T, Shils E.A.* Toward a General Theory of Action. Harvard University Press. 1951. p. 76-88.
84. *Parsons T.* Structure of social action: a study in social theory... Ney York. 1937. P. 732.
85. *Parsons T.* The Social System. Glencoe. 1951. P. 24-104.
86. *Parsons T., Smelser N.L.* Economy and Society. London. 1956.
87. *PlantingaA.* Warrant: The Current Debate. Oxford University. 1993
88. *Rheinfelder H.* Das Wort „Persona“: Geschichte seiner Bedeutungen mit besonderer Berücksichtigung des französischen und italjenischer Mittelalters. Halle 1928.
89. *Rickert H.* Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 303.
90. *Rosen R.* Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological Formulations. Oxford 1985. *Thierry B.* Emergence of Social Organizations in Non-Human Primates / Revue internationale de systemique. 1994. № 8. P. 65-77.
91. *Scheffler I.* Science and Subjectivity. Indianapolis. 1967.
92. *Schmandt-Besserat D.* An Archaic Recording System and the Origin of Writing. Syro-Mesopotamian Studies. № ½.1977. P. 1-32.

93. *Schuetz A.* The Phenomenology of the Social World. Northwestern University Press. 1967.
94. *Schuetz A., Luckmann Th.* Structures of the Life-World, Vol. I. Illinois, USA. 1973. P. 22.
95. *Schuetz A.* On Multiple Realities // Philosophy and Phenomenological Research. 1945. № 5. 1945. P. 533-576.
96. *Science.* New York: Free Press. 1965.
97. *Sellars W.* The Language of Theories. Readings in the Philosophy of Science. 1989. P. 345.
98. *Shannon, Claude E. Weaver W.* The Mathematical Theory of Communication. Illinois. 1949.
99. *Simmel G.* Exkurs ueber den Fremden / *Simmel G.* Soziologie. Untersuchungen ueber die Formen der Vergesselschaftung. Berlin. 1908. S. 509 – 512.
100. *Simmel G.* Grundfragen der Soziologie. Berlin. 1970.
101. *Sismondo S.* Science and Technology Studies and an Engaged Program // The Handbook of Science and Technology Studies. MIT PRESS. 2008. P. 18.
102. *Smart J.J.C.* Sensations and Brain Processes // Philosophical Review. 1959. № 58. P. 141–156.
103. *Smart J.J.C.* Sensations and Brain Processes // The Philosophical Review, Vol. 68, No. 2. 1959, pp. 141-156 1959. P. 152.
104. *Spenser-Brown G.* Laws of Form. Ohio. 1974.
105. *Tedlock D.* The Spoken Word and the Work of Interpretation. Philadelphia. 1983.
106. The Handbook of Science and Technology Studies. Ed. by E. Hackett, O. Amstermamska et al. 3-th edition, the MIT PRESS 2008.
107. *Thomas R.* Oral Tradition and Written Record in Classical Athens. Cambridge Engl. 1989.
108. *Toulmin S.* Foresight and Understanding. London, 1961. P. 79
109. *Turing A.* Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. № 59. pp. 433-460
110. *Varela F., Maturana H.* Ethical Know-How: Action, Wisdom, and Cognition. Stanford. 1999.
111. *Vernant J.-P.* Divination et rationalite. Paris 1974.
112. *Windelband W.* Geschichte und Naturwissenschaft. Straßburg. 1904.
113. *Wittgenstein L.* Logisch-philosophische Abhandlung. Suhrkamp. 1998.

На русском языке:

114. *Абельс Х.* Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 1. С. 98–124.
115. *Антоновский А.Ю.* Как возможен аномальный социомонизм // Эпистемология и философия науки. М. 2015. № 3.
116. *Антоновский А.Ю.* Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности / *Луман Н.* Реальность массмедиа. М. Логос. 2005. С. 235 – 255.
117. *Антоновский А.Ю.* Начало социоэпистемологии: Эмиль Дюркгейм // Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. С. 142-155.
118. *Антоновский А.Ю.* Пространство и время в коммуникации и сознании: Бурдье vs. Луман. // Коммуникативная рациональность: эпистемологический подход. М. 2009. С. 64-94.
119. *Антоновский А.Ю.* Пространство родового общества / Уранос и Кронос: Хронотоп человеческого мира. М. 2001. С. 41-62.
120. *Антоновский А.Ю.* Семантический контекстуализм и проблема нестандартного определения знания // Эпистемология и философия науки. М. 2010. № 4. С. 101-118.
121. *Антоновский А.Ю.* Социоэпистемология. М. 2011. С. 118 – 136.
122. *Антоновский А.Ю.* Человек познающий. Знание/незнание как универсальная дистрикция и ось социальной дифференциации. // Философские науки. 2014. № 11. С. 144-149.
123. *Антоновский, А. Ю.* Коммуникативная рациональность -внешняя и внутренняя/А. Ю. Антоновский//Эпистемология и Философия науки. 2008. Т. XVII. № 3.
124. *Аристотель.* Метафизика. Книга VI, глава первая; Топика, книга VI, глава шестая.
125. *Аршинов В.И.* Нанозтика -конвергенция этических проблем современных технологий или пролегомены к постчеловеческому будущему?/*В.И. Аршинов, В.Б. Горохов, В.В. Чеклецов*//Эпистемология и философия науки. 2009. № 2
126. *Бараиш Р.Э.* Нормативные и социальные предпосылки реализации политики мультикультурализма в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012 Ноябрь-Декабрь. № 6 (112) . С. 5-15.
127. *Бараиш Р.Э.* Фигура Другого как значимая составляющая российской/русской идентичности // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2012. №1(107), январь-февраль.
128. *Бубер М.* Я и Ты. М., 1993.

129. Буданов В.Г., Герасимова И.А. Квантовая теория и проблема сознания (перспектива междисциплинарного сотрудничества)//Эпистемология и философия науки. 2005. № 4. С. 204-222 .
130. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. 1990.
131. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М. 1990. С.707-735.
132. Вострикова Е. В. Является ли знание обоснованным высказыванием? // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
133. Вострикова Е.В. Почему нам не нужны пропозиции?//Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 24, № 2. С. 75-94.
134. Вострикова Е.В. Проблема жесткой десигнации в семантике имен собственных//Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ. М., 2013. С. 163-182.
135. Горохов В.Г., Декер М. Социальные технологии прикладных междисциплинарных исследований в сфере социальной оценки техники//Эпистемология и философия науки.2013.№ 1.С.135-150.
136. Гудмен Н. Новая загадка индукции // Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. Пер. с англ. А.Л.Никифорова. 2001. С. 73–74.
137. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. Москва. 2002. С. 156.
138. Дюгем П. Физическая теория. Её цель и строение: Пер.с фр. КомКнига. 2007.
139. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М. 1991.
140. Емелин В.А. Самоидентификация как познание // Эпистемология и философия науки. 2011, № 1. С. 175-176.
141. Касавин И. Т. Конструктивизм: заявленные программы и нерешенные проблемы//Эпистемология и философия науки. 2008. № 1.
142. Касавин И. Т. Что недостаточно знать о знании // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
143. Касавин И.Т. STS: опережающая натурализация или догоняющая модернизация?//Эпистемология и философия науки. 2014. № 1. С. 5-17
144. Касавин И.Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы//Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. №1. С. 5-15
145. Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. Замысел книги//Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 19, №1. С. 53-56.
146. Касавин И.Т. Социальная эпистемология: Фундаментальные и прикладные проблемы. М.: Альфа-М, 2013.

147. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Пер. с англ. Куслий П.С. Челябинск. 2010.
148. Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982
149. Куайн У. Слово и объект. М., 2001.
150. Куслий П. С. В защиту «психо-лингвистического» подхода//Эпистемология и философия науки.2009.№3.
151. Куслий П.С. Аспекты внутреннего мира и семантика естественного языка // // Эпистемология и философия науки. 2014, № 4.
152. Куслий П.С. В защиту психо-лингвистического подхода // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
153. Куслий П.С. Является ли истина денотатом предложения?//Эпистемология и философия науки. 2010. Т. 23, № 1. С. 68-82.
154. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 221.
155. Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века. М. 2008.
156. Левинас Э. Путь к Другому. СПб. 2007.
157. Лекторский В. А. О проблеме знания // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
158. Лекторский В. А. Рациональность, социальные технологии и судьба человека//Эпистемология и философия науки.2011. №3. С. 35 -48
159. Лекторский В.А. Конструктивизм vs. Реализм // Эпистемология и философия науки. 2015, № 1.
160. Лекторский В.А. О проблеме знания//Эпистемология и философия науки. -2009. №3. Т. XXI. 74-76 с.
161. Луман Н. Медиа коммуникации. М. Логос. 2005.
162. Луман Н. Наука. М. Логос. 2015.
163. Луман Н. Общество как социальная система. М. Логос. 2004.
164. Луман Н. Общество общества. М.Логос. 2011. С. 358.
165. Луман Н. Самоописания. Логос 2009.
166. Луман Н. Эволюция. М. Логос. 2005; Антоновский А. Ю. Системно-конструктивистское понимание эволюции / Луман Н. Эволюция. М.: Логос, 2005
167. Мамчур Е.А. Ещё раз о предмете социальной эпистемологии/Е.А. Мамчур//Эпистемология & философия науки. 2010.Т. XXIV. № 2.С. 44-53.

168. *Мертон Р.* Продолжение анализа теории референтных групп и социальной структуры / Референтная группа и социальная структура. М., 1991. С. 106–256.
169. *Мид Дж. Г.* Разум, Я и общество (Главы из книги) /7 Социальные и гуманитарные науки (отечественная и зарубежная литература). РЖ, «Социология». 1997. № 4
170. *Мид Дж. Г.* Социальное сознание и сознание смысла. Перевод с англ. *Р.Э.Бараш*//Эпистемология и философия науки. М. 2013, № 1., с. 219 227
171. *Момджян К.Х.* Номотетическое познание в общественных и гуманитарных науках // Эпистемология и философия науки. М. 2015. № 3.
172. *Никифоров А.Л.* Анализ понятия «знание»: подходы и проблемы // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
173. *Никифоров А.Л., Антоновский А.Ю., Вострикова Е.В., Куслий П.С.* Лингвистика, коммуникация и история: семантический анализ / Отв. ред.: *А.Ю.Антоновский, А.Л.Никифоров.* М., 2013
174. *Остин Дж.* Как производить действия при помощи слов /У Остин Дж. Избранное. М. 1999]
175. *Пиаже Ж.* О механизмах ассимиляции и аккомодации // Психологическая наука и образование. 1998 № 1. С. 22-26.
176. *Платон.* Менон. 97e-98a.
177. *Платон.* Софист. 225 С.
178. *Порус В. Н.* Теория «сходства» против «лингвистического поворота», или Блуждание в Хэмптон-Кортском лабиринте // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3.
179. *Рассел Б.* Человеческое познание. Его сферы и границы. М. 2001.
180. *Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий. СПб. 1997. С. 331.с нем. СПб.: Наука, 2000
181. *Смирнова Н.М.* Коммуникативная рациональность и жизненный мир человека//Эпистемология и философия науки. 2008. Т. XVII. № 3
182. Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. Под ред. И.Т. Касавина. М. 2010.
183. *Столярова О. А.* Исторический контекст науки: материальная культура и онтологии//Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXX. № 4. С. 32-50
184. *Фейерабенд П.* Против метода. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М. 1986. С. 125–46
185. *Филатов В. П., Касавин И. Т., Антоновский А. Ю., Рузавин Г. И.* Обсуждаем статьи о конструктивизме//Эпистемология и философия науки. 2009. Т. 20. № 2. С. 142-156

186. *Филатов В.П.* Социальная эпистемология и национальный образ науки//Эпистемология и философия науки. 2007. № 4. С. 59-62.
187. *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие: пер.
188. *Хабермас Ю.* Моральное сознание и коммуникативное действие: пер.
189. *Хайдеггер М.* Бытие и время. М. 1997. С. 57.
190. *Хьюэлл У.* Философия индуктивных наук, опирающаяся на их историю // Эпистемология и философия науки. 2014. т.Т. 41, N 3.
191. *Черткова Е. Л.* Тожественны ли понятия «знание» и «истина»? // Эпистемология и философия науки. М. 2009. № 3. С. 60-95.
192. *Шюц А.* Смысловая структура повседневного мира. М. 2003. С. 237.
193. *Юдин Б.Г.* Социальные технологии, их производство и потребление//Эпистемология и философия науки. 2012. Вып. XXXI. № 1. С. 55-64.